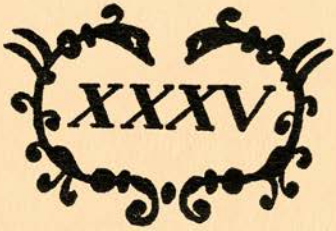
Новый Журнал



Нью-Йорк

Новый Журнал

THE NEW REVIEW

Основатель М. ЦЕТЛИН

Двенадцатый год издания

Кн.
XXXV
1953

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y.

317

ОГЛАВЛЕНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА:

Г. Газданов — Пилигримы 5
А. Величковский — Рассказы 53
Ю. Марголин — Non omnis moriar 59
Ирина Одоевцева — Год жизни 72

СТИХИ:

Николай Клюев — Поэмы «Заозерье» и «Плач о Есенине» 113
Стихотворения *Г. Забежинского, А. Браиловского* 71, 148

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Этторе Ло Гатто — Воспоминания о Клюеве 123
М. Алданов — О Бунине 130
Глеб Глинка — На путях в небытие 135
В. Вейдле — О религиозном корне русского искусства 149
М. Коряков — Заметки об американской литературе 161

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Н. А. Бердяев — Выдержки из писем к госпоже Х. 172
Н. Евреинов — О «Кривом зеркале» 190
В. Зензинов — Февральские дни 208
Т. Кошенова — Будни советской женщины 241

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Ю. Денике — К истории власовского движения 263
Н. С. Тимашев — В защиту промышленной культуры.... 280
М. Карпович — Комментарии 288

БИБЛИОГРАФИЯ:

Дм. Чижевский — Баадер и Россия. *М. Алданов* — В. Зензинов «Пережитое». *Ю. Денике* — В. Чернов «Перед бурей». *Ю. Иваск* — С. Маковский «На пути земном». *В. Коварская* Henry Troyat «The Mountain» 301

ПИЛИГРИМЫ*

Когда Фред пришел в себя, он увидел, что лежит на кровати, в большой комнате, стены которой были выкрашены белой масляной краской. Через отворенное окно пахло летним днем. Он не знал, сколько времени он находится здесь и ему понадобилось необыкновенное усилие памяти, чтобы понять, как он сюда попал. Первое, что он вспомнил, было лицо Лазариса; потом завтрак с Жинеттой; потом метро... Роберт Бертье! Фред дернулся на постели и сразу почувствовал, что очень ослабел. В эту минуту вошел пожилой человек в белом халате, за которым следовало двое молодых. Он подошел к Фреду и резко поднял его подбородок своей прохладной и необыкновенно чистой рукой. Затем он посмотрел в его глаза равнодушным взглядом и сказал, обращаясь к одному из спутников:

— Скоро его можно выставить, всё кончено.

— Послушайте, вы... — начал Фред. Но второй молодой человек холодно сказал ему:

— Заткни глотку.

И все трое пошли дальше. Фред хорошо знал этот тон и эти интонации: так разговаривали с ним в полиции. Этот голос объяснил ему то, чего нехватало в его представлениях: было очевидно, что он находился в тюремной больнице. Он вспомнил ощущение холодной воды, которую ему лили на голову: но где это было и кто это делал? Он вспомнил голос Роберта, произносивший невнятные слова. Он упорно восстанавливал в памяти всё, что доходило до него короткими обрывками издалека и старался связать это в более или менее ясную последовательность фактов, которые привели его сюда. Он много раз начинал сначала: утром он был у Лаза-

* См. кн. 33 и 34 «Нового Журнала».

Copyright 1953, by "New Review". All right reserved.

риса... Наконец он дошел до своего разговора с Робертом и вспомнил, что он бросился на него. Но после этого начинался провал. Он напряженно думал. Вероятно Роберт ударил его и он потерял сознание. И тут впервые он почувствовал, одновременно с неопределенной враждебностью к этому человеку, удивление. Это был тот самый мужчина с разнеженным лицом, который помогал Жанине выйти из автомобиля и который, когда Фред заговорил с ним, так испугался, что голос его звучал едва слышно? В этом было что то странное, почти необъяснимое. Каким образом этот человек мог обладать такой быстротой движений и таким страшным ударом? Фред не мог этого понять. За его жизнь ему пришлось участвовать в многочисленных драках с разными противниками и он знал, что его всегда спасало то, что он думал и действовал быстрее, чем они. И это были люди, которые знали, что они делали и ни у одного из них конечно не могло быть такого выражения расслабленности, как у Роберта. И вот оказалось, что он, Фред, которого боялись все и который сам в свою очередь не боялся никого, потерпел такое поражение, первое за всю его жизнь. Это было настолько чудовищно по неожиданности и настолько непереносимо, что он не переставал об этом думать.

В тот же день его допрашивали. Он успел заранее всё обдумать и знал, что рискует не очень многим, так как, в сущности, не совершил никакого преступления. Он так и сказал полицейскому инспектору:

— Я никому не причинил зла.

— Потому что не успел — сказал инспектор. — Ты был нокаутирован раньше, чем собрался что либо предпринять. Это была чистая работа. Ты имел дело с человеком, против которого ты рылом не вышел.

Фред молчал, стиснув зубы.

Он объяснил свое поведение: он позвонил в эту квартиру, потому что видал неоднократно, почти каждый раз, когда приезжал на скачки в Auteuil, как туда входила девушка, которая ему очень нравилась. Он хотел с ней поговорить и познакомиться.

— И чтобы лучше с ней разговаривать, ты взял с собой револьвер?

— У меня не было револьвера, господин инспектор. Я не знаю, откуда он появился.

— Не валяй дурака.

Инспектор знал, что Фред лжет во всем. Он был в этом так же уверен как в том, что Роберт говорил правду — и иначе это быть не могло.

— Опиши мне эту девушку — сказал он.

Но Фред ответил, что он едва помнит всё случившееся и, в частности, не мог бы наверное даже узнать эту девушку. — Не забывайте, господин инспектор, что я был между жизнью и смертью.

Он повторил фразу, которую сказал о нем врач тюремной больницы и о которой он узнал до того, как идти на допрос.

В конце концов он был присужден к месяцу тюрьмы за незаконное ношение оружия. Он осунулся за это время и на похудевшем его лице черные глаза казались еще более пронзительными и неподвижными. В тюрьме он познакомился с невысоким, но совершенно квадратным человеком, у которого были раздавлены уши и нос. Его звали Дуду, он отбывал наказание за мелкую кражу. Он отличался двумя особенностями: он был неизменно равнодушен ко всем неприятностям и его способность понимать что бы то ни было, сколько-нибудь отвлеченное, была ничтожна. Фред долго смотрел на его могучую шею, литые плечи и лоб без морщин и подумал, что этот человек может ему оказаться полезным. Он не был похож ни на кого из тех, с кем ему приходилось до сих пор встречаться; у него не было ни желания, ни возможности иметь о чем-либо собственное мнение и это было именно то, что Фреду казалось в нем наиболее ценным. Он узнал, что Дуду недавно приехал из Лиона, где жил раньше и что он вынужден был отказаться от боксерской карьеры.

— Почему? — спросил Фред.

— Потому что у меня слабая голова — сказал Дуду.

И он объяснил, что способен перенести любой удар или

любые удары без особенного ущерба; но достаточно попасть ему в лоб, чтобы его сопротивление было сломлено. Боксеры знали это, Дуду в результате этого потерпел много поражений и его менаджер отказался от него. Тогда он приехал в Париж, где он вел очень случайное существование.

— Я тебе всё устрою — сказал Фред. — Ты увидишь, что такое настоящая жизнь.

Когда его выпустили из тюрьмы, он направился на rue St. Denis. Дуду следовал за ним. Дверь комнаты, где Фред жил с Жинеттой, была заперта на ключ. Он постучал. Голос Жинетты спросил:

— Кто там?

Фред пробормотал что то неясное. Дверь немного приотворилась и он увидел заспанное лицо Жинетты. Она вскрикнула от неожиданности и хотела ее захлопнуть. Но было слишком поздно: Фред уже входил в комнату.

В кровати Жинетты лежал незнакомый молодой человек со смуглым лицом и темными волосами.

— Вставай! — сказал Фред.

Молодой человек поднялся и стал быстро одеваться дрожащими руками.

— Он позавчера приехал в Париж — сказала Жинетта, — он корсиканец. Он хочет теперь работать здесь.

— Ты молчи, с тобой я поговорю потом — сказал Фред.

Когда молодой человек оделся, Фред надавал ему пощечин и вытолкал его из комнаты. Потом он сел на кровать и сказал Жинетте:

— Поди купи нам папирос. Принеси сандвичи и пива. Поторапливайся.

Жинетта набросила на себя пальто, взяла сумку и вышла.

— Ты будешь жить рядом со мной — сказал Фред, обращаясь к Дуду. — Единственное, что ты должен делать, это слушать, что я говорю.

И через несколько дней все стало так, как было раньше. Жинетта и Ренэ попрежнему работали каждый день и отдавали Фреду все деньги, он попрежнему ходил в соседние ба-

ры и внешне, казалось, ничего не изменилось. Дуду, в новом костюме и новой шляпе, повсюду сопровождал его. Он поселился в комнате Ренэ и автоматически, по назначению Фреда, стал ее покровителем. Когда она приходила под утро, она нередко заставала его уже спящим и ее удивляло, что он часто смеялся во сне особенным, почти беззвучным смехом. Было что то настолько странное в этом смеющемся лице с раздавленным носом и закрытыми глазами, что она его спросила:

— Почему ты смеешься во сне? тебе очень весело?

— Не знаю — сказал Дуду. — Я смеюсь во сне?

— Да, я несколько раз замечала.

Он пожал плечами.

— Первый раз слышу.

Она ему говорила:

— Как мужчина ты не очень хорош. Это странно, потому что ты силен, как бык.

— Это ничего не значит — ответил он. — Я никогда не увлекался женщинами, я спортсмен.

Он был равнодушен к женщинам в той же степени, как ко всему остальному вообще. И единственным человеком, к которому он относился иначе, чем к другим, был Фред.

В жизни Фреда с недавнего времени появилось нечто новое и этого не знал никто, кроме него. Во-первых, он хотел отомстить Роберту. Во-вторых — и это было еще важнее, — ему хотелось доказать Лазарису, что он, Фред, непохож на других его клиентов, и то, что может сделать он, не может никто, и в конце концов, люди, о которых упоминал Лазарис и которые, по его мнению, стоят выше Фреда, будут так же бояться его, как те, среди кого проходит его существование теперь. Он не знал еще, каким путем он добьется того и другого. Он представлял себе это чрезвычайно смутно, но думал, что этого достигнет непременно и какой угодно ценой. Он понимал, что это потребует с его стороны длительной подготовки и нового подхода к вещам. Если бы Жанина ушла от него к другому; такому же, как он сам, он очень скоро ра-

зыскал бы его и потребовал бы ее возвращения. Отказа быть не могло: отказ значил бы для этого человека смерть или тяжелое увечье. И Жанина вернулась бы на Rue St. Denis.

Но поступить совершенно так же по отношению к Роберту Бертье он не мог. Роберт жил в далеком и тихом квартале, был сыном владельца автомобильной фабрики, — он собрал о нем все справки, — его защищала полиция и он был, в сущности, почти недостижим. Кроме того, Жанина жила в таких условиях, о которых никогда не могла бы мечтать: он вспомнил дом, где жил Роберт и единственную комнату его квартиры, которую он успел увидеть.

Он впервые задумался о том, что помимо среды, в которой он вырос, и другой, в которую он попал позже, есть еще иные и совсем особенные люди, с которыми он никогда еще не сталкивался. Они были чужды ему так, как если бы это были существа с другой планеты, все, о ком он читал иногда в газетах, — собственники скаковых конюшен, артисты, дипломаты, владельцы предприятий, где работали тысячи людей, зависевшие от них, посетители Оперы, дамы в вечерних платьях, мужчины в смокингах, говорившие на иностранных языках, какие то академики, философы, художники. Собственно, почему это было так? Все, кого он когда либо знал, не имели никакого отношения к таким людям. Одни жили так, как он, Фред, и его товарищи, другие работали, — одни на фабриках, другие в гаражах, третьи в кафе или на железной дороге, смазчиками, истопниками, электротехниками, некоторые разгружали баржи на Сене, некоторые уезжали на север, в шахты. Вероятно это было так нужно и у него не возникало мысли о протесте против этого порядка вещей; то, как жили люди, от которых зависели другие, было ему совершенно чуждо. Они существовали иначе, — больше ничего. Но он не мог допустить мысли, что он, Фред, самый умный и самый опасный человек, ничего не боявшийся, вдруг окажется ниже этих людей и попав в их среду, он почему то автоматически теряет все те преимущества, которые так бесспорны и в ценности которых он никогда не сомневался.

Он условно представлял себе нечто в роде вертикального разреза в том порядке вещей, о котором он недавно впервые подумал: правительство, — над ним все смеялись, но оно всё-таки было на самом верху, — полиция, Опера, кварталы города, где были квартиры таких людей, как Бертье, и с другой стороны, ниже — Rue St. Denis, Жинетта, Ренэ, Дуду, Фред и существование, которое они вели, потом все, кто работал на набережных Сены или на фабриках и на железной дороге и наконец — деревянные, нищие бараки на окраинах Парижа, где жили, пока они были живы, его мать и жилистый калека. Почему всё это было именно так? И было ли это случайно или были какие то причины для этого? До сих пор ему не приходили в голову мысли об этих ненужных, в сущности, вещах. Но у него всегда было сомнение в том, что жизнь, которую он ведет, действительно стоит той жестокой борьбы за нее, какую ему приходилось выдерживать. Этим он отличался от своих товарищей и это имела ввиду Жинетта, когда говорила, что он никогда не бывает доволен.

Он сидел однажды один на террасе кафе. За соседний столик сели двое: один, седой, загорелый человек со светлыми глазами, другой бледный, молодой, с очень особенным и необыкновенно узким лицом. Седой человек, продолжая, повидимому, разговор, сказал:

— Очень хорошо, я совершенно согласен с тем, что основные элементы европейской культуры, как вы говорите, цитируя Валери, — эллинское наследство, христианство и Возрождение. Но это, в сущности, классификация, то есть наименее интересная часть анализа и наиболее легкая. И это так сказать хронологическое сочетание решительно ничего не объясняет. Я должен вам признаться, что мне просто представляется непостижимым, как можно настаивать на каком бы то ни было объединительном признаке, который бы подходил к любому явлению в истории европейской культуры. Примеры бесчисленны: нельзя же ставить рядом какие то проявления человеческого гения, совершенно между собой различные и всех их произвольно объединять, — живопись Джотто и

философию Лейбница, портреты Рембрандта и поэзию Шелли, работы Беневенуто Челлини и пьесы Шекспира?

Человек с узким лицом ответил:

— Я вынужден протестовать против такого толкования. Мы не утверждаем, что общее определение «европейская культура» может нам дать объяснение того или иного явления. Но таких объяснений, мне кажется, вообще не существует. Здесь мы вступаем в область конечно иррациональную. Вы правы, конечно, что это классификация скорее, чем что либо другое. Мы хотим только сказать, что нельзя себе представить истории европейской культуры вне влияния хотя бы одного из этих элементов, вне Эллады или вне христианства или вне Возрождения. И тот факт, что эта культура отличается невероятным богатством и разнообразием проявлений только свидетельствует лишний раз о неисчислимых потенциальных возможностях этих элементов.

Фред подозвал гарсона, расплатился и вышел из кафе. Был солнечный летний день. Он шел по тротуару, задумавшись и ничего не замечая вокруг себя. О чем спорили эти люди? Он ничего не понял ни из того, что сказал первый, ни из того, что ответил второй. И какое значение в жизни каждого из них могла иметь история европейской культуры? Чем они оба занимались? Каким ремеслом? Он повторял про себя: эллинское наследство, христианство, классификация, иррациональная область, — это звучало как непонятные слова иностранного языка. Для понимания этого нужны были какие то сведения, может быть те самые, об отсутствии которых говорил Лазарис. Он вспомнил это ненавистное, улыбающееся лицо.

— Вот чего тебе не хватает, Фред, — знаний.

Но зачем вообще все это было нужно и какую ценность это могло иметь? На первый взгляд это была просто ненужная болтовня. Но человек со светлыми глазами на загорелом лице не был похож на пустомелю. Другой, узколицый, впрочем тоже. То, что Фред не мог бы принять участие в их споре, было не так важно. Важно было другое: почему такие вопросы

могли интересовать этих людей и в чем было значение этих вопросов.

Он никому не мог бы сказать об этом, потому что никто бы его не понял. Он вернулся домой — и комната гостиницы показалась ему темной и бедной, как никогда. Дуду и Жинетта играли в карты.

— Да, я забыла тебе рассказать сегодня — сказала Жинетта и он подумал, что у нее дребезжащий голос, — вчера у меня был клиент, очень курьезный, я говорила это Дуду, мы так смеялись.

— Молчи — сказал Фред далеким и спокойным голосом. — Ты просто падаль.

— Ты всегда скажешь что нибудь приятное.

Фред вышел из комнаты. После минутного молчания Жинетта сказала:

— Ты видишь, Дуду, я тебе говорила, что он никогда не бывает доволен. Но я его люблю, ты понимаешь.

Было двенадцатое июля, летняя ночь, светили уличные фонари, едва слышно шумели листья на деревьях, и над дансингом «Золотая звезда» горели электрические трубки рекламы. Жерар, хозяин дансинга, фамильярно и почтительно в одно и тоже время опершись локтями о стойку разговаривал с человеком, хорошо, но как то безлично одетым, в синем костюме и черной шляпе. Жерар был в пиджаке и рубашке с галстуком. Но человек в синем костюме, разговаривавший с ним, полицейский инспектор, знал, что руки, плечи и грудь Жерара были покрыты сложной татуировкой — с надписями, пронзенными сердцами, якорями и змеями. Жерар был на голову выше любого посетителя дансинга; у него было широкое лицо, одновременно улыбающееся и свирепое. Единственное оружие, которого он боялся, был револьвер, единственные люди, которых он особенно остерегался, были полицейские. Он знал множество разных вещей: что такое алиби, что такое конкуренция, что такое тюрьма, что такое свобода. Он не знал только будущего. Он всегда мечтал, как он уедет на покой, поселится

в маленьком домике на берегу моря и будет ловить рыбу. Но на пути к достижению этой идиллической цели были препятствия, значения которых он не мог заранее учесть. Могло случиться, что через несколько лет он действительно будет жить где нибудь между Марселем и Тулоном и «Золотая звезда» станет далеким воспоминанием. Но могло быть и так, что однажды ночью или утром его татуированный труп найдут где нибудь в окрестностях Парижа и в маленьком домике на берегу моря будет жить кто то другой, не имеющий представления ни о дансинге «Золотая звезда», ни о многом ином, что предопределило жизнь — и смерть — Жерара. До сих пор ему всегда удавалось выходить сухим из воды, но некоторые из тех, кого он хорошо знал и с кем был связан деловыми отношениями, давно были на том свете, и ни один из них не умер от старости. Франсуа Кадэ, беспощадный человек, любивший повторять, что он никогда не ошибается, был убит ударом ножа в спину на пароходе, между Марселем и Корсикой. Тот, кого называли Куницей, умер в комнате парижской гостиницы от припадка астмы — первого и последнего, так как никто никогда не знал, что он был подвержен этой болезни. Антуан, полуполяк, полуфранцуз, пользовавшийся неограниченным кредитом у всех содержателей кафе в известных районах Парижа, исчез в один прекрасный день, точно испарился и лишь значительно позже, в случайном разговоре Жерар узнал, что именно с ним произошло: Антуан повесился в Шанхае и было непонятно, зачем ему было нужно ехать так далеко и кто внушил ему мысль о необходимости этого путешествия. Марго осталась на всю жизнь в Порт-Саиде, задыхаясь от жары и жестоко страдая от палюдизма, та самая Марго, с которой он, Жерар, танцовал на Boulevard de Belleville четырнадцатого июля, Марго, у которой были такие маленькие груди и такие глубокие глаза. Он бы не узнал ее никогда, это она узнала его в Порт-Саиде и тогда, сидя рядом с ней, в ее убогой комнате, на ее кровати, он вдруг почувствовал, что его глаза наполнились слезами от бешенства и сожаления в то время, как она рассказывала ему, почему она попала сюда.

Того человека, по вине которого это произошло, тоже теперь не было в живых, он умер накануне отъезда Жерара из Порт-Саида. Но это было слишком поздно и ничто уже не могло спасти Марго и вновь сделать ее такой, какой она была четырнадцатого июля — ничья смерть и ничье желание. Смерть была всюду — и Жерар это знал лучше, чем кто либо другой: в Париже и в Уайтчепеле, в Марселе и в Бирмингаме, в холодный и туманный день европейской зимы или в тропическую ночь, на пароходе или в гостинице, на углу улицы или на берегу океана. Но его гигантское татуированное тело прошло там, где были остановлены — раз навсегда — его прежние товарищи. К сожалению до Средиземноморского побережья было еще далеко и Жерар знал, что ручаться за что бы то ни было можно только на несколько часов вперед, не больше. И он был готов ко всему.

Сейчас он разговаривал с полицейским инспектором, который хотел знать, кто именно приходит в дансинг, из кого состоит клиентура «Золотой звезды».

— Вы хорошо знаете, господин инспектор, — говорил Жерар, — что у нас район не богатый и большинство посетителей — люди скромные.

— Но у вас полно каждый вечер?

— Что вы хотите, господин инспектор, это молодежь.

Он пожал плечами.

— Горничные, кухарки? — спросил инспектор.

— Главным образом горничные — сказал Жерар. — Кухарка, господин инспектор, это чаще всего толстая женщина, у нее красные руки, от нее пахнет салом... Нет, из кухарок бывают только эмансипированные, которых не много.

— Еще кто?

— Другие, — сказал Жерар, представительницы других профессий, мы, дирекция, их об этом спрашивать не можем, вы сами понимаете. Единственное что от них требуется, это прилично себя вести и платить, больше ничего. Много работниц с фабрики.

— А мужчины?

— Чаще всего из рабочих — сказал Жерар. — Электротехники, механики, подмастерья. Молодежь, господин инспектор. Трудящаяся молодежь.

— А дамы? Я хочу сказать настоящие дамы?

— Я понимаю, господин инспектор. Не те, которые служат горничными, а те, у кого служат горничные?

— Совершенно точно.

— Очень редко, господин инспектор. Вы знаете, они все ездят на rue de Lappe. У нас еще нет достаточной репутации...

— Вы понимаете, Жерар, меня в сущности совершенно не касается, как вы ведете дело.

— Я живу как в стеклянной клетке, господин инспектор. Моя отчетность всегда в порядке и все обо мне всё знают. Мне нечего скрывать..

— Тем лучше, тем лучше.. Мне только хотелось поставить вам на вид, что было бы желательно, чтобы у вас не происходило никаких историй, вы понимаете. Если бы случился какой нибудь инцидент и если бы это попало в газеты, мне лично было бы очень неприятно.

— Господин инспектор, если вам это было бы просто неприятно, то для меня это была бы катастрофа. Пока я жив, этого не произойдет. Мне не двадцать лет, я думаю о своей старости и мне пора на покой... И я вообще не люблю историй.

Разговор происходил под музыку; оркестр состоял из двух гармоник и рояля. Первый гармонист был красивый, немолодой мужчина, которому несколько лет тому назад ампутировали левую ногу до колена. Второй был молодой человек с напомаженными волосами и толстым, розовым лицом, который в свое время попался в довольно крупной краже, отбыл срок тюремного заключения и под влиянием Жерара решил вести честную жизнь. Пианиста звали Жаклина — и с первого взгляда становилось понятно почему: у него было напудренное лицо, подведенные глаза, галстук бабочкой, на тонкой белой шее и пиджак в талию, подчеркивавший нарочитую женственность его фигуры. Гарсоны проскальзывали между столиками, неся в руках подносы, уставленные стаканами и с жонглерской ловко-

стью лавируя в толпе танцующих. В смещающихся движениях проходили мужские и женские плечи, появлялись и тотчас сменялись другими десятки человеческих глаз, почти всегда сохранявших серьезное выражение. И в звуках этой музыки и в лицах танцующих была очень своеобразная печальная пронзительность, — убожество той жизни, которую они вели, будущее, которое чаще всего их ожидало, бедные радости, которые им давала «Золотая звезда», — потому что другие были им недоступны. Среди этой толпы обращали на себя внимание очень хорошо, в отличие от других, одетые люди с мягкими движениями и бархатными глазами, в шелковых рубашках с вышитыми инициалами и в галстуках скромной расцветки. У них были разные лица, но все таки в них было нечто общее и становилось очевидно, что они все принадлежали к одной и той же корпорации, неопределимой для неискушенного глаза. Это было тем легче заметить, что они держались отдельной группой и женщины, которых они сопровождали, были одеты лучше других..

Инспектор бросил быстрый и внимательный взгляд в их сторону и коротко спросил:

— Шулера?

— Клиенты, господин инспектор — сказал Жерар. — Как вы хотите, чтобы я знал их профессию? Вот, если бы у меня был такой наметанный глаз, как у вас...

Инспектор пожал плечами. В известном смысле Жерар был прав: инспектор определял профессию этих людей по их внешнему виду. Жерару незачем было этим заниматься: он знал их всех лично.

Когда инспектор уходил, Жерар еще раз сказал ему:

— Вы можете быть спокойны, историй у меня не было и не будет.

Это точно соответствовало действительности. Посетители дансинга должны были подчиняться строжайшим правилам и Жерар сам следил за тем, чтобы они выполнялись. Для тех, кто его знал, было очевидно, что это было лучшей гарантией, какая могла существовать.

Было около половины первого ночи, когда в дансинг вошел Фред. Дуду следовал за ним. Они с трудом нашли свободный столик, заказали себе пива и Дуду потом не пропускал ни одного танца, беспрерывно меняя партнерш. Он танцовал очень особенно, широко расставляя локти и прижимая голову к левому плечу, отчего его лицо с раздавленным носом принимало почти горизонтальное положение.

— Я от музыки делаюсь печальным — говорил он своей даме, — и мне начинает хотеться танцовать. Вы здесь недалеко работаете?

После танца он присаживался на минуту, выпивал глоток пива и как только музыка снова начинала играть, его уже не было.

— Я делаюсь от музыки печальным — опять говорил он — и мне хочется танцовать. Вы здесь недалеко работаете?

Перед входом в «Золотую звезду» остановился автомобиль, потом хлопнула дверца и с высоты своего гигантского роста Жерар увидел, что вошли две дамы, очень молодые. Он вышел из-за стойки и спустился в зал, навстречу новым посетительницам. Все столики были заняты. Он провел их к тому, который был ближе всего от стойки, и за которым сидели двое мужчин в кепках. Жерар сказал:

— Mesdames, вот вам столик. Мои друзья — он показал кивком головы на мужчин в кепках — только что предупредили меня, что они уходят и освобождают место.

Те поднялись и пошли расплачиваться. Валентина Симон сказала своей спутнице, красивой даме с фарфоровым цветом лица:

— You will see, it will be exciting.

Музыка продолжала играть, плечи Жаклины тряслись над роялем и особенная, дребезжащая печаль гармоник так же лилась музыкальными волнами в накуренном воздухе. Валентина вспомнила, как недавно один из ее поклонников сказал ей, что звуки гармоники чем то напоминают ему поэзию Верлэна: та же пронзительная печаль, вызывающая одновременно презрение и жалость. Никто не приглашал танцовать ни Вален-

тину, ни ее спутницу. Тогда из-за стойки вновь спустился Жерар. Он подошел к Валентине, поклонился и спросил, не согласна ли она... Она поднялась и пошла танцовать с ним.

Фред давно следил за ней своими неподвижными глазами. Он увидел тотчас, — так же как Жерар, — что Валентина принадлежала к другой общественной категории, чем обычные посетители «Золотой звезды», может быть к той самой, что Роберт Бертье и люди говорившие в его присутствии об истории европейской культуры. Надо было сделать все возможное, чтобы получить о ней более точное представление. Может быть эта девушка... Когда танец кончился и Жерар отвел Валентину к ее столику, — Фред видел, что там уже стояло шампанское, которого обычно никто не заказывал в «Золотой звезде»,—он поднялся и направился туда. Но когда он проходил мимо стойки, Жерар бросил в его сторону выразительный взгляд, в значении которого нельзя было ошибиться. Фред приблизился.

— Здравствуй, мой милый, сказал Жерар. Рот его был раздвинут в улыбке, но глаза смотрели холодно и свирепо.

— Здравствуй, патрон — ответил Фред.

Жерар не любил, когда к нему так обращались. Он предпочитал, чтобы его называли «господин Жерар». Но он сделал вид, что не обратил на это внимания. Он понизил голос и сказал:

— Если ты собираешься пригласить эту барышню...

— С вашего разрешения, патрон.

— Конечно — сказал Жерар. — Я только хотел тебя предупредить, что обращаться с ней надо чрезвычайно деликатно. Если бы тебе пришла фантазия разговаривать с ней, как с Жинеттой или Ренэ, это было бы крайне неуместно и могло бы иметь самые печальные — он подчеркнул эти слова — последствия. Ты понимаешь?

— Господин Жерар, — сказал Фред, — я не слепой, у меня есть глаза. Вы можете быть совершенно спокойны.

— Я спокоен — сказал Жерар — Если кому из нас придется волноваться, то это тебе, а не мне. Я знаю твою репутацию, но помни, что есть случаи, в которых никакие личные

качества помочь не могут. И верь мне, я знаю, что я говорю. Но я знаю также, что ты хороший парень.

Фред успел подумать, что за последнее время он наталкивается на препятствия, которых раньше как будто не было. Он закусил губу, но ничего не сказал и направился к столику Валентины.

Она давно была пьяна, он увидел это по ее туманным глазам. Почти не глядя на него, она положила ему руку на плечо и пошла танцовать. Его поразило ощущение свежести, которую он почувствовал, приблизившись к ней, белизна ее легкой блузки, длинные и чистые ее пальцы, квадратные часики на массивном золотом браслете. Он молчал первые секунды, не находя слов. О чем можно было с ней говорить?

Она заговорила первая. Ее взгляд упал на его башмаки с белым верхом и желтым низом, она улыбнулась широкой улыбкой и спросила пьяным голосом:

— Вы сутенер, да?

— Почему?

— Я не специалистка — сказала она. От нее пахло холодным шампанским. — Но это видно по вашим башмакам.

Фред не понимал.

— Вы не знали? Двуцветные башмаки носят чаще всего сутенеры. Я об этом много раз читала. Расскажите мне, как вы работаете.

— Это не так просто, Mademoiselle — сказал Фред, — на это потребовалось бы много времени.

— Но у нас вся ночь впереди — сказала Валентина. — Мы будем пить шампанское и вы будете мне рассказывать, как вы работаете.

— Вас, вероятно, ждут ваши родители дома, Mademoiselle, — сказал он.

— У меня нет родителей — ответила она своим пьяным голосом. — Мой отец давно умер, мать тоже. Я живу у дяди. Эта старая обезьяна меня ненавидит, но он ничего не может сделать, потому что в его положении это невозможно.

— В его положении?

— Ну да, — сказала Валентина, — он сенатор. Я вам говорю — старая, скупая обезьяна.

— Mademoiselle — сказал он, — если это вас действительно интересует, мы можем с вами как нибудь встретиться, я с удовольствием...

— Хорошо, позвоните мне по телефону до двенадцати часов дня — сказала она. Она была совершенно пьяна. Если вам ответит горничная, попросите Mademoiselle Valentine. Вот номер — она дала ему номер телефона. — Как ваше имя?

— Фред.

— А? — сказала она с удивлением. — Вы английского происхождения?

— Нет, меня так называют. Моё настоящее имя Франсис.

— Хорошо, скажите, что звонит Фред. Вы не забудете?

— Будьте покойны, Mademoiselle Valentine, — сказал он, — я не забуду.

Танец кончился, он отвел ее к месту и ушел.

— Хорошая бабёнка — сказал ему Дуду. — Я приглашу ее на следующий танец.

— Боже тебя храни даже думать об этом — сказал Фред. — Забудь об ее существовании.

Дуду пожал плечами.

— Это неважно. Не то, чтобы меня интересовала одна какая нибудь девушка больше, чем другие. Я люблю музыку и танец, ты понимаешь?

— Да — сказал Фред.

Через десять минут они выходили из дансинга. Недалеко от входа стояли двое полицейских, немного дальше — такси с опущенным флажком счетчика. Шофер в сером халате прохаживался по тротуару.

— Задержан? — спросил его Фред, остановившись на минуту.

— Жду уже полтора часа.

Не скучаешь?

— А как ты думаешь? Счетчик идет, километров не

делаешь, бензина не тратишь — одно удовольствие. И не гоняешь машину по всем улицам. Так спокойнее. А я люблю спокойствие, что ты хочешь. Я такой.

— Ты полон благоразумия — сказал Фред, хлопнув его по плечу. — А я вот не люблю спокойствия.

— Il faut de tout pour faire un monde — сказал шофер. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи — ответил Фред.

— Il faut de tout pour faire un monde — повторил Дуду. — Что он собственно хотел сказать?

— Он хотел сказать, — ответил Фред — глаза его пристально смотрели на матовый белый шар уличного фонаря, в котором мягко растворялся взгляд, упиравшийся в светлую муть, — что ты хороший парень, но что пороха ты никогда не выдумаешь.

Дуду посмотрел на него и ничего не ответил.

А в «Золотой звезде» Валентина допивала шампанское. Все смутно плыло перед ее глазами, попрежнему играли гармоники, сквозь которые временами доходили звуки рояля. Напудренное лицо Жаклины смотрело в сторону Валентины с ненавистью, как ей казалось. Она вспомнила почему то портрет Рэмбо, юношеское и преступное его лицо — и вдруг что то точно обожгло ее на секунду, какое то понимание, мгновенно от нее ускользнувшее. Она не знала, что это было, — может быть Жаклина, может быть Рэмбо, может быть мысль о том, что за этим дымом, за прохладным туманом шампанского, за гармониками и роялем, вдруг возникает, как во сне, черная и холодная пропасть. Она покачнулась на стуле и едва не упала. Жерар, все время следивший за ней, подошел к ее столику.

— Я не мог бы вам быть чем нибудь полезен?

Спутница Валентины была тоже совершенно пьяна.

— Да, пожалуйста — сказала Валентина. — Вот деньги — она открыла сумку. — И доведите нас до такси, которое нас ждет.

Жерар поклонился. Через две минуты автомобиль увозил Валентину по ночным улицам Парижа и шофер, привычно

глядя перед собой на огни встречных машин и черную блестящую мостовую, думал, что скажет жене, вернувшись домой, чтобы завтра к обеду она приготовила кролика. Это было то, чего ему давно хотелось и чего он не мог вспомнить, когда ждал своих клиенток: ему было легче думать во время движения автомобиля. Когда он стоял, это было гораздо труднее.

На следующий день после того, как она была в «Золотой звезде», Валентина встала очень поздно, с легкой головной болью и ощущением мути, от которого не могла избавиться. Она приняла горячую ванну и когда она вышла наконец в столовую, она узнала, что дядя приглашен на какой то официальный завтрак и будет дома не раньше четырех часов. Ей предстоял неприятный разговор с ним: было тринадцатое июля и от денег, которые он выдавал ей каждое первое число месяца, ничего не осталось. Она знала, что это вызовет очередной скандал.

Но она не думала все таки, что объяснение будет носить такой бурный характер. Симон, вернувшийся домой с чувством тяжести в голове и желудке, был вообще в дурном настроении. Но когда Валентина пришла к нему и сказала ему тем вялым голосом, каким она всегда начинала говорить, как только речь заходила о деньгах, что у нее ничего не осталось и что ей нечем заплатить за билет метро или автобуса, он пришел в бешенство. Лицо его побагровело, он глотал воздух и несколько секунд не мог сказать ни слова. Потом он начал кричать нечто бессвязное и непонятное, так что это было больше похоже на звуковой протест, чем на сколько нибудь логическую аргументацию. Валентина только поняла, что у него нет фабрики фальшивых денег и что он об этом жалеет, что у него зато есть бюджет, которого он не может превысить, что он заслужил право не умереть в нищете и в самое ближайшее время, то есть не позже, чем сегодня вечером ему предстоит очередной крупный расход, так как явится этот мерзавец Шарпантье.

— Подожди немного, — сказала она, морщась от его крика. — Кто такой Шарпантье?

— Кто такой Шарпантье? Кто такой Шарпантье?

Ей показалось, что на его губах выступает пена.

— Ты меня спрашиваешь кто такой Шарпантье? Нет, это действительно превышает всякую меру! Шарпантье — шантажист, которому я плачу, чтобы он молчал и не предавал гласности некоторые вещи, ты понимаешь?

— Что же ты скрываешь?

Он хотел что то ответить, но не мог и упал в кресло. Затем он сделал ей повелительный знак своей дрожащей рукой: она налила стакан воды и передала ему. И как только он выпил его, он закричал:

— Мне лично нечего скрывать! Моя жизнь безупречна! Но я не могу сказать того же о других!

Он вдруг понял, что Валентина не должна была ничего знать об этом и даже пожалел, что упомянул о Шарпантье. И когда он подумал об этом, он сразу стал спокойнее.

— Не будем об этом говорить — сказал он примирительно. — Ни я, ни ты в этом не виноваты: я расплачиваюсь за вину других людей, Шарпантье знает, что я не могу ничего сделать и поэтому он меня шантажирует, постепенно увеличивая сумму, которую я ему плачу. Это понижает значительную часть моих доходов. Поэтому я стеснен в средствах.

— И ты не можешь просто отказать ему?

— Если ты думаешь, что для понимания такой возможности мне нужно было ждать твоего совета...

— И ничего нельзя сделать?

Он пожал плечами.

— А какой это Шарпантье? Это тот высокий, лысый человек, который иногда приходит?

Он утвердительно кивнул головой. Потом он сделал рукой усталый жест, достал бумажник, вынул оттуда несколько кредитных билетов и передал их Валентине.

— А теперь иди — сказал он. — Постарайся быть ме-

нее расточительной. Иди, мне надо отдохнуть. Эта проклятая утка и бургундское...

Уходя в свою комнату, Валентина думала о том, что в ее доме есть какая то тайна, есть шантаж и это очень забавно. Когда Шарпантье действительно пришел за деньгами в тот же вечер, она была дома и внимательно осмотрела его. Она вспомнила его костюм с поблескивающими локтями пиджака, его походку, — он ходил, выворачивая в сторону носки ног, — его лысину, желтоватую кожу его лица и общее впечатление скрытой нечистоплотности, которое он производил, точно этот человек никогда не принимал ванны. И она подумала, что типичный шантажист должен быть именно таким. Он недолго пробыл у Симона и ушел своей странной походкой, зажимая подмышкой потертый портфель и несколько склонив голову набок. Она смотрела ему вслед с любопытством и легким отвращением, но без какого бы то ни было враждебного чувства. Шарпантье почтительно поклонился ей, проходя через гостиную, где она сидела с книгой в руках, и подумал, как это думали все, кто видел Валентину, что племянница сенатора была похожа на кинематографическую артистку. Он вспомнил о той, давно прошедшей ночи, когда ее мать ему принадлежала и эта мысль заключала в себе почти бессознательное ощущение его превосходства над этой девушкой. Он встретил на секунду безразличный взгляд ее светлых глаз — и вдруг испытал мгновенное и совершенно необъяснимое чувство страха, настолько сильное, что у него начали трястись руки. Выйдя на улицу, он оправился и когда он вспомнил об этом чувстве страха, оно показалось ему непонятным и вздорным. Он подумал, что нужно, пожалуй, пить меньше черного кофе и пошел по направлению к метро.

По дороге он подводил в уме свой месячный итог. Потом он едва заметно покачал головой с удовлетворением. Вечером, дома, разговаривая с женой, он сказал, что иногда некоторые отрицательные поступки могут иметь положительные последствия. Эта фраза не требовала никаких комментариев, это было философское изречение. Но оно не было

таким отвлеченным, каким могло показаться на первый взгляд. Говоря об отрицательных поступках, он имел ввиду поведение Анны, матери Валентины; говоря о положительных последствиях, он думал о том, что это дало ему возможность значительно увеличить свои собственные доходы, шантажируя сенатора Симона. Это был, в сущности, один из непредвиденных вариантов закона достаточного основания. Но эта сторона вопроса его не интересовала как таковая.

Фред позвонил Валентине через два дня, он долго думал об этом перед тем, как опустить жетон в телефонный ящик и составить номер, который был у него записан. Валентина так же отличалась от других девушек, тех, которых он хорошо знал, как Роберт Бертье и люди, говорившие в кафе об истории европейской культуры, отличались от него самого. Он думал именно об этом, не о том, чем каждый из них не походил на другого, а о чем то, что у них было общего. И Валентина и Роберт и эти люди в кафе могли быть совершенно непохожи друг на друга, но ему казалось, что в самом главном, что отличало их от тех, кого он знал до сих пор, они были одинаковы. Он вспомнил это особенное ощущение свежести, которое было характерно для Валентины, ее небрежные движения, ее голос, голос девушки, которая привыкла никого не бояться. Этим же голосом она могла бы вероятно говорить с судебным следователем или полицейским инспектором. И у нее, конечно, не было никакого страха перед Фредом и даже если бы она знала его репутацию, это наверно не испугало бы ее. Она бессознательно чувствовала свое превосходство над ним. Чем оно объяснялось? Все тем же непонятным отличием, заключавшемся в том, что она знала какие то ненужные вещи, которых не знал он?

Она назначила ему свидание в большом кафе на Елисейских полях. Он обыкновенно приходил на каждое свидание с небольшим опозданием: он знал что его должны были ждать. Но теперь он пришел на пять минут раньше назначенного часа. Валентина явилась через несколько минут; он видел, как она подъехала на такси. Она была в светло-се-

ром костюме, с другой сумкой и с другой прической и на этот раз у нее были совершенно ясные глаза. Она подала ему свою прохладную руку и заказала себе черного кофе.

— Я никогда еще не встречала таких людей как вы — сказала она ему. — Расскажите мне о себе. Как вы жили раньше, как вы стали заниматься этой профессией?

— Это вас наверное забавляет, Mademoiselle Valentine? — спросил он. — Да?

Но она была теперь не такой, какой он ее запомнил в тот вечер, когда танцовал с ней. Ее лицо было серьезно и ее глаза смотрели на него со спокойным вниманием. Он даже подумал, что в ее взгляде было что то почти доброжелательное.

— Нет, — сказала она. — Забавляет это не то слово. Я бы сказала — интересует.

И вдруг Фред, первый раз в своей жизни почувствовал непостижимое желание рассказать ей то, чего он до тех пор не рассказывал никому. Он не отдавал себе отчета в том, почему ему захотелось сказать это именно ей, бесконечно далекой и чужой Mademoiselle Valentine. Он понял это потом, много позже; но тогда, в ту минуту, он этого не понимал.

— Если вы думаете, что в этом есть что нибудь веселое, Mademoiselle, — сказал он, — то вы ошибаетесь. Я не знаю, интересно ли это.

Он бессознательно старался говорить так, как говорили люди в кафе.

— Я вас слушаю со вниманием.

Она увидела, что на его юношеском, худом лице вдруг дернулся рот.

— Видели ли вы когда нибудь деревянные домики на окраинах Парижа?

— Нет — ответила она. Я где то читала о них, это кажется был какой то репортаж. Но я их никогда не видела.

— Я там родился — сказал он. — Это было возле Porte d'Italie.

Она заметила, что у него немного дрожали руки.

— Это было двадцать два года тому назад, — сказал он. — Я не знаю кто был мой отец, моя мать тоже этого не знала. И вероятно он тоже не знал, что я был его сыном. Я не имею о нем никакого представления. Я не знаю жив ли он. Может быть нет. У нас легко умирают, Mademoiselle Valentine.

Она кивнула головой.

Он рассказал ей о своем детстве, о том, как он питался, как он был счастлив однажды, когда нашел в мусорном ящике настоящий сандвич с ветчиной. Ему было тогда семь лет. Он рассказал ей о бесконечных побоях, о жилистом калеке, о том, как он попал в исправительный дом, как он работал у крестьянина, как просил милостыню, притворяясь слепым.

— И вы никогда не встретили никого, кто бы к вам хорошо отнесся?

— Si — сказал он. — Это была молодая женщина. Она была проститутка, — как другие.

— Вы с ней потом расстались?

— Да — сказал Фред. — Однажды утром я нашел ее задушенной.

— Вы узнали, кто ее задушил?

— Да, Mademoiselle, это был маньяк. Через некоторое время он умер в сумасшедшем доме.

Валентина молчала несколько секунд. Это было совсем не то, чего она ожидала. То, что рассказал ей Фред, было тягостно и скучно. Она думала, что знакомство с ним окажется более интересным.

Фред в свою очередь задал ей несколько вопросов. Он узнал, что она учится на юридическом факультете, что она живет у дяди, что она собирается уехать на лето в Англию, что ее дядя болезненный и скупой старик, что не считая шофера, горничной и кухарки, они живут с ним вдвоем в огромной квартире, и когда она уходит, он остается долгими часами совершенно один. Затем она взглянула на часы, ска-

зала, что ей пора идти, что она может быть еще встретится с ним после возвращения из Англии и ушла. Ей было теперь ясно, что эта встреча и рассказ Фреда, — все это было лишним и она подумала об этом не без некоторой досады. Ей казалось теперь, что она могла бы не сообщать Фреду даже тех незначительных сведений о себе, которые она дала. Но она чувствовала по отношению к нему нечто вроде морального обязательства после того, что он рассказал ей о себе. Уходя она знала, что никогда больше не увидит этого человека — во всяком случае если это будет зависеть от ее желания.

Фред вышел из кафе через несколько минут после нее. Но вместо того чтобы вернуться домой он пошел пешком по Елисейским полям, направляясь к Place d'Etoile. До сих пор ему почти не приходилось бывать в этом квартале города. Он спустился по Avenue Foch и вошел в Булонский лес. Там он свернул в одну из боковых аллей, и найдя удобное, как ему показалось, место, лег на траву, подпер голову рукой и опять углубился в те мысли, которые овладели его воображением за последнее время. Они были сейчас крайне неясными и расплывчатыми, но одну вещь он знал твердо: он не хотел продолжать жить так, как он жил до сих пор.

За его спиной послышался звук копыт. Он обернулся: по аллее ехали верхом двое, молодой человек и девушка. Лошади шли шагом и обмахивались хвостами. До слуха Фреда донеслось несколько слов, которые произнес молодой человек и фраза девушки, ответившей ему. Они говорили на иностранном языке. Он долго смотрел им вслед, жуя блеклую травинку и думая всё о том же. Бросить Rue St. Denis, Жинетту, Ренэ, Дуду, уйти однажды утром и не вернуться. Даже больше — исчезнуть, сделать так, чтобы Фред перестал существовать и чтобы через несколько лет... Но его воображение отказывалось идти дальше.

Тогда он стал думать о практической стороне своего проекта, который показался бы непонятным и необъяснимым для всех кто его знал. Нельзя было, конечно, откладывать каж-

дый день какую то сумму денег, на это потребовалось бы слишком много времени и терпения. Деньги нужны были сразу. Но до всего этого надо было встретить Роберта Бертье, это было самое главное. Он вспомнил с досадой, что Роберта не было в Париже, он вероятно уехал куда нибудь на лето с Жаниной, и может быть теперь, где то за сотни километров отсюда они говорят о нем, Фреде, и смеются над его неудачей. Очень возможно, что Роберт больше не боялся его. Если это было так, то он был неправ, потому что Фред был не таким, как другие и тем, кто был склонен это забывать, придется дорого заплатить за свою ошибку.

Он поднялся с травы и пошел по направлению к городу. В правом кармане его пиджака лежал револьвер. Он шел, прямо глядя перед собой, чувствуя каждое движение своего тела и думал о том, что нет опасности, которая застала бы его врасплох: он был готов к действию в любую минуту. Но аллеи Булонского леса были пустынны, был мирный июльский день в Париже, не было никакой опасности и никакой необходимости действовать, было тепло, был сонный воздух и в высоком небе неподвижно стояли белые перистые облака.

Труп Шарпантье был найден в лесу, возле дороги, недалеко от Фонтенебло, на рассвете дождливого дня, четвертого августа. Его увидели жандармы, проезжавшие на велосипедах. Шарпантье лежал, уткнувшись лицом в придорожную траву и кровь густо запеклась на его голове: у него был проломлен череп. Согласно заключению полицейского врача смерть последовала оттого, что Шарпантье, падая, ударился со всего размаха головой о каменную тумбу с указанием числа километров от этого места до Парижа. На трупе нашли бумажник, повидимому не тронутый, потому что там была известная сумма денег, — около трехсот франков, — несколько фотографий, изображавших голых женщин в разных позах и визитную карточку, на которой было написано: «Виктор Шарпантье, помощник бухгалтера, 265, бульвар Анатоль Франс, Монруж». Секретарь ближайшего коммиссариата соста-

вил соответствующий протокол «в четыре часа шесть минут утра»... «около семидесяти метров от места, называющегося»... «смерть последовала много часов тому назад»... «никаких других знаков насилия»... Полицейское следствие установило целый ряд фактов, относившихся к жизни Шарпантье, но их совокупность не могла дать никакого объяснения его смерти. Шарпантье был на отличном счету в своем предприятии, был примерным семьянином, вел образцовый образ жизни, никогда подолгу не отсутствовал из дому, не имел подозрительных знакомств, и отличался еще в довершение всего, отсутствием каких бы то ни было разорительных страстей. Накануне того дня, когда его труп был найден около Фонтенебло он ушел утром из дому, как всегда, и проработал в конторе до вечера. Затем он вышел оттуда, как выходил, кончив работу, каждый день, — и исчез. Куда он направился и что случилось потом, было невозможно установить, как нельзя было понять, почему он очутился вечером на дороге в Фонтенебло. Все сведения, собранные о нем, были самыми положительными. В конце концов выяснилось только одно обстоятельство, которое не могло не показаться несколько странным: в сберегательной кассе и в банке, где у Шарпантье был текущий счет, оказалась довольно крупная сумма денег, настолько крупная, что вряд ли он мог ее сэкономить, даже если предположить, что он откладывал максимум того, что мог, всю свою жизнь. Но предположение, напрашивавшееся само собой, о том, что доверенная ему отчетность могла бы дать этому достаточное объяснение, оказалось ошибочным: отчетность была в идеальном порядке и директор предприятия сказал, что Шарпантье можно было дать миллионы и быть уверенным, что ни один франк не пропадет. Тот факт, что в его бумажнике были неприличные фотографии, тоже ни в какой мере не был показательным: Шарпантье был немолодым человеком и в этом «эротическом уклоне», как это назвал в своем отчете репортер распространенной вечерней газеты, не было ничего странного. Предположение о самоубийстве, — помимо того, что у Шарпантье не было для этого

никаких оснований, — отпадало тоже: согласно рапорту полицейского врача, Шарпантье по всей вероятности был выброшен из автомобиля на полном ходу. Другими словами, — без того, чтобы это можно было утверждать с абсолютной достоверностью, надо было полагать, что Шарпантье был убит неизвестным человеком или неизвестными людьми двадцать четвертого августа — по неизвестным причинам.

«Нам остается надеяться, — писал тот же репортер, — что полицейскому следствию удастся пролить свет на те загадочные обстоятельства, при которых произошло это преступление. Можно сказать без преувеличения, что оно бросает вызов самой элементарной логике и всем нашим представлениям о том, какими именно соображениями объясняются убийства вообще. Одно можно утверждать, не рискуя ошибиться: беспричинных убийств почти никогда не бывает и может быть причина тем глубже, чем более она кажется непонятной. Здесь речь идет о профессиональной чести полиции, которая должна если она не хочет, чтобы ее престижу был нанесен непоправимый удар, выяснить, как и почему это произошло. Мы не допускаем мысли, что это убийство может остаться безнаказанным. Мы хотим знать, — и мы имеем на это право, — как и почему умер помощник бухгалтера Шарпантье».

Эти последние строки отчета должны были, однако, рассматриваться просто как стилистическая виньетка. Репортер был достаточно опытным человеком и понимал, что задача полиции в данном случае была почти неразрешима. Впрочем, вся жизнь Шарпантье не давала, казалось бы, решительно никаких оснований для сколько нибудь произвольных предположений о том, что он из себя представлял. Было неизбежно, конечно, что будет написано несколько строк о его двойной жизни, но тот бесспорный факт, что все его времяпрепровождение всегда можно было установить с необыкновенной легкостью и точностью в любой период его существования, лишал эту теорию всякой убедительности. Единственное событие, несколько отличавшееся от тех, которые составляли

ежедневное, ежемесячное и ежегодное существование Шарпантье, никогда не бравшего, по экономическим соображениям, отпуска, произошло десять лет тому назад, когда он был послан своим предприятием в Марсель для проверки некоторых итогов тамошнего отделения фирмы. Он провел там четыре дня и, выполнив за это время свою работу, вернулся в Париж. Полиция заинтересовалась вопросом о том, когда именно Шарпантье внес в банк ту сумму, размеры которой не могли не удивить всех, кто знал его скромные доходы. Но как раз в годы, непосредственно предшествовавшие его путешествию в Марсель и непосредственно за ним следовавшие, он не сделал ни одного вклада. Они начались значительно позже и чаще всего совпадали с началом месяца. Было ясно только одно: в жизни Шарпантье было нечто, что так или иначе предопределило его трагическую и вероятно насильственную смерть. Это могла быть какая то ошибка в сложном расчете, это могла быть какая то личная его особенность, о которой знал только он и тот или те, кто совершил убийство — если он действительно стал жертвой убийства. Но для того, чтобы придти к этому выводу, вовсе не было необходимости прибегать к помощи полицейского следствия. Он вытекал из того факта, что по всей вероятности, — как это было сказано в заключении врача, — Шарпантье был именно убит, а не умер своей смертью.

Не считая семьи покойного, где его неожиданный уход из жизни, впрочем, не вызвал особенно бурных реакций ни со стороны его детей, к которым он был неизменно строг и которые его не очень любили, ни со стороны его жены, в существовании которой он давно перестал играть главную роль, не считая его сослуживцев и начальников, отнесшихся к этому как к любому другому факту газетной хроники, — был один человек, испытавший нечто в роде удовлетворения, когда он прочел об этом в уголовной рубрике вечернего листка: сенатор Симон. Ему сразу бросился в глаза заголовок: «Таинственное убийство в лесу Фонтенебло». Он находился в это время в Виши. Он внимательно прочел заметку об этом и

когда он убедился, что речь шла действительно о помощнике бухгалтера, Викторе Шарпантье, примерном отце семейства и нравственно безупречном человеке, он отложил газету и задумался на несколько минут. Повидимому Шарпантье был менее осторожен, чем это казалось на первый взгляд и у него были знакомства, которых следовало избегать. Это было единственное объяснение, которое ему пришло в голову. Если бы ему сказали, что была какая-то связь между тем, что Шарпантье долго шантажировал его, Симона, и тем, что он потом был убит, он бы пожал плечами. Он испытал необыкновенное облегчение и почувствовал, что избавился от неприятного груза. — Тем лучше, — пробормотал он про себя, — тем лучше. Он был почти благодарен судьбе, которая позаботилась о том, чтобы убрать Шарпантье из его жизни. Таким образом и с этой стороны полицейское следствие не могло ожидать никаких разъяснений; и причина этого преступления до конца осталась непонятной, как если бы ее не существовало вообще. Следствие было фактически прекращено. Журналист вечерней газеты, все тот же, написал статью, где приводил ряд почти отвлеченных криминологических соображений и приходил к заключению, что это убийство следовало рассматривать, как классический пример преступления, в расчете которого не было допущено ни одной ошибки. Особенное совершенство выполнения он видел в том, что убийце или убийцам удалось сделать так, что причина преступления осталась неразгаданной, — главное и в сущности непреодолимое препятствие для всякого следствия. Он высказывал, однако, убеждение, что только недостаток некоторых основных данных, а не идеальная отвлеченная неразрешимость, мешает беспристрастному исследователю установить, как именно и почему именно это произошло.

Его статья была последним по времени упоминанием о Шарпантье. Потом о нем перестали писать и перестали им интересоваться. Преступление осталось нераскрытым и никто из тех, кому было поручено обнаружить убийц, даже не узнал что, собственно, предопределило участь Шарпантье.

Это было понятно и неизбежно, — потому что никому в голову не могла придти мысль, что в вопросе о жизни или смерти этого человека главную роль, решившую его участь, играли некоторые анатомические особенности Маргариты, эльзасской девушки, анатомические особенности, делавшие понятным ее пристрастие к физически сильным людям. При другом стечении обстоятельств эта ее особенность и в выборе любовников могла бы не повлечь за собой никаких неприятностей для кого бы то ни было. Но в данном случае это ее пристрастие предопределило судьбу Шарпантье — потому что Маргарита была горничной у сенатора Симона, потому что она познакомилась некоторое время тому назад с Дуду, потому что от Дуду у нее не было секретов и потому что, лежа с ним в кровати, в своей комнате и глядя на него влюбленными глазами, она рассказала ему о Шарпантье, которому Симон сказал во время его очередного посещения:

— У меня нет денег, я могу вам дать только чек. Если вы непременно хотите наличными, приходите в среду вечером после вашей работы и вы сразу получите все двадцать тысяч. И не опаздывайте, потому что я уезжаю в Виши вечерним поездом.

Маргарита слышала этот разговор и рассказала о нем Дуду, как она рассказывала ему все, что происходило в ее несложной жизни: прачка не вернула ей одной простыни, слесарь обещал придти в четыре, а пришел только в пять. И Дуду так же, быть может, не обратил бы на это внимания.

Но за Дуду стоял Фред. Он давно следил за домом сенатора и думал о том, как именно следует действовать. Ему нужно было знать, где Симон хранит свои деньги и драгоценности, есть ли у него несгораемый шкаф и если есть, то какой приблизительно системы. Это он узнал, что полная девушка с маленькими голубыми глазами и явным эльзасским акцентом служит горничной у сенатора. Его собственная попытка завязать с ней знакомство не привела ни к чему и тогда он послал вместо себя Дуду. Когда Дуду передал ему слова Маргариты, Фред сказал:

— В среду вечером мы это устроим. Я все беру на себя, ты будешь делать только то, что я тебе буду говорить.

В понедельник утром Маргарита уехала на две недели в Эльзас. Во вторник вечером Дуду, — который, до того, как выступать на ринге, был шофером, — увел синий четырехместный автомобиль, который принадлежал какому то коммивояжеру и который показал ему Фред. В среду вечером этот автомобиль стоял недалеко от дома, в котором жил сенатор Симон. Дуду был у руля; в глубине машины сидел Фред. В половине восьмого Шарпантье, поднявшись по бульвару, позвонил у двери сенатора. Без четверти восемь он показался на пороге и затворил за собой дверь. Фред вышел из автомобиля и, не обернувшись к Дуду, пошел на перерез Шарпантье. По тротуарам шли люди, по бульвару проезжали автомобили. Небо было покрыто тучами и несмотря на ранний час, казалось, что начинает темнеть. Фред приблизился к Шарпантье и сказал:

— Будьте любезны следовать за мной.

Если бы Шарпантье не испытал того смертельного испуга, который совершенно парализовал его волю, он вероятно спросил бы Фреда, кто он такой и на каком основании он, Шарпантье, должен следовать за ним. Но он так испугался, что на некоторое время потерял дар речи. Кроме того, в его кармане лежало двадцать тысяч франков и может быть это было известно и может быть было известно, каким путем они получены. Он шел на обмягших ногах рядом с Фредом. Фред втолкнул его в автомобиль и машина сразу двинулась. Они проехали по окраинным бульварам, пересекли реку и помчались опять по прямой линии. Шарпантье спросил едва слышно — в горле у него пересохло:

— Куда вы меня везете?

— Пожалуйста без вопросов — холодно сказал Фред.

Автомобиль проехал через Вильжюиф и набирая скорость шел теперь по дороге в Фонтенебло. Фред молчал. Шарпантье смотрел мутными, отчаянными глазами на широкие плечи Дуду и его невыразительный, равнодушный затылок.

У него учащенно билось сердце и когда он провел рукой по лицу, его вдруг точно издали удивило ее холодное прикосновение. Он сделал над собой усилие и еще раз спросил:

— Я все таки хочу знать, куда мы едем?

И тотчас же он почувствовал, что в его правый бок упирается дуло револьвера.

— Еще одно слово — и конец — сказал Фред.

Навстречу автомобилю неслись темные деревья. Начал идти дождь и по стеклам машины заструились капли воды. И тогда, именно в эту минуту, Шарпантье вдруг понял, что он погиб. Он хотел что то сказать, но вспомнил предупреждения Фреда и не посмел. Рубашка его была мокрой от пота. Ему было трудно дышать. Потом перед ним появились на секунду далекие и туманные глаза Анны — тогда в Марселе... Он был близок к обмороку. Фред сказал, обращаясь к Дуду:

— Остановись с правой стороны, за этим поворотом.

Автомобиль остановился. Фред сказал Шарпантье:

— Бумажник.

Шарпантье вынул бумажник и отдал его Фреду. Фред пересчитал деньги, взял двадцать тысяч, оставил триста франков и вернул бумажник Шарпантье. Потом он спросил:

— За что старик платит тебе деньги?

По крыше автомобиля стучал дождь, капли воды безостановочно текли по стеклам. Шарпантье молчал и смотрел перед собой отчаянными глазами.

— Я тебя предупреждаю, что если ты мне не ответишь, для тебя все кончено — сказал Фред.

Шарпантье тяжело дышал, но не произносил ни слова.

— Ну — сказал Фред.

Дуло револьвера опять уперлось в бок Шарпантье.

Тогда он рассказал невыразительным и прерывающимся голосом, как все произошло. Когда он кончил говорить, Фред сказал:

— Забудь теперь дорогу туда. Этим займусь я. Твое дело кончено. Если ты еще когда нибудь там появишься... Теперь выходи.

Дорога была пустынна. На ровной ее поверхности вскакивали и лопались пузыри дождя. Шарпантье вышел из машины и пошел слепо и прямо перед собой. Он боялся обернуться, ему казалось, что Фред стоит в двух шагах от него с револьвером в руке.

Дуду, беззвучно смеясь, разогнал машину и поравнявшись с Шарпантье, нажал на клаксон. Шарпантье в ужасе метнулся в сторону, нога его зацепилась за проволоку, проходившую невысоко над землей и в конце своего стремительного падения он ударился со всего размаха головой об каменную придорожную тумбу. Потом он дернулся еще раз и остался неподвижен.

— Ты сбил его с ног, дурак! — закричал Фред.

— Я до него не дотронулся — испуганно сказал Дуду. — Честное слово... Я хотел его немного напугать... А править я умею... ты мне поверь...

Они вернулись в Париж. На одной из улиц, пересекавших Avenue d'Italie они оставили автомобиль, поехали в метро на Rue St. Denis и пошли обедать в маленький ресторан, где обедали обычно.

Сенатор Симон вернулся из Виши в конце августа. Как всегда, он чувствовал себя теперь значительно лучше, чем до отъезда. Но того, на что он надеялся, всё-таки не произошло. Он думал, что те мысли, которые его занимали, последнее время, объяснялись в первую очередь причинами физиологического порядка и что, как только он почувствует себя лучше, они сами собой изчезнут. Но этого не случилось. Хотя врачи единодушно говорили ему, что состояние его здоровья не оставляет желать лучшего, и единственное, чего ему следует остерегаться, это переутомления сердца, хотя, с другой стороны некоторые внешние обстоятельства, доставлявшие ему до сих пор много огорчений, перестали существовать, — Валентина, вопреки обыкновению, вела себя прилично и ее пребывание в Англии обошлось без единого скандала, Шарпантье умер и одновременно с его смертью отпала эта постоянная угроза шантажа, — несмотря на все это сенатор

Симон упорно возвращался к тем соображениям, которые впервые пришли ему в голову незадолго до его сердечного припадка. В Виши он об этом почти не думал. Но вернувшись в Париж, он снова каждое утро, чувствовал с постоянной тревогой свою физическую незначительность и хрупкость. Он впервые за много лет, выходя из ванны, стал рассматривать свое тело потому что накануне ему попался иллюстрированный журнал, на обложке которого был изображен «самый красивый атлет мира», голый мужчина с выпуклыми мускулами. Он вспомнил о нем, когда стоял в купальном халате перед зеркалом. Он распахнул его полы, увидел свое собственное тело и сам поразился его физической несостоятельности. Он подумал, что это непоправимо — и пошел пить кофе. Его мысль все время цеплялась за это слово — непоправимо, — это была отправная точка его рассуждений, и это беспощадное слово было приложимо не только к виду его тела, но и ко всему остальному. Все было непоправимо, потому что обратного движения быть не могло, совершенно так же, как не могло быть чудес. Жизнь была на девять десятых прожита и нельзя было изменить ни того, что она прожита, ни того как она была прожита. Думая об этом, он был вынужден констатировать одну несомненную ошибку, допущенную в самом начале. Она заключалась в убеждении, что достигнув определенных результатов, которые он поставил себе целью, он будет испытывать глубокое удовлетворение. Только теперь он понимал, как ему казалось, что перспектива этого удовлетворения, заставлявшая его совершать некоторые поступки, которых можно было не совершать, была совершенно произвольным предположением и ничему реальному не соответствовала. Что, собственно говоря, давало ему возможность полагать, что это будет именно так и как можно было в этом быть уверенным?

Он сидел перед остывшим кофе, с небритым, желтым лицом и потухшими глазами. Часовая стрелка на огромных стенных часах подходила к половине одиннадцатого, ему давно нужно было быть одетым и ехать по делам. Но не хотелось

двигаться. Что он знал за свою жизнь, кроме этого периодического напряжения каждый раз, когда возникал вопрос о более или менее значительной сумме денег, которую ему предстоит получить благодаря той или иной комбинации? Какие то люди стрелялись из за неудачной любви, гибли в арктических или тропических экспедициях, перелетали океан, пересекали пустыни, открывали новые законы мира, создавали сложные познавательные теории и вероятно у каждого из них было сознание что в конце того или иного испытания или в результате длительного труда его ждет награда нравственного удовлетворения. Были другие, огромное большинство людей, которые не совершали в своей жизни ничего героического но которые бывали то счастливы, то несчастны и последовательность радостей и огорчений не давала им времени подумать ни о чем ином. Когда они были счастливы, они радовались, когда они были несчастны, они огорчались и жизнь их была полна... И все это прошло мимо него. Может быть, это было неважно. Но то, ради чего он жил и работал, имело вероятно еще меньшую ценность, чем то, ради чего жили все эти разные категории людей.

Он встал наконец со своего кресла и пошел бриться. Когда он поднялся, он опять ощутил тупую боль в сердце, ту самую, которая у него бывала до отъезда в Виши. Он остановился и оперся рукой о стол. В этом мучительном и чисто физическом, казалось бы, ощущении непонятным образом было заключено все остальное, все, о чем он так упорно думал последнее время и в чем было сознание непоправимости, не менее несомненное, чем это мускульное сжатие — или расширение — в левой стороне груди.

После возвращения из Виши он стал проводить так почти каждое утро. Необыкновенное количество давно забытых вещей вдруг всплыло в его памяти; но не было ни одного, которое было бы ему приятно. Он вспоминал людей, обращавшихся к нему с просьбами. Каждый раз у них была единственная надежда, только он мог их спасти... его влияние... его авторитет... Он не отказывал лишь тогда, когда знал, что может потом извлечь из этого выгоду. Были совершенно су-

масшедшие люди — вроде одного редактора провинциальной газеты, рекомендованного ему его избирательным агентом, и который был настолько простодушен, что обратился к нему с просьбой о довольно значительной ссуде. Он тоже говорил, что это его последняя надежда, но в данном случае те же самые слова имели иное значение: получив отказ, он вернулся в провинцию и на следующий день сенатор Симон узнал об его самоубийстве. Он тогда сказал, что в каждой человеческой жизни неизбежны ошибки. Он теперь понимал, что это не было, собственно говоря, мыслью в точном значении этого слова. Сказать, что ошибки неизбежны в человеческой жизни или сказать, как он это делал в своих речах, что правильно понятые национальные интересы требуют от нас сознательного отношения к тем проблемам, которые возникают, — это была не мысль, а проявление нежелания или неспособности мыслить. Однако так или почти так он говорил всегда. Но если бы сейчас предложили кому нибудь из тех людей, его анонимных избирателей, доверие которых по отношению к нему могло, конечно, объясняться только их наивностью, — поменяться с ним своей судьбой, тот вероятно не согласился бы. Может быть его, сенатора Симона, не нужно было жалеть. Но завидовать ему тоже не стоило.

Мыльный вкус во рту, который его так раздражал, теперь исчез и сменился другим металлическим привкусом; и как раньше, все, что он ел или пил, пахло мылом, так теперь это отзывалось не то жестью, не то оловом. Но в этом новом ощущении был какой то трагический оттенок, которого не было раньше. И это тоже объяснялось недостаточным действием печени. Но ему было не с кем говорить о своих недомоганиях. Когда он как то сказал об этом Валентине, — она на-днях вернулась из Англии, — она посмотрела на него немного удивленными глазами и ответила, что это вероятно возраст. Он с раздражением бросил на нее быстрый взгляд: ей было двадцать два года, она была идеальна здорова — и что она могла понять в чьих бы то ни было недомоганиях?

Находясь в Англии, она прочла газетную заметку о смерти

Шарпантье. Она тотчас же подумала, что теперь у Симона будет одним удобным предлогом меньше для отказа в деньгах, которые ей могли понадобиться. Когда она сказала ему об этом, он возмутился.

— Это кажется единственное, что тебя интересует — сказал он. — Ты не думаешь, что за то, чтобы у тебя было больше денег, этот человек заплатил своей жизнью?

Она пожала плечами.

— Он был шантажист — сказала она, — это опасная профессия. На что другое он мог рассчитывать в конечном итоге?

— У него была жена и дети.

— Это ничего не меняет и не делает его добродетельнее чем он был.

— У него был здравый взгляд на вещи — задумчиво сказал Симон: он вспомнил свои короткие разговоры с Шарпантье о падении авторитета власти, о необходимости другого воспитания молодежи, более строгого, о том, что политика должна была бы руководствоваться в первую очередь принципами христианской морали.

Она ничего не ответила и ушла.

Проходили дни, не принося никакого улучшения. Даже коллеги Симона по сенату, у каждого из которых было достаточно забот о своем собственном здоровье и у которых поэтому не оставалось времени думать о других, даже они заметили, что Симон начал сдавать. Он стал неестественно рассеянным, явно не интересовался окружающим и немного оживлялся только тогда, когда разговор заходил о его самочувствии. Теперь он просиживал целыми часами дома в кресле, совершенно один, сумрачно глядя в противоположную стену и думая, что никакое понимание чего бы то ни было теперь не имеет для него практического значения: слишком поздно и ничего изменить нельзя.

Он сидел так однажды вечером, в пустой квартире, Валентины не было дома, как всегда, Маргарита давно ушла, кончив свою работу. Было около одиннадцати часов вечера.

Он вдруг услышал шум чьих то шагов. Он обернулся и остался неподвижен.

В двух шагах от него стоял незнакомый, очень молодой человек с худым лицом и неподвижными глазами. В правой руке он держал револьвер.

— Господин сенатор — сказал он голосом, который, как показалось Симону, звучал неестественно, — я хочу вам сказать только несколько слов.

Он посмотрел на Симона и положил револьвер в карман.

— Вы знаете, что Шарпантье умер. Перед смертью однако, он поручил мне обратиться к вам и передать, что теперь его место занимаю я.

Но Симон едва слышал его. Железный вкус во рту вдруг необыкновенно усилился, сердце заболело так, что он едва не потерял сознание и ему было совершенно очевидно сейчас, что все остальное не имеет никакого значения. Но в глазах его не отразилось ничего, они были так же мутны, невыразительны и спокойны.

— Я должен вам сказать... — продолжал Фред.

Перед Симоном внезапно возникло очень далекое и тусклое, бело-красное пламя. Он понял, что это была смерть. Он сказал:

— Значит это так!

Это были единственные слова, которые он мог произнести. Затем его тело соскользнуло с кресла и через секунду он лежал на полу, открыв рот, губы которого стали лиловыми. Фред стоял над его трупом, засунув руки в карманы и глядя на него расширенными глазами. Потом он посмотрел по сторонам и вышел из комнаты на ципочках. Он ушел тем же путем, что проник в квартиру: дверь кухни, выходившая на черный ход, не была заперта на ключ, потому что Маргарита постоянно забывала это делать — и он это знал.

Его никто не видел и никто не остановил. Он вышел на улицу и шел, глубоко задумавшись мимо фонарей и деревьев, ничего не видя перед собой, пока не наткнулся на ка-

кого то высокого мужчину, который закричал свирепым голосом:

— Не можете быть внимательнее? болван!

Фред, не понимая, взглянул в его лицо.

— Нечего теперь на меня смотреть, надо было смотреть раньше! — так же свирепо сказал мужчина. — Я вас научу вежливости!

Фред вынул из кармана револьвер и направил его на этого человека. В его глазах стояло то же далекое и задумчивое выражение.

— Это так близко, смерть? — сказал он с вопросительной интонацией.

Он опять увидел перед собой худое старческое тело Симона на полу и его лиловые губы. — Это так легко?

— Умоляю вас... — сказал человек изменившимся голосом.

Фред сунул револьвер в карман и пошел дальше. Была мягкая сентябрьская ночь, дул легкий южный ветер, направо от бульвара темнел Булонский лес, по которому время от времени пробегали широкие световые полосы автомобильных фар, освещавшие деревья, траву и листья.

Роберт вернулся в Париж вместе с Жаниной двадцать восьмого сентября. Они приехали бы раньше, если бы по дороге Роберт не свернул в сторону и не сделал бы значительного круга; ему непременно хотелось увидеть деревню, где прошло детство Жанины. Они пробыли там целый день. Это был поселок, состоявший из маленьких, чаще всего одноэтажных домов с толстыми деревянными ставнями на окнах, с почерневшей черепицей крыш. Они побывали везде — на кладбище, в церкви, где уже не было прежнего аббата, переведенного в другое место, в поле и в небольшом лесу, который находился недалеко оттуда. Был серый и прохладный день, над землей стоял легкий туман. — Вот дом, в котором я жила — сказала Жанина, — за домом двор, во дворе колодец, который скрипит, когда начинается ветер. Она смо-

трела на это небольшое здание, на эту узкую улицу и думала, какое оно бедное и маленькое и как бесконечно далеко то время, когда она девочкой жила здесь. — Вот отсюда мы выходили с дедушкой — сказала она, посмотрев Роберту в лицо; в ее глазах было выражение далекой нежности. — Хочешь, я поведу тебя той дорогой, которой мы с ним ходили столько раз? Да, да, конечно — сказал он. Они свернули на немощеную сельскую улицу и через несколько минут вышли из деревни. Навстречу им попался обтрепанный старик горбун, который взглянул на них, пробормотал что то невнятное и пошел дальше, оборачиваясь время от времени. — Это Жюль — сказала Жанина — он самый бедный в деревне. Он всегда был такой, каким ты его видишь, — грязный, оборванный и несчастный. Бабушка мне говорила, что он в молодости хотел жениться на одной из наших девушек, но она отказала ему и с тех пор он такой печальный. Но может быть это просто деревенские россказни.

Они долго шли по неровному полю с вытоптанной травой и редким кустарником, через прохладную осеннюю печаль этого плоского пейзажа. Наконец они дошли до невысокого бугорка; в нескольких шагах от него лежали холодные и влажные рельсы. — Вот тут мы с ним садились и ждали экспресса — сказала Жанина, не улыбаясь, — и он вынимал свои огромные часы, чтобы посмотреть через сколько времени покажется поезд. А там, ты видишь, она показала рукой — крутой поворот, тот самый, на котором всегда скрежетали колеса.

Она стояла рядом с ним, положив ему руку на плечо. Он повернул голову в ее сторону и увидел, что ее лицо было мокро от слез.

— Не надо плакать — сказал он.

Она кивнула головой.

— Все они ушли — сказала она, — мама, дедушка, бабушка. Они были простые и бедные люди. И я думаю, что они, были бы счастливы, если бы видели меня сейчас здесь, с тобой. Это было бы четыре раза счастье — наивно сказала

она. — Но ты видишь, судьба не хотела быть такой великодушной, из четырех раз она оставила только один. И только потому, что это была слепая случайность. Что было бы теперь со мной, если бы ты проходил по rue St Denis на десять минут позже?

— Это было невозможно — сказал он, улыбаясь. — Я не мог опоздать.

— Ты меня не бросишь, Роберт? Я теперь не могла бы жить без тебя.

Он был взволнован и тронут не столько тем, что она сказала, сколько интонацией ее голоса. И чтобы скрыть это волнение, он ответил совсем не то, что хотел:

— Тот факт, что ты не могла бы без меня жить, не имеет особенного значения, потому что в этом не представляется никакой необходимости.

И он обнял ее с такой силой, что у нее занялось дыхание и она сказала:

— Я согласна на все, только не надо со мной так жестоко обращаться.

Они приехали в Париж вечером, приняли ванну, переоделись и пошли в ресторан обедать. Когда они вернулись, Жанина сказала:

— Ты знаешь, я себя не очень хорошо чувствую.

Он посмотрел на нее с удивлением и беспокойством.

— Что с тобой?

— Не знаю, какая то внутренная боль.

— Хочешь, я вызову доктора?

— Нет, нет, это пройдет. Мне уже немного лучше.

Но утром, когда Роберт открыл глаза, он увидел ее страдальчески сморщенное и усталое лицо. Она призналась ему, что почти не спала, но не хотела его будить. Он поднялся с кровати и не одеваясь, в пижаме, позвонил доктору, который обещал приехать через полчаса. Роберт его знал, — это был спокойный пожилой человек с очень живыми глазами и седой головой. Он осмотрел Жанину и сказал:

— Это припадок апендицита, ее надо немедленно опе-

рировать. Если вы этого не сделаете, через несколько часов может начаться перетонит. Вот вам адрес клиники. Где ваш телефон? Я предупрежу хирурга, это мой друг.

Когда Роберт привез Жанину в клинику, доктор в белом халате, сверкающем от крахмала, сказал профессионально небрежным голосом:

— Совершенные пустяки... Если бы все операции были такими.

Роберт стоял и смотрел на его руки с необычайно чистыми, толстыми и длинными пальцами. Как только он увидел эти руки он почувствовал к этому человеку неограниченное доверие. У него было впечатление, что все движения доктора должны были отличаться необыкновенной точностью и наверное, эти удивительные пальцы занимали именно то место, которое было нужно и не смещались ни на милиметр.

— Операция будет часов в двенадцать — сказал доктор. — Вы можете придти немного позже. Через несколько дней она вернется домой.

Операция прошла благополучно и когда Роберт вернулся в клинику, Жанина сказала ему, что чувствует себя прекрасно. Она лежала на узкой кровати, простыни которой отличались, как показалось Роберту, той же особенной белизной, что и халат доктора. Он просидел у нее два часа, потом поехал повидать свою мать, которой он не застал дома. Тогда он поехал на фабрику, к отцу, вместе с ним вернулся в квартиру родителей, где наконец увидел Соланж, поужинал там и приехал домой только поздним вечером. За это время он два раза звонил в клинику. Ему неизменно и лаконически отвечали, что Жанина чувствует себя прекрасно.

Он подъезжал к дому с каким то неприятным чувством, которого никак не мог понять. Жанина вероятно в это время спала в своей комнате и ее состояние теперь не внушало ни малейших опасений, у его родителей все обстояло благополучно. Чем могло быть вызвано тягостное ощущение, которое он испытывал? Он напряженно думал об этом и не находил никакого объяснения.

Но когда он проезжал мимо углового дома, он вдруг заметил в неверном свете фонаря и втечение одной короткой части секунды, знакомую линию узких плеч и надетую набок шляпу — и вспомнил о существовании Фреда, который очевидно ждал его возвращения.

Он совсем забыл о нем там, в Провансе. Ему казалось, что за это время он узнал столько вещей, что все предшествовавшее этому периоду его жизни отодвинулось очень далеко, даже самые недавние события. Но мир, в котором проходило его существование, стоял — или двигался — сам по себе: Роберт мог быть счастлив или несчастен, беден или богат, здоров или болен, rue St Denis при всех условиях оставалась такой, какой была раньше и этого не следовало забывать. И появление перед его глазами этой шляпы и этой линии плеч сразу вернуло его к той действительности, где не было места бесконечным воспоминаниям о Жанине и тщетным попыткам теоретически определить, что такое счастье, — но где была непосредственная угроза всему этому, угроза, которой можно было противопоставить только силу.

Он поставил автомобиль в гараж и поднялся к себе. Он мог, конечно, позвонить по телефону в полицию, но он знал, что он этого не сделает. Он подумал при этом, насколько сильны в нем какие то вздорные этические предразсудки: он предпочел бы любой риск тому, чтобы его считали трусом. Он прекрасно понимал теоретически, что это бесплодное и ненужное тщеславие. Но он знал в то же время, что этот опасный вздор всегда и во всех обстоятельствах окажется сильнее любого рассуждения, даже самого непогрешимого.

Он обдумывал теперь план действия. У него было преимущество, которого не было в первый раз: он был готов к тому, что Фред может явиться с минуты на минуту. Если он один, то его опять ждет фиаско — при сколько нибудь удачном для Роберта обороте, который примут события. Но если их хотя бы двое... Он не сомневался, что на этот раз Фред будет себя вести иначе, чем во время первого визита. Он вспомнил его глаза и почувствовал холод в спине. Потом он

внимательно осмотрел все — и понял, что исход его неизбежной встречи с Фредом будет зависеть главным образом от одной технической подробности: электрический выключатель, дававший свет в переднюю, находился не с внутренней, а с внешней стороны двери. Если Фред войдет в освещенную комнату, шансы Роберта будут скомпрометированы. Если он войдет в темную комнату, преимущество окажется на стороне Роберта.

Он потушил свет в передней, зажег лампу в следующей комнате и плотно затворил туда дверь. Из темной передней была видна только световая щель непосредственно между полом и дверью второй комнаты и получалось впечатление, что Роберт находился именно там. Он не запер входную дверь на ключ, придвинул кресло к стене направо от порога, сел и начал ждать. В доме стояла тишина и он явственно слышал свое собственное дыхание. По мере того, как проходило время и это длительное ожидание все больше и больше раздражало его, он начал чувствовать почти что ненависть к этому примитивному и свирепому человеку, — каким представлялся ему Фред, — который не учитывал самых простых вещей и с тупой настойчивостью стремился вернуть Жанину, не понимая, что теперь это было слишком поздно. Он думал о нем с презрением и гневом, морща в темноте лицо так, как если бы до него дошло какое то удушливое зловоние.

Потом внимание его стало притупляться, и он начал думать о другом. Он увидел перед собой неправильный треугольник маленького морского заливчика, прибрежный песок, верхушки сосен над головой и загорелое тело Жанины в купальном костюме, ее влажные волосы и прозрачные капельки воды на ее коже. Затем он вспомнил, как идя рядом с ней, в мягкой тьме летней ночи и чувствуя ее руку на своем плече, он силился представить себе, что они расстались, он вернулся домой один и подумал, что она больше никогда не придет и он никогда не увидит ее глаз. И эта детская игра воображения доставляла ему особенно пронзительное ощущение счастья, потому что он чувствовал прикосновение ее

тела к своему правому боку и когда он опускал глаза вниз, он видел ее ноги в белых туфлях, которые отделялись от дороги одновременно с его сандалиями.

На лестнице раздались шаги поднимающегося человека. У Роберта захватило дыхание. Он встал со своего кресла и замер. Еще через секунду он услышал шорох ключа в замке. Потом последовал тихий скрежет и дверь отворилась. Темная человеческая фигура остановилась на пороге, слабо освещенная далеким уличным фонарем. Эти знакомые ему очертания — шляпа и плечи — оставались неподвижными короткое время и потом беззвучно двинулись по направлению к двери, из под которой был виден свет. И тогда Роберт оттолкнулся руками от стены и бросил всю тяжесть своего тела вперед.

Фред не успел понять, что происходит. Ему показалось, что на него, как в мучительном сне обрушилась стена. Он упал лицом вниз и его правая рука, державшая револьвер, оказалась придавленной его собственным телом и он не мог ее освободить. Левая была вытянута вдоль туловища, ее кисть была захвачена пальцами Роберта и прижата к спине. Потом он ощутил нестерпимую боль в плече и услышал короткий хруст, значения которого он не понял. На секунду он потерял сознание и когда он пришел в себя, револьвера в его правой руке уже не было, она была так же неумолимо загнута на его спине, как перед этим левая и опять, словно в кошмаре, повторилась та же невыносимая боль и снова раздался такой же короткий и страшный хруст. Потом ощущение каменной тяжести на его теле исчезло, но он не мог пошевельнуться. Когда он попытался сделать первое движение, он застонал. Затем над его головой зажегся свет и он увидел свой револьвер, который лежал на полу, в двух шагах от него. Но было совершенно очевидно, что он был бесполезен.

Роберт поднял его — Фред опять застонал — и посадил в кресло. Потом он покачал головой и сказал коротко:

— Ну вот.

— Подожди, придет моя очередь — неуверенно сказал Фред. Он с удивлением заметил, что он, в сущности, даже не

испытывает никакой ненависти к Роберту. Он не чувствовал вместе с тем страха ни перед Робертом, ни перед чем бы то ни было, что ему могло предстоять: он находился в состоянии спокойного безразличия, которого до сих пор никогда не знал. Было похоже на то, что он следит со стороны за всем, что происходит и его собственная судьба его интересует только так, как она интересовала бы какого то постороннего и далекого человека.

Роберт отрицательно покачал головой. Затем он сказал голосом, в котором Фред услышал сожаление и насмешку:

— Вот твой револьвер. Чего ты ждешь, чтобы им воспользоваться?

Фред, не отвечая смотрел перед собой мутными глазами. И как это неоднократно бывало с ним в последнее время, перед ним на секунду возникло желтое и худое лицо Лазариса. Потом оно расплылось и исчезло. Он собрал свои силы и произнес:

— Мне так больно, что мне трудно говорить. Что ты сейчас со мной сделаешь?

Роберт пожал плечами.

— А ты на что, собственно расчитывал?

— Я расчитывал с этим покончить — сказал Фред.

— Я полагаю, что это тебе удалось. Сейчас я позвоню в полицию, — как в первый раз, когда ты пришел. Я не могу поступить иначе. Но я тебя предупреждаю, что если ты еще раз что нибудь попробуешь, ты живым не уйдешь. Сегодня я тебя пожалел.

Фред бледно улыбнулся, несмотря на страшную боль.

— Я никогда ничего не боюсь.

— Это неважно — ответил Роберт рассеянно. — Сегодня вероятно ты тоже не боялся.

— Что ты со мной сделал? — спросил Фред и Роберту показалось, что в его голове прозвучало нечто вроде упрека. — Я не могу пошевелить ни правой, ни левой рукой. Я останусь калекой?

Роберт подумал, что если бы события шли иначе, — дру-

гими словами, если бы свет в передней зажигался только изнутри, то вероятно ничего похожего на этот разговор не могло бы быть. Он сказал:

— Нет, ты не останешься калекой. У тебя вывихнуты плечи.

— С тобой опасно иметь дело — сказал Фред. — Я понимаю: ты не способен нападать, но ты еще можешь защищаться.

— Да, да — сказал Роберт, думая о другом. Он вышел из комнаты, прошел в свой кабинет и вызвал по телефону полицейский комиссариат. Недоверчивый голос инспектора спросил:

— Как? Опять он?

— Да.

— Это называется последовательный человек — сказал инспектор. — Через несколько минут мы избавим вас от его присутствия. И вам опять удалось стать хозяином положения? Невероятно, невероятно. Но очевидность, конечно, сильнее всего.

Когда Роберт вернулся в переднюю, он увидел, что Фред сидел на полу, в неловком положении, вытянув перед собой ноги и положив на них локти. Рядом с ним лежал револьвер. Он посмотрел на Роберта, лицо его сморщилось и он сказал:

— Я даже не мог его взять.

Через несколько минут явились полицейские. Инспектор взглянул на Фреда и заметил:

— На этот раз он в другом виде.

— Да, но не в лучшем, чем тогда — сказал Роберт. — У него вывихнуты оба плеча.

Полицейские переглянулись между собой. Потом один из них подобрал револьвер и Фреда увели. Когда захлопнулась входная дверь, Роберт сел в кресло, закрыл глаза и опять вспомнил с удивительной отчетливостью, как они шли с Жаниной сквозь эту летнюю ночь, на юге, и как ее рука лежала на его плече.

(Окончание следует)

Гайто Газданов

РАССКАЗЫ

В поезде

В купэ первого класса узкоколейной железной дороги едет к своей подруге в деревню, уже десять лет не видавшаяся с нею, пани Ядвига Млодецка. Всякому, кто не привык к ее лицу, обязательно хочется спросить — Ядзя, что случилось? — потому что ее круглые, цвета веснушек, брови всегда высоко подняты над синими испуганными глазами, щеки горят, и вся она находится в каком-то смятении и буре чувств. На ней дорожное пальто цвета нефти на воде — шляпа с вуалькой; на маленьких ногах, с сильно развитыми короткими икрами, желтые туфельки и прозрачные, словно шкурка луковицы, чулки.

Рядом ее восьмилетний сын Владек. На нем матросская шапочка с золотой надписью названия единственного польского крейсера, из под которой выбиваются золотые кудри. У него большие, тоже слегка удивленные глаза, он бел, румян и полон движения.

Поезд часто останавливается на окруженных песками и соснами станциях. В вагонах становится нестерпимо жарко.

Владек ерзает, высовывается в окно, рассматривает станционный домик и пустой, залитый зноем, перон.

Ни голосов, ни шагов; слышно только, как, чадя дымом, пыхтит паровоз.

— Пясечно — читает он по складам коричневые буквы на ослепительно блестящей стене.

— Мама, а куда мы едем, как называется?

— Жабья Воля.

— Там жабы?

— Нет никаких жаб, просто такое слово.

— А тетя Тео какая?

— Як бабце кохам, отстань пожалуйста, — отвечает она с раздражением.

Дверь купэ раскрывается и носильщик, не обращая на пани Млодецку внимания, закидывает легкий чемоданчик за сетку.

За ним показывается, гремя длинной серебряной саблей, офицер.

Раздается третий звонок, носильщик, получив на чай, убегает, поезд дергает и медленно трогается. Пошатнувшись от толчка, офицер садится, снимает конфедератку с розовым околышем и белым польским орлом и вытирает платком лоб.

Голова у него почти лысая, орлиный большой нос, серые глаза, седые густые брови, белые усы вниз и между ними выбритый раздвоенный подбородок. На серой тужурке у него множество пуговиц, на розовых галифе серебряные двойные лампасы, на хороших блестящих сапогах серебряные шпоры... Саблю свою он держит между ног, опираясь на ее эфес двумя сложенными руками...

С прощальной улыбкой уходит вместе со своей надписью станционный домик, тянется и кончается пакгауз, одна за другой, исчезают под колесами рельсы. Только встречный путь тянется и по нему бежит, не отставая от поезда, солнечный лоск.

Владек смотрит на офицера, не отрывая глаз от его серебряной сабли.

Пани Млодецка, гоня ветер на свои горящие щеки, обмахивается журналом.

Она немного удивлена формой офицера и почему-то чувствует к нему большую симпатию. Почти к самому окну подходят розовые стволы сосен. Темно-зеленые ветки их отбрасывают черные тени на покрытый рыжим слоем иголок песок и черным кружевом бегут по белому паровозному дыму. Всё быстрее и быстрее вертятся и мелькают стволы и, выбивая ритм для их вращательного танца, будто выговаривая — трепака, трепака, трепака, — все чаще стучат колеса на стыках рельс.

В купэ веет запахом нагретой солнцем хвои и оттуда, из темной лесной глубины, где растет черника и пахнет грибами, поезду вторит влажное эхо.

— Ну что — прерывает офицер, почему-то ставшее неловким молчание — как дела, молодой человек?

Владек опускает голову и, немного извиваясь животиком, отвечает:

— Хорошо. Мы с мамой едем в гости к тете.

Через сына знакомится с соседом и мать.

— Лещь — представляется офицер.

— Млодецка — отвечает она, и он целует ей ручку.

Лес обрывается. Опустив ветки в зеркало болотной воды, мелькают белые стволы берез. Солнце снопом лучей зажигает на мгновение болотную воду и медная ручка в вагоне начинает ярко блестеть. За ныряющими телеграфными проводами поворачивается поле с бабами в пестрых платках. Они нагибаются через каждый шаг, бросая в борозду картофель.

Шагает пахарь. Зеркально поблескивая черными крыльями над его лошадьми и за плугом, вьются грачи. Некоторые садятся в свежую, еще не успевшую высохнуть на солнце, борозду и опять взлетают.

Офицер рассказывает как он был в России, в Сибири, как служил у Колчака, возил какое-то золото в мешках, потом, как отбил большевиков от Варшавы.

— Чудо на Висле, да это было истинное чудо... Я даже до сих пор не знаю, как это случилось.

Глаза пани Млодецкой светятся нежнее и нежнее, удивленные навсегда миром, в котором она родилась, брови поднимаются до крайней высоты. Ей безумно нравится пожилой офицер.

— Зачем они кланяются? — спрашивает внезапно Владек.

— Кто, где кланяется?

— Вон те бабы.

Она смотрит в окно, но уже поздно: зеленый холм убрал баб и пахаря, только черные птицы видны за одинокой, будто крест, растущей елочкой.

Стреноженный конь прыгает по зеленому лугу, над которым виснут клочья белого пара.

Ярмарка

Солнце с утренней нежностью пригревает усыпанную сеном и соломой, заставленную телегами и мешками, лошадьми, коровами, овощами, полную приезжего народа и местных купцов, ярмарочную площадь.

Пахнет конским потом, дегтем, парным молоком, а из парикмахерской, где стригутся приезжие, даже одеколоном.

Будто зонтик в черном шелковом чехле, у которого всё есть: ноги, руки и, вместо ручки — нос, на старой повозке с рассохшимися колесами, с поднятым в небо дышлом, стоит купец и, размахивая какими-то пестрыми тряпками, кричит:

— А кто, кто не купит сегодня у Якуба? Только глупый не купит у Якуба!

Товар его: яркие платочки, кофты, куртки, всё лежит на телеге.

И чем выше поднимается над крышами местечка солнце, чем горячее делается вымощенная булыжником площадь, тем сильнее звучит голос Якуба и тем чаще вспыхивают по всей ярмарке схватки между покупателями и продавцами.

Торговля ходит волнами, то она разгорается у возов жита, то в конском ряду, то среди скота.

Подстриженный в парикмахерской, пахнущий помадой хлопец подходит к Якубу и говорит:

— Есть у пана купца праздничные куртки?

— Есть самые праздничные — отвечает Якуб, хватая первую попавшуюся куртку, потому что все они у него одного размера, покроя и цвета.

Он быстро соскакивает с повозки и переодевает хлопца в свою желтую в клеточку куртку, пятится на цыпочках и, сощурив глаза, любуется.

— Аккурат, аккурат, будто на заказ пошито для пана. — И, подбежав к нему, таинственно шепчет на ухо: — Пусть пан посмотрит назад, где на возу с мешками жита сидит господарская дочка, пусть посмотрит, как она уже любуется на пана. И какая красавица!

Но хлопец застенчив: вместо того, чтобы посмотреть назад, он вытягивает руки и рукава съезжают до локтей.

— Что, короткие? — удивляется Якуб — разве пан не знает, что рукава сначала всегда короткие, зато потом будут аккурат, а если сначала аккурат, потом вытянутся и будут по земле волочиться за паном.

— И куртка, — говорит парень, — широкая.

— Не беда если свободная, свободная лучше, потому что она после первого дождя так сбежится, что потом пан даже и надеть ее не сможет, а зато цвет какой... — прищелкивая языком, говорит Якуб — вся Варшава ходит в таком желтом в клеточку.

— Пан купец правду говорит: в Варшаве ходят, — вмешивается баба в желтом платке, которой хочется показаться знатоком варшавских мод.

Но другая, бойкая, молодая, с тонкими злыми губами, перебивает ее.

— В таких убраньях? В Варшаве? Неправда — товар как сито светится и фасон плохой.

— Всякий товар на солнце светится — вот пусть пани варшавянка скажет, — возражает Якуб, делая реверансы в сторону бабы в желтом платке.

— Товар твердый, — говорит она в раздумьи, подходя и щупая куртку.

— Ну вот, видит пан! Я ж говорил, что товар крепкий, пусть пан верит старому Якубу. Старый Якуб очень умный для своих лет, старый Якуб не будет обманывать пана, потому что пан тогда больше не будет покупать у Якуба.

Но, продолжая осмотр, женщина ковыряет ногтем воротник и обнаруживает дырку.

— Что, что дирка! Какая дирка? Где пани видит дирку?! Если пани не знает, что это такое, Якуб скажет, что это такое, — и, покачивая головой и посмеиваясь над невежеством бабы в желтом платке, он говорит:

— Это не дирка совсем, а дирочка от пломбы.

После полудня ярмарочная площадь быстро пустеет. Одни воробьи густыми стаями перелетают с места на место. А за местечком все дороги полны возвращающимися по домам селянами.

Среди других возов едет и Якуб. Он высоко сидит на покрытом дырявым брезентом товаре. Колеса вязнут в песке, запряженная в длинное дышло, кобыла его, сгорбив острую спину, едва передвигает ноги.

Между придорожными вербами и посевами, за его возом идет несколько девушек в праздничных уборах. Они сняли с непривычных к обуви ног ботинки и несут их в узелках или на палках за плечами.

Внизу, под песчаным обрывом, блестит в солнечном зное разделенная темно-зеленым островом, широкая Висла.

На другом отлогом берегу виднеются луга, поля, леса; и видно так далеко, что, голубея в дымке простора, земля почти сливается с небом.

Белые облака торжественно плывут по ярко синему небу и в брошенной облаком тени исчезают на песчаной дороге четкие тени верб, перестает зеркально блестеть мокрая от пота кобыла, гаснут яркие уборы девушек и Якуб со своим возом на минуту погружается в прохладные сумерки.

— Нех бэндзе похвалены (подразумевается имя Господне), — кланяясь страннику с котомкой за плечами и с сучковатой палкой в руке, говорят по очереди паненки.

И когда снова начинает зеркально блестеть мокрая кобыла и яркими пятнами выступают на серебре овсяного поля их уборы, странник, тоже кланяясь, отвечает:

— На ве́ки ве́ков.

Солнце припекает дорогу, тень облака бежит по холмам, молодым елкам, по колосьям дальнего поля...

Анатолий Величковский

NON OMNIS MORIAR

Лежа в 1945 году на койке лагерного госпиталя в состоянии близком к помешательству, я мучительно собирал мысли. Алиментарная дистрофия выражается, между прочим, и в ослаблении памяти. Я чувствовал, что погружаюсь в забытье наяву, и прошлое кусками отпадает от меня. В том состоянии изнеможения, в котором я находился, я с каждым днем недосчитывался какого-нибудь воспоминания, знания, имени... Как зовут детей моей сестры?... Как назывался автор «Города Солнца»?... Я растерял свое духовное имущество, и с каждым днем обнаруживал: не хватает того, пропало другое... Тогда я начал повторять себе мысленно свою жизнь — по годам и месяцам, в хронологическом порядке и в разбивку, — я заучивал ее наизусть, чтобы не забыть. Но всё-таки оказывались дыры...

И повторяя строки, которые на воле всегда отчетливо помнил,

Exegi monument aere perennius...

я начал с упорством и напряжением добывать из памяти слово за словом, стих за стихом. Без конца я повторял, лежа навзничь, с закрытыми глазами, первые шесть стихов. Но на седьмом наступил провал:

Non omnis moriar. Multaque pars mei...
Vitabit... Libitin...

Здесь обрывалась нить, и я больше не помнил. Тогда, с ожесточением и яростью тонущего человека, которого *сносит течением,* я дал себе слово, я поклялся, что не умру — non moriar! — пока не открою Горация и не свяжу порванную нить. Это был мой обет. Два года позже, уже в Тель-Авиве, я разыскал экземпляр «Од», и руки у меня дрожали, когда я прочел:

«Non omnis moriar»—глава из готовящейся новой книги Ю. Марголина «Дорога на Запад». *РЕД.*

...usque ego postero
Crescam laude recens...

Что такое счастье?

Летом 43 года, когда мы работали в поле, в штрафном лагере Осиновка первая, подошел ко мне во время перерыва высокий сумрачный финн. Это был необыкновенно серьезный и молчаливый человек. Он ни с кем не сближался, и я ничего не знал о нем. Вдруг он сам ко мне обратился — в первый и последний раз — и оказалось, что это сектант и мистик.

— Я читаю Библию не так, как все! — сказал он мне. — Я умею вычитать из Библии судьбу каждого человека. И я знаю твою судьбу: ты будешь счастлив. И помни: твое счастье в далекой стране, где твой дом. Когда придет время — прямо иди туда, не оглядывайся, не задерживайся нигде. Ничем не соблазняйся, не отклоняйся, спеши домой, там будешь счастлив.

Что значит «счастлив» было в эту минуту совершенно понятно нам обоим: это было состояние обратное тому, в котором мы находились. Так страшно было то, что с нами сделали, что возвращение к нормальным условиям существования: свой дом и семья, отсутствие животного страха, сытость, и работа не по принуждению, а по собственному выбору и склонности — означало для нас несомненное счастье.

За долгие годы советской неволи я забыл вкус яблока. Яблок не было не только на севере России, но и в Алтайском Крае, куда меня сослали по освобождении из лагеря. Случайные проезжие из Алма-Аты, за тысячи километров, привозили по несколько яблок и продавали их, поштучно на базаре. Находились любители, которые покупали их, чтобы узнать — «что такое яблоко». Меня не привлекало такое воровское украденное от судьбы яблоко. Но постепенно яблоко — красное наливное или пахучий нежно зеленый ранет довоенных лет — превратилось для меня в символ свободы. Свободная страна — это именно и есть такая, где яблоки продаются на улицах, сколько хочешь.

Едва пришел поезд на станцию Брест, на польской гра-

нице, я немедленно направился на базар — за яблоками. Город Брест, с которым у меня связаны разнообразные воспоминания, лежал в развалинах. В его монументальной уцелевшей синагоге помещалось советское кино... Но я не искал в нем прошлого, я искал яблок... Это был знак, что приближаемся к свободе.

И, наконец, поздней ночью, мы, несколько пассажиров, которые никак не могли спать, открыли тяжелый засов товарного вагона. Поезд стоял в глубоком молчании ночи на мосту через Вислу, и справа мы не видели, а угадывали стены спящей Варшавы. Река струилась в лунном свете и холоде — еще один рубеж свободы — и вокруг заснувшего поезда не было ни души. Он замер на своей одинокой высоте, над пустынным и мрачным «дилювиальным» провалом... Ночной холод заставил нас закрыть дверь. Всю ночь кружил поезд, обходя город, и утром мы увидели, что Варшава — позади; поля и рощи лежали в блеске апрельского солнца. Занавес ночи поднялся над польской весной, и навстречу нам бежали маленькие станции с полузабытыми веселыми названиями, как музыка... Куда нас везли? Я решил при первой оказии оставить поезд. В полдень мы прибыли на станцию Скерневице, которую до войны проезжал я десятки раз. Против нашего сибирского эшелона стоял мирный, спокойный, чистенький пассажирский поезд «Скерневице-Лодзь». Он выглядел неправдоподобно, как будто не было войны, немецкого нашествия и советской каторги. «Десять минут остановки»... Я, не долго думая, схватил свой деревянный чемоданчик и пересел на площадку вагона третьего класса.

Вагон был переполнен, и люди обступили меня... «Репатриант из Сибири»... Советизация Польши еще только начиналась весной 1946 года. Люди, которые забросали меня вопросами, не выглядели по-советски, иначе говорили, иначе были одеты, улыбались, двигались... Как просыпаясь после долгого-долгого сна, я испытывал глубокое возбуждение, которое ни в чем не выражалось, но вдруг я переставал слышать, что мне говорили. Рогов-Колюшки-Анджеюв — два часа поезд

приближался к городу, где прошли 10 лет моей жизни, и откуда я бежал в 1939 году. Круг замыкался, прошлое возвращалось ко мне... И вот показались знакомые пригороды Лодзи, Видзев, Парк 3-го мая, и белое здание вокзала.

И, как будто не случилось ничего, и не было семи лет изгнания, — я сдал на хранение свой багаж и вышел, не торопясь, на площадь. Первое мое впечатление: ничего не изменилось. В Лодзи почти не было разрушений... Здесь, на улице Brzezna 6, я оставил в сентябре 39 года квартиру, библиотеку, рукописи, картины на стенах... Автоматически я повернул с вокзала привычной дорогой — «домой». Постепенно охватило меня чувство удивительной легкости, беспечности... Я не шел, а летел. Выходя на главную улицу, я раскрыл широко руки, как будто я хотел обнять дома, прохожих, солнце на мостовой...

— Эй! —

Я обернулся и увидел, как продавец газет, потешаясь надо мной, раскинул руки и передразнивал мой жест. — Рехнулся? — Я кивнул ему головой. Во всем моем теле разливалась весна и радость. — "Non omnis moriar, — multaque pars mei — vitabit Libitinam". Во-первых, не задерживаться (памятуя о финне), а во-вторых, найти продолжение, что там после «либитины»... Я шел по Петроковской, еще не зная, где буду ночевать, и как проведу свой первый «европейский» день.

Вдруг что-то толкнуло меня. На месте готической синагоги в центре города, — одного из самых монументальных зданий Лодзи — не было ничего. Это было так фантастично, что я попятился. Зеленая трава росла на пустыре, и две извозчичьи пролетки мирно дремали под апрельским солнцем. Синагога исчезла.

Я не то что удивился, я ждал этого, но пережил нечто подобное тому, что испытал бы парижанин, не найдя Notre Dame на своем месте...

Не было даже развалин. Не осталось ни малейшего следа. Теперь я шел дальше — с тревожным сознанием, что я двигаюсь в полупризрачном мире: для меня синагога стояла на пустом месте попрежнему... Я не мог перестать ее видеть.

Люди умирают. Это понятно. На их место приходят другие. Петроковская кишела народом, как до войны. Но когда внезапно исчезают здания, рассчитанные на века, оставляя гладкое ровное место, храмы, в тени которых должны были расти и сменяться поколения, то это противоестественно и жутко, как гоголевское лицо, с которого исчез нос.

Вечером того же дня я нашел себе место на улице Св. Якуба, на четвертом этаже дома для репатриантов. Тысячная толпа расположилась по всем этажам и залам бывшей фабрики. Это были евреи: не «репатрианты», а просто беглецы из сталинской России, люди на привале. На деревянных скамьях за некрашеными столами в большом помещении столовой до полуночи толпились люди — пестрота, сумятица, гомон, ноев ковчег после потопа... Я искал знакомые лица... Мне показалось — я вздрогнул — я заметил в толпе старого приятеля-друга из Лодзи. Я увидел его красное лицо, мясистые губы и характерный лоб. Я узнал его жесты, походку... и бросился за ним.

И однако, я очень хорошо знал, что этот человек был убит четыре года тому назад. Немцы убили его. Но в эту минуту я перестал этому верить. Я часто путаю черты лица людей, которых давно не видел. Люблинера я не видел 6 лет. Я применил свою обычную в этих случаях уловку: зашел вперед, чтобы попасться ему на глаза. Пусть признает меня первый.

Но он, как на зло, не смотрел на меня.

Тогда я решился и закричал с другого конца стола так, что все оглянулись:

— Люблинер! —

Со страстной мыслью, как молитва: *пусть будет чудо!*

Я ждал, что он подымет голову... удивленно всмотрится... и вдруг, в одну секунду, глаза его вспыхнут, расширятся, лицо озарится восторгом встречи, и он бросится ко мне.

Но чуда не произошло. Двойник Люблинера рассеянно скользнул по мне равнодушным взглядом и вернулся к своему разговору с соседом. И мой друг, который совсем уж было ожил, снова ушел в небытие, на этот раз уже окончательно и навеки.

Два дня спустя я водворился в прекрасной комнате отеля «Савой», в центре города, с горячей водой и лифтом, ковром в корридоре, рестораном на первом этаже и нарядным холл'ем. Сионистская организация, к которой я обратился (теперь от нее давно не осталось и следа) снабдила меня деньгами, направила к портному, который одел меня с ног до головы, — и в ожидании первой возможности продолжать путь (я помнил предупреждение финна) я жил как выздоравливающий от тяжелой болезни в санатории.

Мешок со ржаными сухарями и рваные брюки лагерника еще лежали в моем деревянном чемоданчике. Но день мой уже принадлежал мне, и с каждым днем возвращались ко мне привычки и потребности нормального человека. Через месяц я получил визу в Палестину. Еще через три месяца — заграничный паспорт. В течение этих четырех месяцев моего пребывания в Лодзи — обыкновенное течение часов, процесс жизни и хроника повседневных событий были полны для меня такого напряжения и интереса, как будто я во второй раз начинал свою жизнь.

Но не так просто было это второе начало. Жизнь — не патефон, где можно поставить вторично ту же пластинку. То, что происходило со мной, не было ни повторением, ни продолжением. Есть закон, по которому мы постепенно с годами изменяем наши отношения к людям и вещам. Мы плывем со временем и изменяемся вместе с ним. Но в моем времени открылась черная пропасть, через которую я не мог перешагнуть. Ни тогда, в первые дни возвращения из подземного царства, ни теперь, когда пишутся эти строки...

Двести пятьдесят тысяч евреев бесследно исчезли из Лодзи, но для меня они продолжали населять город. Улицы и дома были полны вчерашней теплоты; в каждом дворе были у меня друзья; на песочных площадках в парках играли знакомые дети; на каждом перекрестке — воспоминания и напоминания. Меня окружало недожитое, неизжитое, ощущаемое до яркой наглядности деловое кипение жизни, прервавшейся семь лет тому

назад. После загробного сна семи лет я вернулся к исходному пункту, — и два времени, два мира скрестились во мне.

Среди бела дня и в ярком блеске солнца, я, как лунатик, двигался среди теней.

Было непостижимо, что в этом городе, где я знал сотни людей и не мог пройти ста метров не вызвав взглядом, жестом или словом встречный взгляд, жест и слово, теперь никто не узнавал меня. Недожитая жизнь лодзян кричала во мне. Я обошел много домов, подымался по лестницам, заходил во дворы. Дома стояли, никого не было дома. Те, кого не было, были реальнее для меня случайных прохожих. Я знал, что произошло с еврейским народом в этом городе и во всей стране. Но знание не помогало. Если бы усыпили меня на сто лет и потом разбудили, — я бы точно так же чувствовал себя в новом мире.

Я не вернулся на кладбище и не чувствовал себя как на кладбище. Туда приходят люди, чтобы вспомнить путь всякой плоти, дошедшей до своего естественного предела. А мой народ не умер — он исчез среди бела дня, как я сам исчез из жизни, в одну минуту, когда бросили меня в подвал для советских обреченных.

Я шел по тротуарам Лодзи, и царство теней колыхалось вокруг меня. Больше близких и дорогих было у меня в этом царстве, чем среди живых. И я понял, что до конца моих дней не выйду из круга теней, сохраню им верность, больше буду с ними, чем с новыми друзьями. Так много было погибших, что я не мог охватить их всех памятью. Кто вспомнит убитых детей в одном этом городе Лодзи? Я не мог их помнить и не мог забыть, — я только чувствовал, что они окружают меня во сне и на яву, в глубокой тени сознания.

В те первые дни я без конца и цели бродил по улицам Лодзи с одной надеждой — кого-нибудь встретить. Если не здесь, то где же? И если я вернулся, почему другим не вернуться? Я зорко глядел по сторонам и всё ждал, что меня окликнут... И едва подымался в свою прекрасную комнату в отеле «Савой», как меня начинало тянуть неудержимо на улицу. Пока я был на улице, я еще мог кого-нибудь встретить, и каждая

встреча была спасением и победой над смертью, — но запираясь у себя в комнате, я их всех предавал безвозвратно и безнадежно... Мог ли я? Я знал, что день моего отъезда будет днем великой разлуки, — и тогда я останусь один в исполинском царстве теней, как водолаз, которого опустили на дно и забыли поднять.

Неделя прошла, пока я решился сходить на свою квартиру. Подымаясь на высокий партер, я был под впечатлением блеска парадной лестницы и ступени казались мне круче, чем я запомнил их с лета 1939 года. Ничего не ждал я найти за дверью: мне передали, что немцы вывезли всё, оставив голые стены. Но войти я должен был: так требовал закон возвращения. Я должен был войти, чтобы замкнуть круг, чтобы погасить или выровнять в памяти образ бегства, когда я, не оглядываясь, бросил свое гнездо. Что-то от меня осталось за этими дверьми. Ему я обязан был последним визитом.

На двери «Биласевич, служащий Магистрата». На звонок открыла чужая женщина. И никаких перемен в прихожей: та же мебель, только поблекла за семь лет. Я поразился... что, если и дальше всё попрежнему, и неправда о «голых стенах», сию минуту войду в кабинет, увижу книги, «Ундервуд» в уголке и над диваном женский портрет, в серебристо-зеленых тонах, тот, что был мне дороже «Джиоконды» Леонардо? — Я поспешил успокоить хозяина: не имею претензий на квартиру, хочу только «бросить взгляд», уезжая навсегда заграницу... С опаской и оглядкой ввели меня в комнаты, и хозяин объяснил: тут жили немцы, он поселился недавно и мебель принял по списку от управления брошенным гитлеровским имуществом...

И правда, всё было чужое. Немцы оставили свои книги... и вдруг, между фельетонами Геббельса и «Judenpest» Германна Эсера, я заметил знакомые корешки.

— Видите, — сказал я хозяину, — немцы оставили себе несколько моих книг: я по корешкам узнаю. Вот эта... и эта... и эта....

Что оставили себе наци из моих книг?

Иллюстрированный гид по Палестине, собрание анекдотов Ольшвангера «Der Ostjüdische Humor», два тома Зомбарта «Der Proletarische Sozialismus» и толстый том в вишневом переплете «Wahrheit und Wirklichkeit» Heinrich Meier'a, моего университетского учителя, весь исчерканный студенческими пометками. Я их показал хозяину в доказательство, что я действительно жил на этой квартире. А в столовой осталась висеть тяжелая металлическая лампа, и в спальне, где в последнее лето жила мать моей жены, еще стоял ее шкаф и старомодное громоздкое ложе желтого дерева с золочеными гирляндами.

— Если хотите забрать свои вещи, — сказал любезный хозяин — то на это есть процедура: надо заявить в окружной суд, он выдаст разрешение, а иначе я ведь отвечаю за вещи... по списку...

Я не имел понятия, что мне делать с этой рухлядью, но, следуя совету любезного г. Биласевича, подал заявление в суд. Я думал, это простая формальность. Велико было мое удивление, когда явившись по вызову в назначенный день, я нашел вместо любезного г. Биласевича двух адвокатов, которые в качестве «противной стороны» просили об отсрочке до следующего заседания. К этому времени они доставят счета фирм, где г. Биласевич купил поименованные мной вещи, а также доказательство, что я никогда не жил на этой квартире и потому не мог иметь в ней никаких своих вещей.

Отсрочка была предоставлена... но на второе заседание я не явился. Выяснив, что за кровать, лампу, шкаф и прочее надо вести бой, я малодушно махнул рукой. Рассчет любезного г. Биласевича был правилен: через несколько недель я выехал из Лодзи, выехал навсегда, оставив ему кровать моей тещи с золочеными гирляндами.

Мне это было нетрудно. Другим тяжелее было оставлять в хищных руках тех, кто становился их наследником при жизни, свое достояние, добытое трудом поколений. И не один из сибирских евреев-репатриантов, явившись неожиданно на порог дома или деревенской усадьбы, где уже забыли о его существовании, вызывал крик возмущения и искреннее проклятие: «всех

ликвидировали, а этот остался... чтоб ты пропал, проклятый недорезок...».

Прежде чем мне уехать, я провел много часов у большого окна кафе в центре города, за мраморным столиком, — там я писал свои письма и смотрел на улицу. Я сходил в городскую библиотеку и спросил комплект газеты за первое полугодие 1939 года — последнее полугодие перед гибелью моей Атлантиды. Пробовали вы когда-нибудь читать старые газеты, с кричащими заголовками и нелепой суетой людей, не знающих, что ждет их завтра? Газеты которые в перспективе немногих лет выглядят как кривые зеркала сборища трагического абсурда, возбуждающие оторопь... Это был мой мир? — И глядя в большие стекла кафэ, я видел улицу 1939 года так ясно, что ничего не оставалось как взять перо.

На перекрестке Пиотрковской и Цегельняной, облепленном продавцами баранок, где крики «Хайнт! Момент! Фрише байгл!», грохот колес и трамваев не утихают ни на секунду, в полдень было как на сковороде с кипящим маслом.

Клубились потоки прохожих, тротуары не могли вместить их, люди оступались на мостовую. Под мордами лошадей и между автомашинами шли старые евреи в лохмотьях, таща на спинах связки мануфактуры, неправдоподобные горы картонных коробок с галантереей. Шли, сгибаясь под прямым углом, задыхаясь, шатаясь, бороденками вперед, с выпученными глазами и разинутым ртом. В подворотнях домов, промозглых и сырых даже в этот ясный майский день, с дворами похожими на людные базары, стояли носильщики, в ожидании *грошового курса*, — всклокоченные евреи с Балут и Старувки, с веревочной упряжью на плечах, в опорках и «ка́потах», прикрепленные как галерники к месту — у входов бесчисленных лавок с пряжей, с печатным и белым товаром, у складов, контор и окон, заваленных трикотажем или джутом. Голодная толпа кишела у кошерных витрин Дишкина и Диаманта, — и равнодушно отворачивался от нее рыцарский Костюшко на высоком цоколе на площади Вольность.

Весь первый километр вплоть до угла Пшеязда и Анджея

был сплошной еврейской биржей. Еврейские коллектуры и банки чередовались с кафэ, пристанищем коммивояжеров и агентов, где обделывались делишки под вывеской «Идеал», «Астория» и «Италия». Меняльные конторы чередовались с редакциями газет на трех лодзинских языках, в узкие дворы сворачивали с грохотом исполинские ролльваги, груженые кипами товара в цветных с этикеткой обертках: «Адрия» Штайнерта, «Сотка» Видевской — «500 штук принимай!» — И тут же вертелись уличные фотографы, галантно нацеливаясь на щеголеватых прохожих, а за углом, в переулке где движенье мелело, заливались бродячие музыканты: «Моя Наташа», «I jeszcze coś... O jeszcze coś!»...

В центре Пиотрковской, среди еврейских шелков и ателье мод — одна против другой помещались редакции погромной польской газеты «Орендовник» и «Фрайе Прессе» — гитлеровского немецкого листка, с прилепленным сбоку прямо на тротуаре киоском, где испитой парень с бандитской рожей вывесил штрайхеровский «Stürmer» с кричащим заголовком «Jude verrecke» и отвратительной каррикатурой. Тут же рядом на втором этаже помещался КИЖ: «клуб еврейской интеллигенции». Еврейские интеллигенты и неинтеллигенты дефилировали мимо «Штюрмера» и «Дер Шварце Корпс» с действительным или деланным равнодушием, — и только по временам какой-нибудь безработный меламед в истрепанном пиджаке без галстука, с наивным и близоруким взглядом, останавливался как вкопанный перед антисемитским шаржем, и, кажется, готов был спросить иронического и холодного продавца: «Как тебе не стыдно? Как это возможно?» — — — Но слишком много было кругом витрин с хрусталем, шеколадом Фрамболи, розами Ван-де-Вега, икрой и винами, кинорекламой «Риальто» — запах пирожных и черного кофе вытеснял видение крови, — и ничего не оставалось в сердце, кроме легкой тени тревоги: всего вдоволь, и всё к услугам человека с бумажником. Только уметь заработать... На Пиотрковской, и особенно в полдень, когда движение достигает предела, трудно еврею думать о чем-нибудь кроме того, что диктует ближайший день и час.

Заработать! — Как-нибудь обойдется. Бог не выдаст. 3½ миллиона польских евреев, это кое-что значит! — Заработать! — За нами Демократия, Культура, Европа и Америка, рабочий класс, и еще что? — — —

З а р а б о т а т ь !

На углу Пиотрковской и Цегельняной я сидел за большим стеклом кафэ и за плечами прохожих видел тех, обреченных.

Посмотрим. Чужими глазами. Как мужик из деревни или английский турист. Птичьи груди, тощие, безмускульные, деформированные тела, круглые спины, немощные и смятые, несвежие, сморщенные лица, месиво из отстающих ушей, скороченных носов, вывороченных губ, нескладных, неловких или слишком суетливых и беспокойных движений. Кривые плечи, каждый косит, озирается или бежит, не глядя, вперед, — и у каждого какое-нибудь колесико не в порядке. Хромые, подскакивающие фигуры, поломанные, поношенные, вихляющиеся, до рождения усталые люди, болезненные и трагические глаза, черные кафтаны — мундир безделья, плоские черные картузы — вывеска гетто, женщины без прелести, мужчины без гордости и спокойной силы. Людской поток мечется и жестикулирует, слишком громко хохочет, слишком резко реагирует, и всегда в чем-нибудь дефективно, невыдержанно, неуравновешенно, за пределами гармонии и полноты жизни: несчастный тройной продукт большого города, еврейской нищеты и славянско-немецкого перекрестка, где все влияния перерождаются в отклонения, в неустойчивость и развинченность духа, в вечную оглядку, в подражательность или дикое сектантство...

Довольно! Я бросил перо. Эти люди умерли — имел ли я право судить их? Можно ли судить умирание? — Но умирать они начали еще прежде, чем пришел Гитлер. Они были готовы под нож и под газ, и всё, что мы могли сделать, — мы, которые ненавидели это несчастье и пробовали что-то кричать в их глухие уши, — было бежать отсюда — бежать даже без уверенности, что на новом месте не повторится тот же лодзинский шок. Обреченные! Еще не родился тот, кто бы мог рассказать

правду об их конце, швырнуть их потомкам и братьям повесть гнева, — и не задохнуться на полуслове, не закрыть глаза рукой — и не отвернуться.

Человек, который осмелится, — который будет иметь довольно силы духа, чтобы как Данте сойти под землю и рассказать, как происходило умирание его народа, потеря воли к жизни и страсти к свободе, — пусть возьмет эпиграфом старый стих Лукреция, классический образ «facies hippocratica», лица умирающего:

с наступлением последнего часа ноздри сжимались, и нос, заостряясь в конце, становился тонким; впадали глаза и виски; холодея, твердели губы; разинут был рот; и натянута лобная кожа.

Летом 1946 года, в ожидании отъезда из Лодзи, я начал повесть о том, что происходило в этом городе в последние месяцы перед катастрофой. Но уже первые страницы вывели меня из душевного равновесия, — и я почувствовал, что для *этой* правды время еще не пришло.

Ю. Марголин

*
**

Дай мне силы и дай мне сроки
мирно мерить твои пути,
дай мне слабость — не спорить с роком,
дай терпенье свой крест нести.

В доброй воле моей уверясь,
«Иже еси во небесех»,
дай смиренье — не сеять ересь,
верить просто, не глубже всех.

Григорий Забежинский

ГОД ЖИЗНИ*

Как неподвижна в зеркале луна,
Как будто в зеркало вросла она.
А под луной печальное лицо,
На пальце обручальное кольцо.
Но в спальне плачет младшая сестра,
От этой свадьбы ей не ждать добра.
«О чем ты, Ася? Отчего не спишь?»
«Ах, Кира, увези меня в Париж».
За окнами осенний сад дрожит,
На чердаке крысиный яд лежит —
Игру разыгрывают две сестры.
Но ни одной не выиграть игры.
На свадьбе пировали, пили мёд,
Он тёк и тёк, не попадая в рот.
Год жизни Кириной — последний год.

И. О.

Кира останавливается и с удивлением смотрит на свою руку. Рука крепко держится за перила лестницы, очень белая, с длинными налакированными ногтями, худая, похожая на выловленную из бульона сваренную цыплячью лапку. Кира поднимает руку над пролетом лестницы и сильно трясет, желая уронить руку в пролет, оторвать от себя, выбросить. Но рука держится крепко, не оторвать, и Кира, поморщившись, продолжает подниматься. Подъем на Эльбрус, подъем на Гималаи... Были и еще какие-то другие подъемы на какие-то горы, но их сейчас трудно вспомнить. Бельгийский король Альберт сорвался

---

* Мы печатаем отрывок из нового романа И. В. Одоевцевой «Год жизни». *Ред.*

с горы... Кира крепко хватается за перила. Осторожней, осторожней. Еще только пять ступенек. Вот она, выбиваясь из сил, поднимается по лестнице, и в эту самую минуту сотни, тысячи, миллионы людей поднимаются по лестницам, входят к себе или в чужой дом, в гости, выходят на улицу, входят в рестораны, в театры, в кинематографы, на вокзалы, в больницы, в тюрьмы, на сцену, на кладбище... в эту самую минуту. Она представляет себе движения всех этих ног, только ног вверх и вниз переступающих пороги комнат, спешащих по тротуарам, по дорогам. Вид этих шагающих ног так поражает ее, что она останавливается и задумывается. Нет, в эту минуту, кроме спешки, движения и топота ног происходит еще и другое. «Другое» — жизнь всех людей на всем земном шаре. Жизнь и смерть всех людей. И рождение. Совокупность этих жизней, смертей и рождений. Кусок сахара, положенный в чашку кофе тает, образуя белые пятнышки на черной поверхности, шелест переворачиваемой страницы, теплый дождь стекающий по листьям платанов, взрыв бомбы, сброшенной с аэроплана, музыка в бальной зале, шляпа, снятая для поклона, автомобиль заворачивающий за угол, часы, показывающие без четверти шесть. Почему без четверти шесть? Почему? Ответа нет, только смутная догадка — где-нибудь в мире сейчас без четверти шесть. Где-нибудь, не всё-ли равно где. «Без четверти шесть», говорит Кира и снова берется за перила. Надо еще взобраться на последнюю ступеньку. Остальное неважно. Остальное больше не существует.

Она стоит перед желтой лакированной дверью и хотя раздражающе светло, она шарит как в темноте рукой, чтобы найти звонок. Вот он. Она еще не успевает нажать его, как дверь отворяется, будто за дверью стояли и ждали только того, чтобы Кира подошла. Кира видит красные обои прихожей и на красных обоях белое лицо мужа. Он делает к ней шаг, он крепко берет ее за руку.—Где ты была? Я чуть с ума не сошел, я уже хотел в полицию звонить. — Она качает головой. — Я не воровка, чтобы меня разыскивала полиция. — Ей кажется, что это очень разумный, очень находчивый ответ, но брови мужа

почему-то высоко поднимаются на белом испуганном лице. — Что с тобой? — Она старается собрать все мысли, аккуратно собрать, связать их вместе, как связывают рожь в сноп, но мысли рассыпаются. Она на минуту ясно видит себя в поле, неумелыми руками связывающую рассыпающиеся колосья, маки и васильки. Надо объяснить слишком много. Это почти невозможно. Но нужное слово уже само вылетает из ее рта. — Я пьяна. — Она с торжеством поднимает голову. Как просто, как удивительно просто и понятно. — Пьяна? — переспрашивает муж и наклоняется над ней. — Но где же ты была?

Этого вопроса она не ожидала. Что ответить? В ушах звенит. И от этого томительного, гулкого, глухого звона становится страшно. Пропала. Конец. Но она уже слышит, как перекрикивая звон в ушах, ее собственный голос громко отвечает — С Асей. У ее американки. Мы пили коктейли. — Теперь можно больше не слушать упреки и вопросы. На самый страшный, самый важный вопрос она уже блестяще ответила. Ответила, застигнутая врасплох, без подготовки. Или нет. Верно, подготовка была, и ответ уже был готов давно. До без четверти шесть. Почему без четверти шесть? Всё равно, главное, что ответ такой гладкий, круглый, правдоподобный! «С Асей и американкой. Коктейли». И всё тут. Кира снимает пальто и шляпу, кладет их аккуратно на стол. — Я с ума сходил от страха, всем знакомым уже звонил. Хотел ехать к Асе, только боялся уйти из дома, вдруг тебя принесут. Бог знает, что думал. — Он останавливается, берет ее за плечо. — Но где ты была? Я не верю, что с Асей. Скажи правду. — С Асей, — ясно и значительно выговаривая «Ася», отвечает она. — С Асей у американки, которую Ася рисует.

Она входит в спальню и останавливается перед туалетом. Всё совершенно ясно и понятно. Даже яснее и понятнее, чем всегда. Из зеркала на нее смотрит бледное, неподвижное, одервеневшее лицо с блестящими, светлыми, разумными глазами. Никогда она еще не замечала у себя такого разумного, сосредоточенного взгляда. Она смотрит в зеркало, а руки уже сами берут гребешок и щетку и расчесывают волосы. Руки делают

всё удивительно правильно и точно. Руки находят вату и обтирают лицо и шею одеколоном. На минуту веет морской свежестью и в зеркале проносятся белые, острые клочья чаек. Голова, как стеклянный блестящий шар на клумбах. Голова блестящая, пустая и звонкая. «Всё делаю, как робот», мелькает в этой пустой, звонкой, блестящей голове. «И совсем не нужно ни ума, ни души. При чем они тут? Ни к чему». Руки уже снимают платье через голову. Черный, пыльный бархат, пахнущий духами и вином, вдруг зажимает рот и нельзя ни вскрикнуть, ни вздохнуть. Это уже не бархат. Это черная тяжелая вода, хлынувшая в рот, уши, глаза. Тону, спасите. Крикнуть, но голоса нет. И вторично за этот вечер сознание: «Пропала, конец». Но руки справляются с платьем, срывают его. Теперь оно чернеет на ковре, как большая чернильная лужа. Она смотрит на него недоверчиво. Может быть, это действительно чернила? Не запачкаться бы. Она осторожно на носках обходит платье и тут только снова замечает мужа. Он стоит у постели и удивленно и грустно следит за ней. Он говорит что-то. Кажется то же самое, что прежде. Она ложится и он покрывает ее одеялом. И уже не стараясь притворяться, не борясь с тошнотой и головокружением, которые будто ждали, перед тем, чтобы окончательно завладеть ею, чтобы она сама призналась, сама выдала им себя, она жалобно стонет. — Мне дурно. Миша, мне дурно. О, до чего...

Теперь она лежит в постели, в темноте и удивительной тишине. Она открывает глаза, она прислушивается. Тишина совсем особенная, не та, к которой она привыкла. Пустая тишина. Тишина, в которой не участвует, как составная часть сонное дыхание мужа. Но где-же он, ее муж? Она протягивает руку. Его нет. Она проснулась одна в первый раз за всю их общую жизнь, почти за тысячу их общих ночей. И вот 1001-я ночь. Она одна, брошенная, больная. Да больная, очень больная.

Так плохо, так невыносимо плохо ей было только, когда она болела тифом. И сразу прошлое становится настоящим. Это уже не воспоминание о тифе, о бреде. Это тиф, это бред. Она вздыхает, она стонет, она, как рыба бьется на своей прован-

сальской кровати, в своей провансальской комнате. Тетка спит и Ася тоже спит. Они устали, они ушли к себе, оставили ее одну до утра. Ей хочется пить, но напоить ее некому. В голове мелькают строчки стихов, мучительно повторяясь, закружи-ваясь, как деревянные стружки под рубанком, теряя рифмы. «Как будто ветренная Геба, кормя Зевесова орла, Громокипящий кубок с неба... Громокипящего орла. Нет не орла. Не громокипящий орел. Но какой же тогда? И что сделалось с кубком. И зачем кубок, если он пролился на ее лоб». Гром, кипение. Громокипящий лоб, громокипящая грудь. Боль в этой ее громокипящей голове. Кубок, вода. Пить, пить, пить. Всё те же строчки скачут в памяти. И вот, перебивая их, звенит тонким комариным пеньем насмешливое: Adieu, vais me remettre à l'étude des belles lettres. И круглые светлые пятна, всё время кружащиеся перед глазами, превращаются в звезды Лафорга и медленно плывут по черному потолку и тоска Лафорга по звездам сжимает горло. Тоска и жажда. Лафорг... Пастушка, утопившаяся оттого, что потеряла муфту. Скучные, прелестные «Воскресения». И звезды, звезды, звезды, в которые превращаются стихи и тоска.

Зведы кружатся по потолку, звезды, как хлопья снега падают на подушку.

«И легкие месяцы будут над нами,
Как снежные звезды лететь...»

Так вот они какие снежные звезды! Кира вздыхает и закрывает глаза. «Меня задумчивую Мэри — голубоокую меня». Глаза снова открыты и смотрят на стену. Звезд больше нет, ни одной снежной звезды. Вместо них хризантемы обоев ее провансальской комнаты. «Нет имени тебе мой дальний... Нет имени тебе весна». Нет имени тому, что Кира испытывает сейчас. Нет имени этой тошноте, обрывкам стихов и головокружению. Голубая хризантема теряет лепестки и очертания и расцветает в сияющее круглое пятно. Из сияющего пятна смотрит Блок, окруженный ореолом, как святой на иконе. В черной блузе с белым отложным воротничком. Молодой, светловолосый, сумрачный. Любимый портрет Блока. Он действительно идет к его

стихам и к нему, не то что портреты всех других писателей всегда поражающие Киру несовпадением между их внешностью и их книгами. Глядя на портрет Блока веришь, что это он и только он мог написать такие стихи. Блок прекрасен. «Тоже можешь быть прекрасным» — Темный рыцарь, ты». Кира смотрит на хризантему, прикинувшуюся Блоком.

— Пожалуйста не мучьте меня стихами, — шепчет она и не прибавляет — дайте мне пить. Она знает пить до утра никто не даст. «Ночь глуха, ночь не может понять петуха». Жар, бессонница, бред. Но утро, хоть и очень медленно, все-таки наступает. Несмотря на стихи, на бред и бессонницу. И вот дверь тихо отворяется.

— Ну как, Кирик, лучше тебе? — спрашивает Ася. — Сейчас кофе подам пансионерам. Ах эти пансионеры. Убить бы их всех. — Пить, — по-птичьи просит Кира. — Пи-ить. — Ася берет стакан с морсом с ночного столика. Кира приоткрывает рот, вытягивает губы, готовясь к глотку. Ася подносит стакан к ее губам. Кира видит как в наклоненном стакане убывает красная жидкость. Стакан пуст. Весь морс выпит, выпит ею, Кирой. Но рот по-прежнему сух, будто набит промокательной бумагой. В него не попало ни капли морса, она даже не почувствовала холода стекла на сухих, горячих губах. Ася ставит пустой стакан обратно на столик. И вид пустого стакана, исчезнувшего морса возвращает Киру к действительности. Это только кажется. Это только воспоминание прошлой жизни. Она не больна тифом и это не провансальская комната. Это прошлое, далекое прошлое. Она в Париже, она замужем. Но отчего так болит затылок, отчего всё кружится? Если это не тиф, не бред, так что же это такое? Но понять, разобраться некогда. Прошлое (теперь совсем ясно, что это прошлое) снова вытесняет настоящее. Оно как пущенный по полу, заведенный волчек кружится, кружится, пока не выйдет весь завод, запас всех пережитых Кирой дней и ночей. Сквозь жар и головную боль, она смотрит на с жужжанием раскручивающееся прошлое.

Вот она выздоровевшая, худая, с обритой головой, повязанной платочком, лежит под персиковым деревом на склад-

ном кресле. Рядом с нею на земле свалены ее книги. Она читает, щурясь от солнца. Ася приносит ей молоко и тарелку овсянки. Кира продолжает читать. — Ты не устала? Тебе не холодно? — спрашивает Ася. — Кира молча качает головой. Она читает, ей ничего не надо. — Пансионеры хотят тебя навестить. Они спрашивают не утомит ли это тебя. Кира захлопывает книгу. — Утомит, — говорит она. — Конечно, очень утомит. — Но нельзя же, уговаривает Ася, ведь они из любезности. — Отстань! Я больна. Никого видеть не хочу. И она снова берется за книгу. Но вот уже опять всплеск голосов, шорох песка под ногами, движение, ветер треплющий платья. Пансионерки все-таки навещают Киру и приносят подарки. Две старушки дарят ей шерстяную материю, чтобы она сшила себе теплую блузку на зиму. Кира благодарит. Она им не объясняет, что не умеет шить, а то старушки еще начнут ее учить. — Непременно сошью, — обещает она им, и цвет мой любимый, и она отворачивается от рыжей шерсти. Тошнота острее и ломит в глазах. — Нет-ли у вас каких-нибудь книг? — задает она всегдашний вопрос, заранее зная, что книг не окажется. — Мы здесь на отдыхе. Если хотите газеты.. Но газеты не интересуют Киру и старушки, покивав и поулыбавшись, уходят наконец подгоняемые ветром в шелесте юбок и шорохе шагов.

Слава Богу, что пансионеров немного, а то целый день приставали бы. Кира давно знает, что от них не услышишь ничего, что интересует ее. В прошлом году она еще спрашивала их, в каком городе они жили когда-то в России. И если оказывалось, что в Петербурге или в Москве, сейчас же спрашивали — А вы знали Блока? Белого? Ахматову? Брюсова? Но пансионеры никогда, никого не знали, не видели, даже почти не читали. Теперь после ее болезни, они считают своим долгом особенно часто надоедать ей. Впрочем для них ее болезнь развлечение — здесь в деревне их так мало. Да, развлечений в деревне мало, вернее — никаких. Если бы не книги. Но книги заменяют Кире всё. Ей никогда не скучно. Она читает. Она влюбляется, волнуется, ревнует, ждет свидания. Это только кажется, что она безвыездно живет здесь, вместе с сестрой и

теткой в старом каменном доме с толстыми стенами, по которым вьется шиповник и цветущий горошек. Нет. Кира живет в книгах, непрестанно совершая переходы со страниц на страницы, из страны в страну, из дворца в подполье, из столетия в столетие, из бедности в богатство, из старости в детство, умирает совершенно замученная, истерзанная горем, годами, болезнью и снова начинает жизнь сначала, полная надежд, ожиданий, мечтаний с идеальным отсутствием опыта всех перечитанных, пережитых женских судеб.

Кира читает. Сейчас 1810 год, за окнами снежная Москва, и она Кира-Наташа проходит перед узким зеркалом по нетопленой гостиной своей особенной ловкой походкой, переступая с каблучка на носок в своем, ставшем коротким, коричневом платьице, любимом за веселое бодрое настроение, которое оно создает. Оставьте ее только в покое. Но покоя нет. Внизу, в прихожей, слуги уже снимают шинель с князя Андрея, уже бегут докладывать старой графине о его приезде и Кира-Наташа уже поймана в сеть помолвки, разлуки, влюбленности и измены. «Les mariages se font dans les cieux»...

— Михаил Александрович хочет прийти познакомиться с тобой, — кричит Ася с разбега падая на траву. Кира поднимает глаза. Ветки персикового дерева бросают пятнистую, дрожащую тень на Асю и от этой дрожи солнца и тени детское лицо Аси кажется непонятным и взволнованным. Но Кира знает — только кажется. Что в этом птенце может быть непонятного? А взволнованность, если она не результат обманчивого освещения, вызвана страхом за рыбное суфлэ, всегда так предательски быстро подгорающее. После завтрака пусть приходит. Сейчас мне некогда. Кира проводит рукой по воздуху, отталкивая, вычеркивая Асю и персиковые деревья и всю жалкую скуку цветущего сада, заменяя их настоящей реальностью вымышленного мира, той единственной реальностью, которой она живет и дышет в упоительном шелесте переворачиваемых страниц.

Кира перевоплощается в героиню романа сразу, с первой строчки, еще не зная толком ее характера и внешности, но без-

ошибочно угадывая их и смело, вместе с героиней, стремясь к счастью и гибели, принимая ее судьбу без критики, без возражений, радуясь, влюбляясь, плача, страдая. Главное, страдая. В книгах счастье непрочно, всё всегда кончается горем, даже самая счастливая любовь. Это только сказки обрываются на всегдашнем: «И тогда они поженились и были очень счастливы и у них было много детей». В романах у героинь не бывает много детей, почти никогда, а длительного счастья уже наверно не только не бывает, но даже и быть не может. В книгах очень много горя, очень мало счастья. Возможно, что в жизни больше счастья и меньше горя. Но Кире нет дела до жизни... Она так часто плачет, так часто умирает: умирает Анной Карениной, под колесами русского поезда, мадам Бовари, глотающей белый порошок, Терезой Ракен, после того, как она с любовником утопила мужа, Настасьей Филипповной под ножом Рогожина, Изольдой, Дездемоной... Несправедливо, всегда несправедливо. Но судьба героинь, которым удается выбраться живыми и не погибнуть на страницах книги, тоже не лучше. Там, за концом книги, за последней строчкой, за последней точкой, начинается то серое, тоскливое существование, о котором автору уже нечего сказать, о котором и говорить неинтересно.

Счастье Наташи, народившей своему беззубому Пьеру кучу детей, — должно быть, чтобы было похоже на конец сказок, — неубедительно и конец Наташи еще грустней, еще несправедливее, чем конец Анны Карениной.

Даже для гамсуновской Эдварды или Матильды из «Le rouge et le noir», так трагически и великолепно стоящей на фоне заката, держа мертвую голову Сореля в поднятых руках, после конца книги начинается скудное земное существование, так томящее Киру своей нелепой повседневностью. Существование, а не жизнь. Будто жизнь только то, о чем читаешь в книгах.

Кира засыпает то улыбаясь, то в слезах — героиней очередного романа, лежащего у ней под подушкой. Во сне она не перестает быть героиней романа, переживая ее судьбу, фанта-

стически разукрашенную сном. Судьбу героини, перестроенную несуразностью и противоречивостью, подчиняющуюся уже не строгим законам творчества, а хаотическим законам сна. Утром спросонок, глядя, как на горизонт, на светлую полоску ставень, она не может понять, где она и кто она, пока Ася не вбежит в комнату, не распахнет окна, не назовет ее по имени — Кира, проснулась? Сейчас принесу тебе кофе, Кира!

Тогда Кира садится на постель и сознательно вздохнув о сне, достает из-под подушки книгу. Так начинается каждый новый день. Никто не мешает ей читать. Она встает, наскоро моется, не взглянув на себя в зеркало, надевает старое платье, повязывает голову платком. Кокетство просыпается в ней только для героинь романов, для них, а не для себя. Широкие, шуршащие платья, прическа с буклями, духи, атласные башмачки... Как старательно одевается она на первый бал или на свиданье. Но до себя, до Киры, ей просто нет дела. Не всё ли равно, что на ней надето? Лишь бы не было слишком холодно или слишком жарко. И холод и жара одинаково неприятны, одинаково тяготят тем, что заставляют помнить о себе, ощущать себя, не дают возможности забыть себя, забыться, став Викторией, княжной Мэри, Адриеной Мэзюра...

Ей даже совсем не жаль своих светлых пушистых волос. Бритая голова роднит ее с Анной Карениной. У Толстого просто сказано, что Анна стриженая после рождения дочки. Но Кира знает, что бритая. Толстой должно быть побоялся некрасивого слова — бритая. Но после горячки не стригут, а бреют. Кира думая о Вронском, о невозможной сложности отношений с Карениным, с нежностью о Сереже, проводит рукой по своей круглой, колючей голове, прежде чем повязать белый платок по-бабьи, кончиками под подбородком, чтобы крепче держался.

Ася помогает ей устроиться под яблонями. — Сейчас придет Михаил Александрович. Ты бы хоть припудрилась. Хочешь я тебе своё новое платье дам? — Кира пожимает плечами — тоже выдумаешь. Она обтягивает широкую юбку на голых коленях. — Вот. Больше я ничего для твоего Михаила Алек-

сандровича сделать не могу. Пусть идет, если уж так хочет.— Ася убегает и сейчас-же возвращается совсем другая, успевшая за эти несколько минут стать робкой и красной. Рядом с Михаилом Александровичем. Кира ждет обычной фразы «Вы нас так напугали. Вы совсем молодцом». Но он молчит. Ася знакомит, заикаясь от волнения — Моя сестра. Михаил Александрович Скарятин. — Он протягивает Кире руку и ей приходится положить на колени книгу. — Здравствуйте, Кира Павловна. — Он садится на траву рядом с креслом. Рука его держит папиросу. От папиросы поднимается прямая белая полоска дыма, совсем такая, как из трубы снежной крыши на картине книги, лежащей на коленях Киры. Кира смотрит на полоску дыма и ей кажется, что дым идет не от папиросы, а из головы этого, сидящего перед ней незнакомого, улыбающегося человека. Дым из его головы, будто в его голове мысли горят как дрова в печке. Но она знает — это только кажется — под этим гладким лбом наверное пустота, сквозняк самодовольства.

Он говорит: — Я принес вам последний номер «Современных Записок». Вы еще не читали? — Нет, — отвечает она, сразу теряя всю сдержанность. — Я не читала ни одного номера. У меня никогда не было, это слишком дорого. Она берет журнал, она улыбается, она благодарит. — Если бы вы знали, как я давно хотела достать хоть какую-нибудь русскую современную книгу. У меня только старые, еще из России, тётины. Иногда тетя покупает мне книги на аукционе — целый ящик, но только французские. Я почти всех современных французов читала. Но из русских — никого. — Она прижимает книгу к груди. Она смотрит на Скарятина. — Ася была права, вы действительно очень милый. — Он смеется. — Я буду еще милей. Я выпишу вам из Парижа сколько хотите книг. — Она краснеет. Ее губы начинают дергаться. Она хочет улыбнуться, но это скорее похоже на плач. Она еще так слаба после тифа, ей не справиться с такой радостью. — Пожалуйста уйдите, — говорит она морщась и машет на него рукой. И уже вслед, в спину ему, кричит, всхлипывая, — Спасибо!

Теперь у нее столько русских книг, что ими завален весь

угол ее комнаты. Она счастлива. Всё это написано по-русски, русскими писателями, живущими частью в Париже, и если поехать в Париж, их можно увидеть, услышать их голоса, даже, при особой удаче — чего не бывает на свете — даже познакомиться с ними и от этого всё приобретает какую-то тревогу и остроту, будто на каждой странице — булавки и нельзя не уколоть себе пальца, переворачивая ее. И конечно, больно, но вместе с тем, приятно, так приятно, что хочется смеяться громко, хотя ничего смешного нет в том, что она читает. Так много статей, романов, рассказов, стихов. Такое богатство. Главное, стихов. Совсем неизвестные стихи, совсем незнакомые имена.

— Я очень хотела-бы познакомиться с Поплавским, —но разве она не знает, что Поплавский давно умер? — Умер? — переспрашивает она таким голосом, что Михаил Александрович сейчас же поправляется — Впрочем я не совсем уверен... Я напишу одному приятелю, который часто бывает на Монпарнассе... Она проводит рукой по глазам — Это было бы такое горе, такое горе для всех русских. Нет, я не хочу верить. Скажите, — спрашивает она вдруг — ведь он же не был убит на дуэли? — О том, как умер Поплавский, она узнает только через несколько месяцев. Но тогда ей уже будет безразлично. В тот день, глядя на ее вдруг постаревшее, подурневшее лицо, он явно не посмел ей рассказать, как умер Поплавский.

Кира поправляется. Теперь она каждый день гуляет с Михаилом Александровичем. Она накидывает тёткину кофточку на плечи, крепче стягивает юбку поясом, от сборок широкой юбки, талия кажется до ломкости тонкой, длинные рукава накинутой тёткиной кофты болтаются по сторонам. Она завязывает платок под подбородком. — Готово — говорит она, идя к двери. — Куда ты так вырядилась? — спрашивает Ася. Гулять с Михаилом Александровичем. — В таком виде? Ты похожа на воронье пугало. Постыдись. — На воронье пугало? Правда? — Кира становится на стул, чтобы взглянуть на себя в зеркало на стене. — И правда, на воронье пугало, — весело соглашается она. Она взмахивает болтающимися рукавами и спрыгивает со стула. — Кра-кра-кра! — каркает она. — Сразу и на пугало и на

ворону. Хочешь я расскажу тебе английскую сказку про ворону и воронье пугало? — Но Ася морщится. — Избавь. Рассказывай Михаилу Александровичу. У него и время и охота слушать тебя. А мне надо готовить обед.

Да, у Михаила Александровича много времени и охоты слушать ее. Они не успевают еще выйти за калитку, как она уже спрашивает, читал ли он «Фальшивомонетчики» Жида и узнав, что не читал, подробно и добросовестно начинает рассказывать. Они идут мимо полей. Ночью шел дождь и глинистая земля кое-где скользит. Но Кира легко ступает своими плоскими сандалиями на веревочных подошвах, глядя не под ноги, а вверх закинув голову. Она рассказывает, ей нет дела до полей, до дороги, она просто не замечает их. Длинная юбка бьется по ее голым ногам, она надвигает платок ниже на глаза от солнца. Она рассказывает вдохновенно и волнуясь — достаточно ли верно она передает сложное взаимоотношение не только героев, но мыслей, и дыхание слов? И то, чему нет места в фабуле, но что иногда важнее фабулы. — Вы не устали? — заботливо спрашивает он. — Нет, нет, — нетерпеливо отмахивается она. — Но мы зашли очень далеко, вы еще слабы, — настаивает он. Она сразу поворачивает обратно. — Тогда вернемся, и не останавливаясь, продолжает рассказ.

Она понимает, что он любит гулять с ней. Она тоже с удовольствием гуляла бы с кем-нибудь, кто за прогулку рассказывал бы ей целую книгу. Но и рассказывать очень приятно. Она кончила. Она глубоко вздыхает и сбрасывает кофту. — Жарко. Но если бы вы сами прочли... К сожалению у меня больше нет этой книги. — Ей еще хочется поговорить о Жиде, но он спрашивает: — Вы много гуляете зимой? — Я? Я за целый год не ходила дальше села. Я никогда не гуляю. — Но разве вы не любите природу? — Нет, не люблю, даже терпеть не могу, и вдруг морщится: — Я терпеть не могу деревни. Если бы вы знали, как мне хочется жить в Париже, ходить в театры, на лекции, в кинематографы! — Зачем же вы живете здесь? — Зачем? Ведь у нас только эта ферма и совсем нет денег. Мы страшно, мы библейски бедны. Зимой мы тратим гроши. Глав-

ный расход на керосин моей лампы. Иногда даже на керосин нехватает. А темнеет уже в четыре и читать нельзя. Разве вы не заметили, как мы бедны? — Он кивает. — Да, конечно. — Но он всё-таки не думал... — Вы круглые сироты? — спрашивает он. — Она трясет головой, еще сильнее морщась. — Нет, мама жива. Мне неприятно говорить об этом, но вам я скажу. Мы в детстве жили в Париже. Во время войны папа попал в Австралию и там хорошо устроился. И как только стало возможным приехал за нами. Но мама служила манекенщей и не соглашалась уехать из Парижа. Сколько ссор и скандалов было! Он требовал, чтобы она отдала нас с Асей ему, но она тогда еще очень любила нас. В конце концов он уступил. Перед отъездом он купил на Асино и мое имя вот эту ферму, чтобы у нас, что бы там ни случилось, всегда была крыша. Он скоро умер, а мама влюбилась в итальянца. Он скрыл от своей родни, что мама вдова и у нее две дочери. Она так молодо выглядела. Она уехала с ним в Неаполь и вышла за него замуж. И даже никогда нам не пишет. А нас папина сестра привела сюда «под крышу». Вот мы и сидим здесь... — Кира надвигает на глаза свой белый платочек и отворачивается. — Разве не дико? Не смешно?!

Он смущен. — Простите. Я не знал... — говорит он неловко. Но она уже смеется, как бы в подтверждение, что это все дико и смешно. — Пустяки. Плохо только то, что у нас нет никаких аттестатов, никакой специальности... что мы не кончили лицея и ничего не можем заработать, а так и привязаны к этой крыше. Я ходила учиться с дочерью наших «шателэнов», здесь, за пять километров их имение. Меня учили даром, чтобы возбудить в ней чувство соревнования, но она не хотела соревноваться. «Башо» ей, конечно, было не нужно... — Кира останавливается на перекрестке дороги, ведущей к дому. — Пожалуйста, не показывайте Асе, что вы знаете. Она глупая, стыдится.

Теперь они гуляют каждый день. Прогулки их лентой разворачиваются по окрестностям. Вот они у реки. Он рвет для нее кувшинки, он слишком наклоняется и чуть не падает

в воду. Она, стоя рядом с ним, продолжает рассказывать. Спасибо, — рассеянно благодарит она, принимая мокрые цветы. Вода стекает с длинных стеблей на ее юбку. Он вытирает ее своим платком. — Спасибо, — снова рассеянно говорит она, не прерывая рассказа. Они возвращаются. — Завтра я уезжаю, — вдруг говорит он. Она, щурясь от солнца, поворачивается к нему. — Уже завтра? Как жаль. Значит я больше не буду гулять. — Но почему бы вам не гулять одной? — Она трясет головой. — Одной скучно. С вами я гуляю оттого, что вас интересует то же, что и меня. И вы так хорошо слушаете. — Да, — говорит он, — вы прекрасно рассказываете. Но почему только то, что вы читали? Разве вам нечего рассказать о себе? — Но ведь я вам все о нас уже рассказала. — Нет, я не про официальную биографию спрашиваю, а о ваших чувствах. Вы все рассказываете о чужой любви. А у вас — он улыбаясь наклоняется к ней — у вас разве еще ничего не было, никакой влюбленности, никакого прошлого? — Она спотыкается и останавливается, цветы падают из ее рук и она не наклоняется за ними. Ее губы начинают дергаться, ее подбородок дрожит. — Какое вам дело? Зачем вы спрашиваете? Как вы смете? Она стоит перед ним дрожащая, с дергающимся ртом. И вдруг, повернувшись, бежит к дому. Только у забора она поворачивается и видит, как он подбирает с земли брошенные ею кувшинки. Все еще задыхаясь от бега, она входит в свою комнату. — Ася, — кричит она, — я сейчас лягу. У меня от солнца разболелась голова. Не пускай никого ко мне. — Ася осуждающе поднимает брови. — Вот что значит целыми часами шататься по солнцу. Теперь снова свалишься, а я ухаживай за тобой. Как будто у меня и без того работы мало. — Не пускай ко мне никого, — настаивает Кира. — Не пущу, — уже совсем зло отрезает Ася. Да и кому, подумаешь, ты нужна?

Кира лежит с закрытыми ставнями. Ничего, он завтра уедет и все опять пойдет по старому. И никто никогда больше не напомнит ей... Она не встанет завтра, она даже не простится с ним. Все враги, никому нельзя доверять.

Но назавтра она встает раньше обыкновенного. Она спешит одеться, она боится, что он уедет без нее. Она ждет его в саду. — Хотите пойдем погулять в последний раз? — робко предлагает она. И он соглашается. И вот они снова идут по дороге. — Какая вы бледная, — говорит он. — Вы должны простить меня, если я нечаянно... — Но она не дает ему кончить. — Это совсем не то, что вы думаете. — Она чувствует, как кровь бросается ей в лицо. Сейчас он скажет. — Какая вы красивая. Но он, молча, смотрит не нее. — Я не спала всю ночь. Я решила вам рассказать... Он не приходит ей на помощь, не бросает ей спасательного круга в виде улыбки или вопроса. Она теребит углы платка, моргает, двигает шеей, будто вырез блузки стал слишком тесным, и быстро начинает рассказывать. Слова цепляются друг за друга, ложатся ровными строчками, образуя рассказ. Почти такой же, как вчера, как позавчера, как один из тех, что она рассказывала ему здесь, на этой же дороге. Она говорит, только немного взволнованней, немного прерывчатей. Она идет рядом с ним, она полными слез глазами смотрит перед собой, стараясь справиться со своим голосом.

Рассказ начинается издалёка. Ей было двенадцать лет, когда ее отец приехал из Австралии за ними с Асей. Ведь она уже говорила ему об этом. Да, мать не отдала их отцу и тогда он купил им эту ферму. Он был так добр к ним в тот последний приезд. Он водил их в цирк и в кинематограф. Но всё-таки было тяжело. Он всё время ссорился с матерью. В день его отъезда они с Асей были у него в отеле. На столе лежала английская газета. Она развернула ее и увидела на первой странице фотографию какого-то молодого человека. У него было такое удивительное лицо, такие глаза, что сердце ее сразу перелетело в горло и стало поперек него, так что нельзя было даже вздохнуть. Она сложила газету и осторожно спрятала ее в карман пальто. Отец надарил им много подарков, Ася плакала, прощаясь с ним, но Кира думала только о фотографии в газете и равнодушно поцеловала отца в последний раз. У выхода вокзала мать обняла их, как будто они

с Асей вернулись из кругосветного путешествия. Дома, запершись в ванной, Кира рассмотрела фотографию, потом вырезала ее из газеты и завернув в носовой платок, спрятала на груди под лифчиком. С тех пор она ни ночью, ни днем не расставалась с ней. Под фотографией было что то напечатано, но она разобрала только имя — Фред Стон. Она никому не рассказывала про Фреда, но вся ее жизнь принадлежала ему. Из-за Фреда она так легко перенесла разлуку с матерью и переезд в деревню. Фред был всегда с ней. Он был ее другом, ее ангелом-хранителем. С ней ничего не могло случиться, он был всегда около нее. Это чувство сохранности, любви и тайны скрасило всю ее жизнь. Она старалась изо всех сил угодить ему, быть достойной его. Из-за него она училась лучше всех в школе и потом, когда она стала ходить к Соланж «для соревнования», она для Фреда, а не не для себя, просиживала все вечера над уроками. Но Соланж слишком презирала ее за бедность, чтобы снизойти до соревнования с ней и отчаянно ленилась. Успехи Киры никому, кроме Фреда, не доставляли радости. Но чтобы Соланж все-таки могла бы чем-нибудь гордиться перед прилежной Кирой, Киру не обучали английскому языку. Английскому, родному языку Фреда! Заметив, что Кира сама роется в ее английских учебниках, Соланж стала даже прятать их от нее. — А ты все-таки, дразнила она, Киру, никогда не будешь говорить по-английски. Никогда.

Кира жила в беспрерывной близости Фреда. Стоило только ей закрыть глаза, как он сейчас же был тут, возле нее. Он провожал ее каждый день к Соланж и пять километров под дождем и снегом совсем не казались длинными. Они шли рядом, он вел ее за руку. Он даже предлагал нести ее, когда она уставала, но на это она никогда не соглашалась. Ведь она была почти взрослая. Да, почти взрослая и когда ей исполнилось пятнадцать лет и она стала совсем взрослой, произошло как-то само собой, что она стала его невестой. А в пятнадцать с половиной, день в день, она вышла замуж за Фреда в их маленькой деревенской мэрии и в тот же вечер

уехала с ним в Лондон. С тех пор она жила с ним в Лондоне в узком трехэтажном домике с большой светлой гостиной и кухней, сверкающей медной посудой и банками апельсинового варенья. Весь дом был полон цветов, в столовой стояла клетка с голубыми попугайчиками, радио беспрерывно играло. Утром Фред уходил. Что он делал? Этого она не знала. Он, конечно, был знаменит, иначе его портрет не был бы напечатан в газете, но хорошо было бы всё-таки узнать, чем занимается ее муж? Это незнание было единственным пятнышком на ее счастье.

Она попрежнему ходила учиться с Соланж, но теперь, идя по деревенской дороге, ей казалось, что она идет по улицам Лондона, она слышала звон автобусов, автомобильные трубы и непонятный говор прохожих. Прежде, чем перейти на другую сторону, она останавливалась, ожидая пока огромный полицейский не разрешит пешеходам движение. И даже тогда она всё еще не решалась, пока Фред не брал ее под руку, смеясь над ее трусливостью. Уроки с Соланж продолжались по-прежнему. Они не нарушали строя жизни с Фредом. Ведь в то время, как она училась, он был тоже занят. Ей всегда приходилось еще чуточку подождать его у подъезда серого дома, чтобы потом вместе идти домой, и уже не расставаться до утра. Входя в столовую, она с порога объявляла тётке: — Ужинайте без меня, у меня масса уроков, я уже ела с Соланж. — Она приходила в свою комнату и запирала дверь на ключ. Ася, как собака, скреблась в запертую дверь, но она, конечно, не могла впустить сестру в свой лондонский дом, где они, после утомительного дня, весело распивали чай с Фредом перед горящим камином.

Так больше года шла эта двойная счастливая жизнь, в которой каждый новый день был еще немного счастливее прежнего, оттого, что они с Фредом еще ближе сживались, еще лучше узнавали друг друга. Но на Рождество в той призрачной провансальской, не имеющей реального значения, части жизни случилось событие. Соланж исполнилось восемнадцать лет и после Нового Года она вместе с родителями должна

была переехать в Париж, «чтобы начать играть светскую роль», как она говорила. — Я буду веселиться, танцовать на балах, ездить в театр. Ты мне завидуешь? — Кира только пожимала плечами. — Совсем не завидую. — Лжешь, — убежденно кричала Соланж, мне нельзя не завидовать! И Кира не спорила.

Образование их было закончено, уроки прекратились. На Рождество Киру в последний раз пригласили на елку. Мать Соланж подарила ей коробку конфет, вязаные шерстяные чулки, фуфайку и шарф. Она любила вязать и снабжала всех бедных в деревне теплыми вещами. — Бедным ведь всегда холодно, — объясняла она. Конечно, она с удовольствием отдавала бы Кире старые платья Соланж, но Кира была горда и не принимала обносков. — Чулки тебе хватят надолго — шерсть лучшая, какую я нашла. — И Кира поблагодарила, принимая сверток.

Елочные свечки горели, Соланж играла на рояле рождественские мелодии, Кира потихоньку выскользнула из зала, прижимая сверток к груди. Она побежала в библиотеку, куда доступ был запрещен. Но ведь она была здесь в последний раз. Сейчас или никогда. Она зажгла свет, открыла тот книжный шкаф, где стояли словари. Который из них английский? Она сняла с полки несколько словарей — испанский, немецкий, итальянский и вот наконец английский! Она спрятала его в свёрток под фуфайку, поставила остальные книги обратно и бегом вернулась в зал. — Где ты пропадала? — подозрительно спросила Соланж. — Я отнесла свой сверток в прихожую. — Соланж рассмеялась. — Боишься, что у тебя отнимут твои подарки?

В тот вечер Кира вернулась в автомобиле. Ее всегда довозили домой, когда она поздно оставалась у Соланж. В автомобиле, держа словарь на коленях и нетерпеливо перелистывая его, она говорила Фреду: — Теперь я наконец узнаю, чем ты занимаешься. Глупо иметь знаменитого мужа и не знать, чем он прославился. Ты не хочешь мне сказать? Хорошо, я обойдусь без тебя. Уже приехали? — Спасибо, — крик-

нула она шоферу и выскочила из автомобиля. Конфеты, чулки и фуфайка так и остались на сиденьи.

Ася ждала ее. — Ну как, весело было? Привезла мне конфет? — Отстань, отмахнулась от нее Кира и ключ повернулся в замке. Она зажгла лампу. Теперь она не торопилась. Времени было достаточно. Она взяла лист бумаги и карандаш и раскрыла словарь. Три строчки, напечатанные под портретом Фреда, она знала наизусть. Страницы словаря зашуршали. Кира, наморщив лоб, искала смысл непонятных знакомых слов. Она работала долго, не доверяя себе, проверяя помногу раз каждое слово. Фред сидел рядом с ней и наблюдал за нею. И когда все было ясно и подпись была переведена, она вдруг вскочила, отталкивая Фреда, отталкивая словарь и стол. И последнее, что она услышала, был звон разбивающейся лампы, как хрип, как крик над ней.

Кира останавливается. — Нет, я не могу вам сказать, даже теперь. Вы не догадываетесь? Хорошо, я скажу, только не смотрите на меня. Подпись под портретом значила: «Фред Стон, убивший мать, чтобы получить страховую премию, приговорен к повешению».

— Я все эти годы была женой повешенного. Вы понимаете? Ах, нет, этого нельзя понять. Вы не можете понять... Единственное, о чем я жалела потом месяцами — что лампа не подожгла моего платья, что дом не сгорел вместе со мной. Но она потухла, эта бездарная лампа. Даже пожара не вышло. Я не сгорела, я не умерла. И все осталось попрежнему. Я была навсегда опозорена, связана с висельником, я, как будто, перестала существовать. И несмотря на то, что теперь я «знала», я не могла так сразу отделаться от него. Стоило мне закрыть глаза, как он был тут, нежный, любящий, с веревкой на шее. И по ночам, во сне он был всегда со мной. Я почти перестала спать, я боялась уснуть. Нет, вы не понимаете, — снова повторяет она, — этого нельзя объяснить. Поэтому я и стала читать, так много читать, чтобы не думать, чтобы не чувствовать себя, заменить себя другими. И вы знаете, мне почти удалось забыть. Но вчера вы... Нет, не извиняйтесь, вы

не виноваты. Но мне так тяжело, так больно. Вы не можете этого понять, — в третий раз говорит она и топает ногой, сердясь на себя, что все повторяет одно и то же. Конечно, он не может этого понять, никто не может, но зачем же настаивать? Она поднимает голову и смотрит ему в лицо и вдруг, по его глазам, видит, что он понимает. Его понимающий взгляд скользит по ее горю, по ее боли, успокаивая их. Она переводит дыхание. Нет, она не ждала ни понимания, ни помощи. Она протягивает ему руку. — Спасибо, — говорит она доверчиво. — А теперь давайте о другом. Ведь это наша последняя прогулка. — Но он не двигается с места, он держит ее руку в своей руке и все так же смотрит ей в лицо. — Я хотел вас просить... согласиться... — и вдруг кончает. — Будьте моей женой... — и для чего то прибавляет — пожалуйста.

От неожиданности она вырывает руку и отступает на шаг. — Вы хотите жениться на мне, зная, что я вдова повешенного? — Ах чушь, чушь, — перебивает он ее. — Это все романтика, ребячество. Я серьезно прошу вас. — Но так, сразу? Я даже никогда не думала о вас. Я вас совсем не знаю, — быстро говорит она, стараясь припомнить все фразы из романов. — Я подумаю. Я решу. Я отвечу вам, когда вы будете уезжать. А теперь я хочу остаться одна... — И она, как вчера, снова убегает от него. Она бежит по узкой тропинке между полями. Что решить? Что ответить? Ведь так мало времени. Она добегает до конца поля и останавливается. Сотни женских голосов, голоса всех женщин, судьбу которых она хранит в памяти, кричат что-то, оглушая ее. Кричат, перебивая друг друга и ничего нельзя понять в шуме ветра и их голосов. Но понемногу шум утихает, поддаваясь ритму биения ее сердца и вот уже слышно, как хор голосов настойчиво и ясно повторяет: — Согласись! согласись! согласись! И, слушая их голоса, она широким взглядом, как небо, охватывает судьбы всех этих женщин. Чего они хотели? Жизни, счастья. Вырваться из неподвижности, из спячки, из скуки. И вот ей, как им, представляется случай. Она не может, не смеет пропустить его. «Согласись, согласись скорее, а то поздно бу-

дет!» Ей вдруг становится страшно, она поворачивает обратно, она снова бежит по тропинке между полями. Он уже успел далеко уйти, он быстро шагает, опустив голову. Она бежит за ним, ветер дует ей в лицо, длинная юбка бьет по ногам. — Михаил Александрович! — кричит она, но ее голоса не слышно изъ-за ветра. Она, задыхаясь, нагоняет его и хватается за его плечо, чтобы не упасть. — Мне не о чем думать, — захлебываясь от бега, почти кричит она. — Я уже решила. — Но слабость, как волна, налетает на нее, рука выпускает его плечо и губы уже не могут произнести «я согласна». Она лежит на земле, у его ног и смотрит вверх, в огромное голубое небо, пока тяжело и медленно не опускается темнота.

Она приходит в себя и улыбается. Прямо над ней, вместо голубого неба, — лицо Михаила Александровича. Он несет ее на руках, — Тише, тише, помолчите, — уговаривает он. — Я донесу вас. — Да, она видит по его лицу, что он понял. Она, все еще улыбаясь от совсем нового чувства покоя, поднимает руки и обхватывает его за шею. — Так легче. — Он ничего не отвечает, он только смотрит на нее. Он доносит ее до ворот. — Пустите меня тут, я сама дойду. Я не хочу, чтобы они знали. Я им скажу потом, когда вы уедете. — Она уже идет по саду, навстречу тётке. — Мы не опоздали к завтраку, тётя?

После завтрака у подъезда с грохотом останавливается камионетка молочника. Ах, этот грохот и движение всех четырех колес, больно отдающиеся в затылке. Это за Михаилом Александровичем. На вокзал. И уже надо прощаться. Чемоданы уложены в машину и Ася состригает с клумбы большими ножницами цветы для прощального букета. — Я напишу вам сегодня же, — успевает он сказать. — Хочешь поедем провожать пансионера на вокзал? — предлагает она Асе и они все втроем усаживаются в камионетку. — Теперь мы долго не увидимся, — вздыхает Ася. — С вами было так весело. — Может быть, и не так долго, — говорит он. — Обещаете приехать на будущее лето? — Может быть, гораздо раньше

лета. — Неужели на Рождество? — Может быть, и еще раньше. — Кира хмурится. — Ты не видишь, что он просто смеется над тобой, Ася? — Но я не понимаю, — начинает Ася обиженно. — Потом поймете, — загадочно обещает он. Они стоят на станции. — Вы знаете, это нехорошо уезжать с таким радостным видом. А мы будем скучать, — Ася вздыхает. — И я буду скучать, — уверяет он, улыбаясь и целует ее руку. — До свиданья, Ася. — Ася краснеет. — Мне еще никогда в жизни не целовали руки. — Она смущенно смотрит на свою загорелую руку. — До свиданья, Кира Павловна. — Счастливого пути...

Поезд подходит. Кира снимает с головы платок. — Ты с ума сошла, — шепчет Ася, — так безобразно, как арестант. Но Кира, смеясь проводит рукой по своим курчавым волосам. Пустяки. — До свадьбы отрастут, — смеясь говорит Скарятин. — И совсем не безобразно, даже мило. — Он садится в вагон. Поезд трогается. Кира размахивает своим белым платком. Ася бежит за поездом, потом возвращается к сестре.

— Уехал. Вот мы и опять одни на всю зиму... Но неужели ты деревянная или бумажная, как твои книги, и ничего, ничего не чувствуешь? Как ты можешь улыбаться? — Кира обнимает Асю. — Слушай, я хочу, чтобы ты узнала первая. Я выхожу за него замуж. — Замуж? — вскрикивает Ася. За кого замуж? За Михаила Александровича? — Ну, конечно. За кого же еще? И чего ты кричишь? Начальник станции прибежит. — Но Ася не слушает. — Нет, ты не шутишь, не врешь?... Она трясет сестру за плечо. — Это правда, правда? — Ну, конечно, правда. Стану я так шутить. Но чего ты в меня вцепилась? Пусти! — Ты выходишь замуж? — Ася закрывает лицо руками и начинает громко всхлипывать. — Ася, ради Бога, не устраивай сцен. Пойдем. — Кира берет ее под руку и Ася, все еще плача, дает увести себя и усадить в камионетку. — Ася, Асенька, не плачь. Я и не знала, что ты так меня любишь, что для тебя это горе. Ася поднимает заплаканное лицо. — А ты не можешь отказать ему? — Кира решительно трясет головой. — Отказать? Ты, кажется, с ума

сошла. — Значит ты любишь его? Ты так любишь его, Кира? Сознайся. — Отстань, — коротко обрывает Кира. Какое тебе дело — люблю, не люблю. Выхожу замуж, и всё тут. И перестань реветь...

Тётка ждет их перед воротами. — Ну как? Проводили? — И вдруг бросается к Асе. — Господи, что случилось? — Ничего не случилось, — объясняет Кира, слезая с камионетки. — Пойдем домой. Нечего представление молочнику давать. — Ася прижимается к тётке — Кира... — всхлипывает она, и не может докончить. Кира стоит на террасе. — Я выхожу замуж. Вот и все несчастье. — За Михаила Александровича? — Да ты догадливая, тётя. За него, а не за молочника и не за начальника станции. Других мужчин мы три года не видели. — Ну, хорошо. Во-первых, уверена ли ты в нем? Может быть, только так покрутил. А, во-вторых, если правда, радоваться надо, а не плакать. Всё-таки муж. Хоть мы о нем ничего не знаем. И уж, конечно, не на приданом женится. Поздравляю тебя, Кирочка. А то я всегда боялась, что вы с Асей или старыми девами останетесь или за французских мужиков с горя выйдете. Ася, перестанешь ты? — И вдруг Ася вытирает глаза и обнимает сестру. — Поздравляю. Прости. Я не могу представить себе что ты уедешь отсюда. — И всё тонет в нежностях, смехе, поцелуях.

Письмо от жениха приходит на следующий вечер. И уже и у тётки сомнения нет. Он просит только, чтобы скорее назначить свадьбу. И свадьбу назначают через месяц. Все это время Кира живет поэтично, смутно-воздушно, как полагается жить невестам в романах: ожиданием писем. предчувствием, томлением, снами, чужими переживаниями. Переживаниями всех невест романов. И стихами, окружающими облаком ее и заслоняющими действительность.

Утром, открывая ставни, она выглядывает из окна в осенний, осыпающийся сад. Там, под тем черным деревом эта длинная тень, разве это не он, не ее жених? Разве это не его тень? Нет, он сейчас в Париже, на парижской улице. Он стоит перед газетным киоском, он покупает газету. Но его тень

здесь, в провансальском саду. Его тень двигает рукой, доставая деньги из кармана, его тень берет газету и вот, увеличенная, отяжелевшая от газетного листа, медленно скользит по освещенной солнцем лужайке в глубину и глушь сада, заворачивая за угол парижской улицы, заворачивая за предел двойного зрения и нереальности. Кира смотрит на часы. Одиннадцать. Нет, он сейчас не на улице, а на службе. В калитку входит почтальон. Черный, лохматый. Пушок лает. Почтальон протягивает ей в окно белый конверт. Он знает, что она невеста. — От жениха, — говорит он, дружелюбно подмигивая. — И задает же он мне работу. Прежде месяцами не ходил к вам, а теперь изволь каждый день...

День начинается письмом. Он пишет нежно, влюбленно. Его письма нравятся ей. Она читает их, как стихи. Она не связывает их с собой. Их влюбленность относится не к ней, а к какой-то абстрактной прелестной невесте. Он прислал ей свою фотографию. Она держит ее на ночном столике и часто рассматривает, знакомясь с ним. И этот жених на фотографии нравится ей. У него большой лоб, он так хорошо улыбается, у него красивые темные глаза. А она и не заметила. Она помнит только, что он высокий, что ей приходилось смотреть на него снизу вверх, подняв голову, когда они вместе шли и он делал очень большие шаги. А теперь на фотографии она наконец увидела его, он наконец понравился ей. Она узнала его по письмам, увидела на фотографии. Как будто прочла о нем в книге. О нем и о его влюбленности в прелестную невесту.

Повышенная заботливость тётки, смешное горе Аси еще более сгущают поэтическое облако вокруг Киры. Приданого ей не шьют и в доме по-прежнему тихо и пусто. Тётка по каталогу из Галери Лафайет выписала ей костюм, туфли и две смены белья. На этом кончаются все приготовления. Накануне свадьбы Кира бродит по дому одна, прислушиваясь к плачу в Асиной комнате. Лампы не зажжены. Луна смотрит в окна. Кира прижимается лбом к стеклу. Послезавтра она уже будет в Париже и не увидит ни этих кустов, ни этих елей. Она взволнованно вздыхает и оглядывается. Напротив окна висит

зеркало. В зеркале проплывает луна над белым отражением Киры. И эта луна в зеркале и это призрачное отражение переполняют ее томление, ее поэтическое волнение. Она прижимает руки к груди и быстро идет по коридору к сестре.

Ася лежит уткнувшись в подушку. — Ася, — тихо зовет Кира и садится к ней на кровать. — Не плачь, не плачь. — Ася поднимает голову и смотрит на нее сухими, блестящими, злыми глазами. — Что тебе надо? — Ася, я ведь не навсегда уезжаю. Я приеду на лето к вам. — Кира обнимает сестру, прижимается к ее щеке, веки ее дрожат, слезы медленно катятся по щекам. Она тихо плачет, не вытирая слез. Ей совсем не грустно, она не жалеет этого дома и этой жизни. Она плачет легко и бездушно, как плачут невесты в последний вечер перед свадьбой. Но Ася не понимает, Ася возмущается. — Ты то чего? Ты то, кажется, счастлива. — Ася вдруг крепко берет ее за руку. — Обещай, обещай мне, что выпишешь меня в Париж, что не оставишь меня здесь одну. — Ну, конечно, охотно — обещает Кира, — непременно приезжай. — Нет, нет, не так. Поклянись, что выпишешь меня не позже, чем через полгода. Поклянись! — Я и без клятвы... — Нет, нет, — перебивает Ася. — Клянись! — Клянусь. — рассеянно повторяет Кира. — Помни, ты поклялась! — кричит Ася. — Если не сдержишь клятвы, ты умрешь в мучениях, ты будешь проклята! — Кира отшатывается от сестры. — Что с тобой, Ася? Она смотрит в бледное, освещенное луной лицо Аси. — Ты похожа на лэди Макбет после убийства, — шутит она, но губы ее холодеют. — Перестань, не сходи с ума, Ася. — Ася лежит, отвернувшись к стене. — Помни, что ты поклялась, — глухо говорит она. Но Кира уже не слушает. Это все так непонятно и тягостно. Ведь они с Асей не близнецы, чтобы с такой болью отрываться друг от друга. Говорят близнецы сростаются душами и судьбами. Но сестры почти не связаны друг с другом. — Я пойду к тёте. Ей ведь тоже очень грустно, что я уезжаю, — и она быстро выходит из комнаты.

Утром приезжает Михаил Александрович. Такой, как на

фотографии. Ей кажется, что она здоровается не с ним, а с его фотографией. — Здравствуйте, здравствуйте. Как давно я вас жду. Как хорошо, что вы наконец приехали.

Они едут венчаться в мэрии. Кира стоит в своем новом костюме с букетом астр перед деревенским мэром, но ей кажется, что она в соборе, что она невеста в волнах фаты, в кружевах, со шлейфом, как млечный путь, с белыми лилиями в руках. И подвенечные свечи и пение. И всё так торжественно, прекрасно и поэтично. Как свадьба Китти, как свадьба матери или бабушки Киры.

И вот она уже в поезде. Она едет в Париж, домой, в забытый Париж, в незнакомый дом. Она сидит в купе I класса, рядом со своим мужем. Совсем как в романах. Сколько раз она уже отправлялась так, вместе с героиней книги, в свадебное путешествие. Но тогда ее, вместе с героиней, всегда осаждали сложные противоречивые чувства влюбленности, страха и томления. И еще непременно ощущение узких новых туфель придающее чувству влюбленности, страха и смятения оттенок физической боли. Но сейчас, совершая свое собственное реальное свадебное путешествие, она не испытывает ни влюбленности, ни страха, ни томления, и новые туфли не жмут и новый синий костюм не режет под мышками, не топорщится на спине и фетровая шляпа не слишком тяжела. Она всё-таки снимает ее и проводит рукой по коротким курчавым волосам. — Вот видите, — говорит муж, — я был прав, до свадьбы отросли. И как они красиво вьются. — Она кивает. — После тифа всегда вьются. — Она совсем спокойна, она чувствует только смутную неловкость от незнания, о чем заговорить. Но тема для разговора сама находится — темой разговора служит пространство и время — пространство все отдаляющее ее от старого дома, все приближающее к новому дому, пространство, мелькающее в окнах лесами, домами, полями и дорогами, по которым катятся назад в прошлое тяжелые возы, запряженные лошадьми, отставая от летящего ритма, которому подчинена теперь Кира с ее новой судьбой, ритма, заменяющего ответственные слова

и сознательные мысли. Пространство, сливающееся с временем. Ощущение длительности минут, глаза, внимательно следящие за стрелкой часов на руке мужа. — Мы едем уже полчаса. — И вздох. — Я не думала, что полчаса так долго. Я хотела бы уже быть дома. Сколько часов еще осталось? — Я совершенно счастлив. Такое счастье не может кончиться даже со смертью, — говорит муж и это именно то, что он должен был сказать, чего она ждала от него по опыту всех книжных свадебных путешествий. За окном в голубом пространстве заходит солнце. И этот закат, должно быть, оттого, что Кира смотрит на него из окна вагона, очень похож на описание заката в стихах.

И дальний закат, как персидская шаль,
Которой укутаны нежные плечи...

нежные плечи нежной невесты Михаила Александровича, нежные покатые плечи невесты, тающие там в жемчужном блеске на закатном горизонте.

Зачем драгоценные плечи твои,
Как жемчуг нежны и как небо покаты...

это о ней, о той невесте, а не о Кире. У Киры плечи угловатые, непохожие ни на жемчуг, ни на покатость неба. Свадебное путешествие. Ей кажется, что она только присутствует при нем. Меньше, конечно, чем при свадебных путешествиях героинь романов. Очень странное свадебное путешествие, в котором отсутствует невеста.

В Париж приезжают ночью. Она устала, но ей теперь хотелось бы, чтобы путешествие еще продолжалось до утра, до завтра. Их дом совсем не похож на городской — он маленький, двухэтажный, с садом, «чтобы это хоть немного напоминало вам Прованс». Как будто Прованс и воспоминания о нем ей дороги. Но дом всё-таки ей нравится. Из прихожей — студия с громадным окном с звездами, с белой лестницей, ведущей наверх в тесную кисейную спальню. Так театрально, так нереально, будто нарочно для нее придумано. — Лучше нельзя было найти, — говорит она. — Но разве можно здесь жить? — Он смеется — Вот увидите, как отлично будем здесь жить. А сейчас мы поужинаем. Вы не хо-

тите пока взять ванну и переодеться? — Во что? Весь мой гардероб на мне. — Он ведет ее в ванную. Он открывает шкаф. В шкафу розовые шелковые рубашки и рядом длинный белый шелковый халат, такой нарядный и легкий, похожий на подвенечное платье. — На сегодня хватит халата, — говорит он, а завтра мы купим все остальное.

Она даже не благодарит. Она стоит перед туалетом, уставленным флаконами, духами и пудрой. Неужели это для нее? Она садится в теплую ванну. Она кладет горсточку розовых душистых кристаллов на ладонь. Как они быстро тают в теплой воде. Как быстро тает усталость и смущение и — прошлое... Она надевает белый халат. Она смотрит на себя в зеркало и чувствует, что совершилось чудо. Она — та прелестная невеста, которой писались письма, невеста из романов, ничего общего не имеющая с ней, с Кирой. Или нет, она осталась Кирой, только слилась, воплотилась в «мечту о невесте». И вокруг этой новой Киры, этой «мечты о невесте», запахом духов, сыплющейся с пуховки пудрой, шуршанием шелка, вьется толпа героинь романов. Они все тут, с восхищением смотрят на Киру совсем так же, с таким же вдохновенным восхищением, с каким она когда-то смотрела на них. Будто роли переменились, они стали читательницами, она — героиней книги. Они все тут, вокруг нее. Они сдувают пудру с ее щек, поправляют ее волосы и белые складки ее халата. Они все влюблены в нее. И поддаваясь этой общей женской влюбленности, она, которая по очереди была влюблена в них во всех, впервые чувствует горячую влюбленность в себя. Они берут ее за руки и всей толпой ведут ее туда, в студию, где перед накрытым столом ждет ее муж. И ей совсем не страшно идти.

Утром она просыпается одна в широкой постели. Она смотрит на желтое стеганое одеяло, на кисейные занавески на квадратном окне. Снизу доносится хрупкий звон посуды, это, должно быть, ее муж расставляет чашки. Она прислушивается не к звону чашек, а к себе, шумному смятению в себе. Нет, это совсем не то, что она ожидала. Это совсем не

похоже на описание в книгах. Это не похоже ни на радость, ни на разочарование, ни на покой. Ничего общего с тем, что она ожидала. Книги обманули ее. И все героини романов, так нежно провожавшие, поддерживавшие ее, отступились от нее, бросили ее. Она одна. Она чувствует свою выброшенность за борт книжного мира. Ей там больше нет места. Она выброшена в жизнь. Да, это жизнь. Это впервые осознанное ею ощущение жизни. Ни литературы, ни мечтаний. Одиночество и жизнь. Ей страшно. Она привыкла к тому, что чужие чувства и мысли заменяют ее собственные. У нее еще нет ни собственных мыслей, ни чувств. Жизнь наступает на нее белизной простынь, солнцем сквозь тюлевые занавески, узором ковра, блеском стен. И главное — воспоминанием этой ночи. От нее, от этой жизни нечем защититься, стихи вдруг потеряли свою заклинательную силу, они просто слова, нанизанные на стержень ритма, они ничем не могут помочь. Да она и не помнит их. Голова пуста. Единственное, что сохранила память — это два слова — Михаил Александрович. И она, не зная даже хочет ли она его видеть или нет, зовет: Михаил Алексан... И сейчас же по звуку его шагов по лестнице понимает, что он один может ей сейчас помочь. — Нет не входите, — кричит она, — я сейчас... И шаги его снова спускаются. Она встает, она надевает свой длинный халат. Она стоит наверху и немного перегнувшись через перила, как с горы, смотрит вниз. Она смотрит на своего мужа. Это он, ее муж стоит там. Она рассматривает его внимательно и пристально, как рассматривала его фотографию. Но у него сейчас нет ничего общего с фотографией. Это не фотография, это живой человек. И вокруг этого живого человека живая жизнь. Она сразу, как небо до горизонта охватывает взглядом всю студию — солнце на стене, кресла, цветы, бобрик на полу и люстру. — Как прелестно, — говорит она неожиданно для себя. — Ах, как прелестно!.. — И этим неожиданным криком — «как прелестно» — сразу окрашивается вся ее жизнь. Да, она действительно прелестна. Совсем земная, прелестная жизнь, без всякой романтики и литературы.

Жизнь, своя собственная жизнь, которую она так старательно заменяла книгами, чужими мыслями, чужими чувствами, чужим горем. Но теперь больше нет надобности в чужом горе, теперь, когда так много собственного счастья, радости, молодости. Да, ощущение собственной жизни увеличилось, углубилось, обогатилось сознанием своей молодости, совсем незнакомым, никогда еще не испытанным ощущением молодости.

Вспоминая теперь о своей деревенской жизни, она говорит. — Мне кажется, я была тогда такой старой, такой старой, почти мертвой.

— Поедем покупать шкаф для твоих книг, — предлагает муж. Но она не хочет. — Куда же мы денем твои книги? Ведь ты привезла их целый ящик. — Пока придется обойтись без шкафа, и так много расходов. В будущем году может быть. А пока свали их в углу прихожей, или еще лучше, отправь весь ящик на чердак. — На чердак? Такое святотатство. — Он смеется и она смеется вместе с ним. — Не до книг теперь. Это в деревне, в старости было хорошо, когда тебя, Миша, не было. — И прислуга уносит ящик с книгами. — И всё-таки ты бессердечная, — вдруг говорит муж. — Так ты и меня выбросишь, когда разлюбишь. — Она кивает. — Не «к о г д а», а «е с л и». Только этого «если» никогда не будет.

О книгах не вспоминают больше. Читать теперь некогда. Ее теперь больше не удивляет, что муж влюблен в нее. Разве можно не быть влюбленным в нее? Влюбленность кажется ей самым естественным чувством. Разве можно не быть влюбленным? Она влюблена в себя, в своего мужа, в свою жизнь. Ведь без него, без этого милого Миши, она была бы по-прежнему старой, безобразной, несчастной там в Провансе с книгами, тёткой и Асей.

Ася... Мысль об Асе немного смущает ее. Ася пишет отчаянные письма. «Если ты не сдержишь клятвы, я отравлюсь. Так и знай». И хотя Кира совсем не скучает по ней, она все же просит мужа выписать Асю. И Ася приезжает в Париж.

Ее помещают в отеле на бульваре Сен-Мишель. Она учится рисовать. Ее часто приглашают обедать, ее берут с собой в театр и кинематограф. Она благодарна и тактична, как и полагается младшей сестре. Кира с ней снисходительно-добра, прощая ей ее приезд и расходы, вызванные им. Бедная Ася, конечно, ей было невыносимо скучно в деревне. Кира так счастлива, что ей хочется, чтобы и вокруг нее все были счастливы. Пусть себе учится рисовать. — Скоро Ася сама начнет зарабатывать, — утешает она мужа.

Так они живут год и все по-прежнему хорошо. Была поездка на море и поездка зимой в снег, на зимний спорт. От всего этого веселого шума трещит в голове. Но вот воспоминания докатились до вчерашнего дня и можно вздохнуть и закрыть глаза на черную пустоту и покой. Больше вспоминать решительно нечего. Она пересмотрела все прошлое. Оно, это прошлое, дерзко и незаконно воспользовалось ее болезнью, ее слабостью, чтобы снова ожить. Но теперь довольно. Она шумно вздыхает. Она напрасно надеялась, что с концом воспоминаний наступит облегчение. Ее по-прежнему мутит и голова продолжает кружиться. Сквозь головокружение, она старается понять, что же с ней случилось? До вчерашнего дня всё просмотрено, ощупано и ничего способного вызвать эту болезнь не нашлось. И всё-таки ей плохо, о, до чего плохо. Там, в прошлом все ясно. Но что было вчера? И снова надо вспоминать, черная пустота заполняется Асиным лицом, Асиным голосом. Да, Ася пришла, когда она еще не была одета и стала ее упрашивать поехать к ней. Ася пишет портрет американки, и американка очень хотела познакомиться с Кирой. — Пожалуйста, пожалуйста, поедем. Ты увидишь, какая она красивая, удивительная. И совсем сумасшедшая. И Кира соглашается. Муж всё равно не вернется завтракать. Она свободна. — Только оденься поэлегантнее, чтобы я могла гордиться, какая у меня сестра.

И вот американка. Да, Ася права — удивительная. Иначе не скажешь. Обесцвеченные до седины волосы и накра-

шенные лиловым губы, лиловые, как фиалки, и лиловые ресницы и сиреневые веки. Очень дико и очень красиво. Противоестественно. Да, в ней все противоестественно, будто она не живая, а придуманная нарочно, вышла из книги, одна из тех женщин, о которых Кира когда-то мечтала по ночам. Она — как забытое литературное впечатление, смутно волнует Киру — ведь с литературой начисто покончено, и вдруг будто опять читают стихи. Американка улыбается фиалковыми губами, жмуря лиловые ресницы и глаза ее от всей этой лиловизны тоже кажутся лиловыми. — О, какая красивая сестра, вздыхает она, не обращаясь ни к Асе, ни к Кире. — О, какая сестра!.. — И вдруг, вскочив с кресла, подбегает к Кире. — Можно поцеловать? — и не дождавшись позволения, целует Киру лиловыми, надушенными губами. Потом, вернувшись к креслу, решительно берет с него свою шубку. — Сеанса не будет сегодня. Портрет подождет. Поедем завтракать ко мне. — Но Кира не хочет. Нет, все это как-то слишком литературно, слишком выдумано. Ей не нравится. — Мне надо домой. Американка спорит, просит, в голосе ее слезы. О, ей так хочется. Неужели муж такой ревнивый? — Ко мне нельзя ревновать, ведь я женщина. — Она вдруг наклоняется и целует руку Киры. — Видите, как я униженно прошу. Теперь вы не можете не согласиться. — И Ася подталкивает сестру. — Поедем, у нее забавно. Я тебя предупреждала — сумасшедшая, но очень милая. Едем. — И Кира уступает. Они втроем садятся в машину американки. — Только к Прюнье завернем за икрой. Ах, для меня праздник, что вы согласились. Вы не пожалеете. Какие коктэйли я делаю! Зовите меня Пэни. Да, просто Пэни. Так дешево. Хотя я и одного пенни не стою. Но зовут меня, на самом деле, Пенелопа. Как нелепо. Даже мило, оттого, что слишком нелепо. Ждать Одиссея. Я всю жизнь жду. Я сама стала Одиссеем. Я странствую и жду.

Она смеется. — Я знаю очень много и очень мало. Зависит от предмета. О любви, например... — Она останавливает автомобиль перед подъездом и так и остается неизвестным очень

ли много или очень мало эта Пэни знает о любви. — Она, правда, забавная, — шепчет Ася, входя в лифт.

Прислуга в наколке открывает дверь. — Три прибора. У меня чудные гостьи. И чтобы завтрак был страшно вкусный, не то я вас завтра же рассчитаю, — кричит Пэни, бросая ей шубу. Она вбегает в гостиную, наклоняется над складным баром и вот ее руки с лиловыми ногтями уже наливают разноцветные жидкости в шекер, уже трясут его. — Скорей, скорей, выпьем за дружбу. За женскую дружбу. И за сегодня!

Коктэйль такой крепкий, он обжигает горло и мысли. Даже глаза. Глаза начинают гореть и видеть всё по-новому и очень забавному. Стол накрывают тут же, в гостиной. Пэни задергивает шторы на окнах, зажигает свечи в хрустальных канделябрах. — Чтобы была ночь, — объясняет она. — По-настоящему счастливыми можно быть только ночью. А мне так хочется быть счастливой сегодня. — Она щурясь улыбается. — Вы не думайте, что я сумасшедшая!.. Но жить скучно, о, до чего скучно. А сегодня вы у меня и я хочу, чтобы... — она останавливается, подыскивая слово, — нет не весело, веселья мне мало, — чтобы было чудесно, восхитительно, неправдоподобно — она наклоняется и снова целует Киру своими надушенными губами. — Я хочу чтобы вы никогда не забыли этого завтрака. — И она протягивает ей новый коктэйль. Кира пьет. Ее уже ничто не удивляет и всё смешит. — Вы милая, Пэни, и ты, Ася, тоже милая. И вы обе смешные. — Пэни трясет шекер, высоко подняв руки, вся изогнувшись назад, как испанская танцовщица, с вдохновенным, устало-страстным лицом. — Вот попробуйте, этот еще лучше, — и она наполняет стаканы. Они садятся за стол. Свечи отражаются в круглом зеркале на столе. Свечи и розы. Пэни ухаживает за Кирой, накладывает ей икры, наливает вина. — Вкусно? — Она проводит языком по губам. — Язык не лиловый, а бледный, скорей желтоватый, чем розовый. И это неприятно. — Почему, — спрашивает Пэни Асю, — вы не нарисуете сестру? — Не люблю таких маринованных ангелов, — отвечает Ася. — Маринованных? — Кира

роняет вилку, Пэни хохочет. — Не обижайся, — говорит Ася по-русски, — ты, правда, похожа на ангела, а маринованный — для диалектики, для остроумия, чтобы ей польстить. — И Ася продолжает уже по-французски. — Мне нравятся такие лица, как у вас, Пэни, — искусственные и лживые. И то, что вы могли быть просто классически красивы и всячески боретесь с этим. — Пэни хохочет. — Ах, эти художники! Но я вам всё-таки закажу портрет Киры, совсем наивный и ангельский. С тем, чтобы я присутствовала на сеансах.

Прислуга подает куропатку, салат с ананасом и орехами. Потом спаржу с чем-то похожим на сбитые сливки. И Пэни все время подливает вино. Звонок. — Меня нет дома, — кричит Пэни так громко, что верно слышно на лестнице. И прижимает палец к губам. — Т-с-с-с! — Но дверь в гостиную шумно открывается. — Так вас, Пэни, нет дома? — Убирайтесь вон, Ренэ! — кричит Пэни. — Вон! Вас как раз совсем не надо. Убирайтесь, или я вас убью! — Но он всё-таки входит этот Ренэ, как будто не слышит ее крика. Он кланяется и представляется — Ренэ Лотри. — Потом садится между Асей и Кирой. — А с вами, лгуньей, я и здороваться не хочу. — Пэни протягивает руку и гладит его волосы. — Что же, вы, пожалуй, правы. Я бы тоже не ушла, увидев ее, и она щурится на Киру. Даже если бы меня убили. Но я всё-таки страшно зла, что вы пришли. Страшно зла. А теперь, раз вас уже не выгнать, пейте скорее. Я хочу быть пьяной сегодня.

— Нельзя ли потушить свечи и открыть шторы? Это довольно отвратительно и действует на нервы. — Пэни трясет головой. — Нельзя. У нас уже ночь. И это не отвратительно, а очаровательно. — Кира, он писатель. — Да, уже почти знаменитый. И безвкусный любитель простоты. — Кира поворачивается к нему и впервые смотрит на него. — Писатель? Знаете, если бы я с вами познакомилась два года тому назад, это было бы для меня событием. Я тогда так любила писателей. — Событием? — Пэни смеется. — Ну, я думаю, на это он не претендует. С него достаточно быть приключением.

— Она обнимает Киру. Но и приключения не выйдет. Об этом уж я позабочусь. Я сама отвезу вас домой. Так и запомните, Ренэ. Но почему не дают сладкого? — Она звонит. — Где же сладкое, где кофе?

Ася смотрит на часы. — Мне скоро надо идти на урок. — Урок? Но ведь сегодня у нас праздник... Пэни объясняет: — Подумайте, он был в России. И он коммунист. О, дорогие мои, как забавно! Ведь вы русские. — Вся лиловизна ее глаз, губ и платья приходит в движение, она всплескивает руками. — Вы эмигрантки! — Я ненавижу эмигрантов, — говорит он грубо. — Такая страна, как Россия! Как вы согласились уехать? Как вам не было стыдно? — Вопрос поставлен прямо Кире и хотя она уже пьяна, он доходит до нее. Она пожимает плечами. — Ну, меня не очень то спрашивали, ведь я родилась уже здесь. — Но как вы могли не вернуться в Россию? — Пэни машет на него салфеткой. — Довольно, довольно. Без политики!.. — Он замолкает. Его левая рука, лежащая на скатерти, сжимается в кулак. Значит он левша, это удивляет Киру. — Вы левша? — говорит она ему. — И вы очень злой. — Злой, возможно, но не левша. Человек должен владеть обеими руками одинаково, это способствует развитию мозга... — Но она уже не слушает его.

Ася встает. — Мне действительно надо идти, ты остаешься? — Нет, нет, Кира хочет встать, но Пэни крепко держит ее, прижимаясь к ней, дыша на нее духами. — Не пущу. — И Ася тоже уговаривает. — Куда тебе торопиться? — Кира вдруг чувствует себя слабой и усталой. Торопиться некуда и так утомительно бороться.

Они остаются втроем. Пэни заводит грамофон. Пересаживает Киру рядом с собой на диван. Ренэ садится на подушку у их ног. — Вы видели, какие у нее руки, а какие волосы, какие глаза? — и Пэни поочередно целует руки, волосы и глаза Киры. Потом вскакивает и принимается приготовлять новый коктэйль.

Блеск бутылок, громыханье льда. Пэни, высоко подняв шекер, трясет им над головой, пританцовывая. И вот снова

надо держать рюмку, снова надо глотать, хотя и трудно. Ренэ пьет и морщится. — Пойло, — говорит он. — Дайте я сделаю. — И он, в свою очередь возится у бара. — Я поеду тебя провожать, — шепчет Пэни Кире. — Мы сейчас уедем с тобой. О скорей бы, скорей. — Почему на ты и куда она торопится? Кира не успевает сообразить, Ренэ уже возвращается. — Попробуйте-ка, мой лучше, — он протягивает Пэни стакан. Пэни пьет. — Ах, что это такое? — вскрикивает она и вдруг вся оседает и мякнет. — Вы победили, поздравляю, — она закрывает глаза, опускается на подушки и лицо ее медленно бледнеет.

— Готова, — торжествует Ренэ. — Идем скорее. — Но Кира не понимает. Куда, зачем им торопиться? — Идем же, — он берет ее за руку и заставляет встать. — Пэни спит, не надо ее будить. Я довезу вас до дома.

Въ прихожей он надевает на Киру пальто. Держите сумку и шляпу. — Не потеряйте. — Он выводит ее на лестницу, вталкивает в лифт. — Не падайте. Осторожно. Ступенька. — Я совсем, совсем... Она делает слабый жест рукой. — Да, вы совсем пьяны. — Надо сесть в автомобиль. Он поддерживает ее и вот она сидит рядом с ним, свесив голову на-бок, бессмысленно глядя на мельканье домов и прохожих. — В таком виде вам нельзя показаться домой. Мы заедем выпить кофе, это вас отрезвит. Хорошо еще, что я спас вас от этой хищницы. — Почему хищница? — Ну, вылезайте. На воздухе она совсем опьянела, она качает головой. — Не могу. — Он берет ее под руку. — Не падайте. Правую ногу вперед. Нагнитесь. — Она стоит на тротуаре. — А теперь войдем в кафэ, прилично. Подтянитесь! — Он ведет ее, она старается только не споткнуться. — Теперь лестница, — предупреждает он. — Вниз. Так, правильно. Она опускается. В узком зеркале отражаются только ноги, спускающиеся по ступенькам, отрезанные ноги, больше ничего. И это страшно и отвратительно. Но она уже внизу, на диване, свалена как груда тряпья. — Пейте кофе, — говорит голос Ренэ. — Оставьте сумку, держите крепко чашку. Не пролейте. — Она

глотает горячий, горячий кофе. — Лучше? — Кажется, да. — Сейчас отойдете. Выпейте только еще рюмку коньяку и можно будет домой ехать. — Да, домой. Я хочу домой. — На стене напротив большие часы. Одна стрелка внизу, другая сбоку. Она долго не может понять который час. И вдруг громко говорит, гордясь своей сообразительностью, — Без четверти шесть. — Но на этой вспышке гордости все обрывается. Дальше нет ничего...

Дальше — только возвращение домой. Между без четверти шесть и домом нет ничего. — «Теперь уже одиннадцать», — сказал муж. Что происходило между без четверти шесть и одиннадцатью? От желания вспомнить, только сильнее болит затылок. Вспомнить ничего нельзя. Но ведь все эти часы и минуты она была где-то, делала, говорила что-то. Жизнь не могла остановиться на без четверти шесть, как часы, у которых вышел весь завод, чтобы снова затикать, застучать перед дверью ее дома. Нет, жизнь продолжалась, паузы не было, она прожила это время от кафэ до возвращения домой. Но в памяти, вместо воспоминаний дыра и эта дыра болит и мучит ее тоской, непониманием и страхом. Она поднимает голову и садится. Постель приходит в движение и начинает кружиться, будто она катается на карусели. И всё-таки, сквозь это кружение, она старается рассмотреть, найти потерянное время. Но его нет. Его нет нигде. Оно пропало, она потеряла его, его украли у нее. Ей надо найти его, непременно. Сейчас же. Провал между кафэ и возвращением домой зияет у самой постели. Она хватается за спинку кровати, чтобы не упасть в него и снова падает на подушку. Вместо воспоминания об этих часах — черные буквы на белой странице — «Человек, который потерял пятницу». Название рассказа. Ах, опять литература, как всегда, когда ей плохо. Да, очень плохо. Из ее жизни выпало только несколько часов — пять, не больше и вот весь стройный рисунок ее жизни нарушен и вся ее жизнь лежит грудой мусора и щепок, как поезд после крушения. Но ведь потеряно так мало, что значат пять часов по сравнению с двадцатью годами ее жизни?

Какой нибудь винт, или гайка, и всё-таки поезд сошел с рельс и она лежит раздавленная под его обломками. И этот отвратительный вкус промокательной бумаги во рту.

Но где же ее муж? Почему он не поможет ей? — Миша, — стонет она. И сразу слышит его шаги уже звучащие, как обещание помощи, как утешение. Дверь открывается слегка, электрический свет узкой полосой, как влажный лунный луч перечеркивает комнату и ложится на постель, на грудь Киры обещанием помощи и утоления жажды. В полосе этого утешительного света стоит ее муж. — Тебе дурно? Дать тебе воды? — Да, да, Миша, и не уходи. — Он наклоняется к ней и, поддерживая ее голову, дает ей пить. — Господи, в каком ты состоянии. — Мне плохо, — жалуется она, глотая воду. Он кладет ей мокрый платок на лоб. — Скажи мне, где ты была? — спрашивает он, разрушая этим вопросом добро от сочувствия и превращая добро в зло. — Где ты была? — Он только-что был ее единственной надеждой и она уже собирала силы, чтобы сказать ему «С тобой, Миша, мне легче. Спасибо». Но сейчас она тратит эти силы на крик. — Ведь я тебе уже сказала. Не мучь меня. Уйди! — Так ты не скажешь? — Он ждет немного, она молчит. Ей нечего ему сказать. Она сама не знает, она сама мучится своим незнанием. Но она понимает, что сознаться в своем незнании нельзя, сказать правду нельзя. Надо лгать. И она лжет. — Я была с Асей у американки. Больше нигде. — Так ты не скажешь? — повторяет он, будто не слыша ее слов. — Хорошо, как хочешь...

И он уходит. Она лежит в еще большем смятении, непонимании и тоске, чем до его прихода. Но ведь она ни в чем не виновата. И ей так дурно, так тяжело. И некого позвать. Некому пожаловаться.

Она прислушивается. В доме совсем тихо, будто дом пустой. На улице тоже тихо, ни автомобилей, ни шагов прохожих. И вдруг в этой тишине — голодный крик кошки. Такой невралгический, жалующийся. Крик повторяется еще и еще. Не может быть, что только голод и бездомность заставляют

кошку кричать так. Нет это сама Кира жалуется криком кошки. Кира слушает, закрыв глаза. Невралгический крик зигзагами разрывает тишину. И вот круглая, белая луна, черное небо, высокие, похожие на горные хребты, крыши и она сама, Кира, тощая облезлая кошка осторожно прижимается к дымовой трубе и бессмысленно и безнадежно мяукает. Она осторожно цепляется за карниз, она что-то ищет в водосточной трубе. Это она, Кира, это она на залитой луной крыше ищет потерянное время. Ищет, выгибая спину. Она переселилась в кошку с той же непонятной легкостью, с которой когда-то переселялась в героинь романов. Когда-то, когда ей было плохо. Ощущение себя ускользает, внимание не желает сосредоточиться. Ей кажется, что ее сознание, ее жизнь бегут от нее, ищут новую форму, новое тело, в которое они могли бы войти. И вот они нашли голодную кошку, оскорбительно нарушающую своим криком тишину ночи. По водосточной трубе, выпустив когти, карабкаясь и обрываясь. Прыжок и она внизу на тротуаре у входа в дом. Но дверь заперта и никто не откроет. Она одна под луной в иступленной кошачьей тоске. И это отвратительно и страшно. Она медленно обходит дом на своих тощих, качающихся ногах без всякой надежды найти еду, теплый угол, потерянное время. Без всякой надежды, трагическим криком зовя на помощь, умоляя, жалуясь, упрекая судьбу. Без всякой надежды, пока, окончательно ослабев от крика и тоски, не падает в оцепенение и сон.

Кира просыпается только к вечеру. Прислуга уже собирается уходить. Кира трет виски одеколоном, нюхает нашатырный спирт, берет ванну, с жадностью пьет холодное молоко. Молоко. Воспоминанье о кошке. Кошки любят молоко. Нет, больше не мутит и голова не кружится. Она смотрится в зеркало. Какая она растрепанная, помятая. Она аккуратно причесывается, пудрится. румянится. Но внутри все остается по-прежнему растрепанным и помятым. Это не отчаяние, вчерашнее отчаяние и тошнота... Но смятение осталось, как и воспоминание о непонятно исчезнувшем времени. Она наде-

вает голубое платье с отложным воротничком. Чистый накрахмаленный хруст и эта свежая наивная голубизна действуют успокоительно. Она садится у окна, стараясь привести в порядок свои смятенные мысли, услышать внутри себя тот же легкий, чистый хруст, увидеть ту же свежую голубизну. Но это не удается. Сейчас вернется муж. Ей впервые не хочется, чтобы он так скоро возвращался. Но он придет и снова начнется допрос. Допрос. Суд. Надо подготовиться к защите и она готовится. Она пишет Асе. Только несколько слов. «Я вернулась в одиннадцать пьяная. Сказала, что американка завезла меня первую, потом тебя. Помни». «Помни» подчеркнуто. Кира терпеть не может подчеркивать слов в письмах, но так можно не объяснять о Мише, не прибавлять лишних строчек. И она проводит вторую черту под «помни».

— Отнесите сейчас же и можете идти. Больше ничего не надо, — говорит она прислуге.

Прислуга уходит. Кира сидит перед открытым окном, ветер треплет занавески и ей кажется, что занавески тоже волнуются, вздрагивают, боятся чего-то. Если бы можно было вспомнить. Без четверти шесть. А потом, потом? Она вернулась с шляпой и сумкой в руках. Она не потеряла даже перчаток. Она не потеряла ничего кроме нескольких часов, вынутых из хода ее жизни, из ее памяти. И вот она не может думать ни о чем, кроме них.

Ирина Одоевцева

ЗАОЗЕРЬЕ

Отец Алексей из Заозерья —
Берестяный светлый поп,
Бородка — прожелть тетерья,
Волосы — житный сноп.

Весь он в росе кукушей
С окуньим плеском в глазах,
За пазухой бабьи души,
Ребячий лоскутный страх.

Дудя коровьи молебны
В зеленый Егорьев день,
Он в воз молочный и хлебный
Свивает сны деревень.

А Егорий Поморских писем
Мчится в киноварь, в звон и жуть,
Чтобы к стаду волкам да рысям
Замела метелица путь,

Печатаемая нами поэма Н. Клюева «Заозерье» появилась в начале двадцатых годов в мало распространенном тогда, и сейчас недоступном альманахе «Петроградские поэты». Это произведение Н. Клюева осталось неизвестным зарубежному читателю и почти неизвестным советскому, ибо позднее, как многие стихотворения Клюева, оно стало «запретным» и не перепечатывалось. Мы печатаем «Заозерье» со списка, переданного Н. Клюевым профессору Этторе Ло Гатто в Ленинграде в 1929 году. Редакция приносит профессору Ло Гатто свою благодарность.

Судьба другого произведения Н. Клюева «Плач о Есенине» одинакова с судьбой «Заозерья». Это произведение появилось в 1927 году отдельной книжкой, но вскоре книжка была изъята и никогда больше не перепечатывалась. «Плач о Есенине» мы печатаем с, вероятно, единственного экземпляра книги, имеющегося за рубежом. За предоставление его нам редакция приносит благодарность худ. Н. В. Зарецкому. «Плач о Есенине» мы печатаем не полностью. РЕД.

Чтоб у баб рожались ребята
Пузатей и крепче реп,
И на грудях ржаного злата
Трепака отплясывал цеп.

Алексею ру́жит деревня,
Как Велесу при Гостомысле...
Вон девка несет не кре́ня
Два озера на коромысле.

На речке в венце сусальном
Купальница Аграфёна,
В лесах зарит огнепально
Дождевого Ильи икона.

Федосья-колосовица
С Медостом-богом овечьим
Велят двуперстьем креститься
Детенышам человечьим.

Зато у ребят волосья
Желтее зимнего льна.
В парчевом плату Федосья, —
Дозорит хлеба́ она.

Фролу да Лавру работа
Пасти табун во лесах; —
Оттого мужичьи ворота
В смоляных рогатых крестах.

Хорошо зимой в Заозерьи:
Заутренний тонок звон,
Как будто лебяжьи перья
Падают на амвон.

А поп в пестрядинной ризе,
С берестяной бородой,
Плавает в дымке сизой,
Как сиг, как окунь речной.

Церквушка же в заячьей шубе
В сердцах на Никона-кобеля: —
От него в заруделом срубе
Завелась скрипучая тля!

От него мужики в фуражках,
У парней в раскидку часы!
Только сладко в блинах да олашках,
Как в снопах, тонуть по усы.

А уж бабы на Заозерьи, —
Крутозады, титьки как пни,
Все Мемелфы, Груни, Лукерьи,
По веретнам считают дни!

У баб чистота по лавкам,
В печи судачат горшки;
Синеглазым Сенькам да Савкам
Спозаранка готовь куски.

У Сеньки кони — салазки,
Метель подвязала хвост...
Но вот с батожком и в ряске
Колядный приходит пост.

Отец Алексей в притворе
Стукает об пол лбом,
Чтоб житные сивые зори
Покумились с мирским гумном.

Чтоб водились сиги в поречьи,
Был добычен прилет гусей...
На лесного попа, на свечи
Смотрит Бог, озер голубей.

Рождество — звезда золотая,
Воробьиный ребячий гам; —
Колядою с дальнего края
Закликают на Русь Сиам.

И Сиам гостит до рассветок
В избяном высоком углу —
Кто не видел с павлинами клеток,
Проливающих яхонт во мглу?

Рождество — калач златолобый,
После святки — вьюг помело, —
Вышивают платки зазнобы
На морозное глядя стекло.

В Заозерьи свадьбы на диво, —
За невестой песен суслон,
Вплетают в конские гривы
Ирбитский, Суздальский звон.

На дружках горят рубахи
От крепких, девичьих губ...
Молодым шептухи да свахи
Стелют в горнице волчий тулуп.

И слушают избы и звёзды
Первый звериный храп,
У елей, как сев в борозды,
Сыплется иней с лап.

Отцу Алексею ру́га
За честной и строгий венец...
У зимы ослабла подпруга,
Ледяной взопрел жеребец.

Эво! Масленица навстречу,
За нею блинный обоз!...
В лесную зыбель и сечу
Повернул пургача мороз.

Великие дни в деревне —
Журавлиный плакучий звон,
По мертвой снежной царевне
Церквушка правит канон.

Лиловые павечерья,
И, как весточка об ином,
Потянет из Заозерья
Березовым ветерком.

Христос Воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ!...
И у елей в лапах простертых
Венки из белых купав.

В зеленчатом сарафане
Слушает звон сосна.
Скоро в лужицу на поляне
Обмокнет лапоток весна.

Запоют бубенцы по взгорью,
И как прежде в тысячах дней,
Молебном в уши Егорью
Задудит отец Алексей.

АГРАФЕНА-КУПАЛЬНИЦА — 6 июля (23 июня старого стиля), канун Ивана Купала. В северных губерниях в этот день впервые купаются; в некоторых местностях в этот день общее купанье с песнями.

ЕГОРИЙ — Егорий Вешний, Пламенный Егорий — св. великомученик Георгий Победоносец, память коего празднуется 23 апреля — ст. ст. — 6 мая н. ст.

ЗАОЗЕРЬЕ — обычно так называется Заонежье, в поэме Клюева — именно оно.

ИЛЬЯ ДОЖДЕВОЙ — «Илья Мокрый» в Господине Великом Новгороде — св. Пророк Илья 20 июля ст. ст. — 2 августа н. ст.

ПОМОРСКОЕ ПИСЬМО — иконы письма старообрядческих скитов Поморья и Заозерья — Выговской обители, мастеров-федосеевцев и т. д.

РУГА — сбор годичного содержания священнику от прихода — деньгами, хлебом и припасами.

РУЖИТЬ — оделять ругою.

ФЕДОСЬЯ-КОЛОСОВИЦА — день 29 мая ст. ст. — 11 июня н. ст. — хлеба начинают колоситься.

Б. Ф.

ПЛАЧ О ЕСЕНИНЕ

«Младая память моя железом погибает и тонкое мое тело увядает....»

(Плач Василька, князя Ростовского)

«Мы свое отбаяли до срока —
Журавли, застигнутые вьюгой.
Нам в отлет на родине далекой
Снежный бор звенит своей кольчугой»

**
*

Помяни, чортушко, Есенина
Кутьей из углей да омылков банных!
А в моей квашне пьяно вспенена
Опара для свадеб да игрищ багряных.

А у меня изба новая —
Полати с подзором, божница неугасимая.
Намел из подлавочья ярого слова я
Тебе, мой совёнок, птаха моя любимая!

Пришел ты из Рязани платочком бухарским,
Не стираным, не полосканым, не мыленым,
Звал мою пазуху улусом татарским,
Зубы табунами, а бороду филином!

Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка,
Слюной крепил мысли, слова слезинками,
Да погасла зарная свеченька, моя лесная лампадка,
Ушел ты от меня разбойными тропинками!

Кручинушка была деду лесному,
Трепались по урочищам берестяные седины,
Плакал дымом овинник, а прясла солому
Пускали по ветру, как пух лебединый.

**
*

Из-под кобыльей головы, загиблыми мхами
Протянулась окаянная пьяная стежка,
Следом за твоими лаковыми башмаками
Увязалась поджарая, дохлая кошка.

Ни крестом от нее, ни пестом, ни мукой,
Женился ли, умер — она у глотки,
Вот и острупел ты веселой скукой
В кабацком буруне топить свои лодки!

А все за грехи, за измену зыбке,
Запечным богам Мелосту и Власу.
Тошнехонько облик кровавый и глыбкий
Заре вышивать по речному атласу.

Рожóное мое дитятко, матюжник милый,
Гробовая доска — всем грехам покрышка,
Прости ты меня борова, что кабаньей силой
Не вспоил я тебя до златого излишка!

Златой же удел — быть пчелой жирóвой,
Блюсти тайники, медовые срубы,
Да обронил ты хазарскую гривну — побратимово слово,
Целовать лишь ковригу, солнце да цвет голубый.

С тобою бы лечь во честной гроб,
Во желты пески, да не с веревкой на шее!
Быль иль не быль то, что у русских троп
Вырастают цветы твоих глаз синее?

Только мне горюну — горынь трава...
Овдовел я без тебя, как печь без помяльца,
Как без Настеньки горенка, где шелки да канва
Караулят пустые, нешитые пяльца!

**
*

Ты скажи, мое дитятко удатное,
Кого ты сполохался-спужался,
Что во темную могилушку собрался?
Старичища ли с бородою,
Аль гуменной бабы с метлою,
Старухи ли разварухи,
Суковатой ли во играх рюхи?
Знать, того ты сробел до смерти,
Что ноне годочки ползли слезовы,
Красны девушки пошли обманны,
Холосты ребяты все бесстыжи!

**
*

Отцвела моя белая липа в саду,
Отзвенел соловьиный рассвет над речкой.
Вольготней бы на поклоне в Золотую Орду
Изведать ятагана с ханской насечкой!

Умереть бы тебе, как Михайле Тверскому,
Опочить по мужицки — до рук борода!
Не напрасно по брови родимому дому
Нахлобучили кровлю лихие года.

Не спроста у касаток не лепятся гнезда,
Не играет котенок веселым клубком, —
С воза сноп недовязок в пустые борозды
Ты упал, чтобы грудь испытать колесом.

Вот и хрустнули кости... По желтому жнивью
Бродит песня-вдовица — ненастью сестра...
Счастливее елка, что зимнею синью
Окутана саваном ждет топора.

Разумнее лодка, дырявые груди
Целящая корпией тины и трав...
О жертве вечерней иль новом Иуде
Шумит молочай у дорожных канав?

***

Мой край, мое поморье,
Где песни в глубине, Твои
лядины, взгорья,
Дозорены Егорьем
На лебеде-коне!

Твоя судьба — гагара
С кащеевым яйцом,
С лучиною стожары,
И повитухи-хмары
Склонились над гнездом.

Ты посвети лучиной
Синебородый дед! Гнездо
шумит осиной,
Ямщицкою кручиной
С мятелицей во след.

За вьюжною кибиткой
Гагар не скор полет ...
Тебе бы сад с калиткой,
Да опашень в раскидку У
лебединых вод.

Боярышней собольей
Привидился ты мне,
Но в сорок лет до боли
Глядеть в глаза сокольи
Зазорно в тишине.

Приснился ты белицей —
По бровь холстиной плат,
Но Алконостом птицей,
Иль вещею зегзицей
Не кануть в струнный лад.

Остались только взгорья,
Ковыль, да синь-туман,
Меж тем как редкоборьем
Над лебедем Егорьем
Орлит аэроплан.

УСПОКОЕНИЕ

Падает снег на дорогу —
Белый ромашковый цвет,
Может, дойду понемногу
К окнам, где ласковый свет.
Топчут усталые ноги
Белый ромашковый цвет.

Вижу за окнами прялку,
Песенку мама поет,
С нитью веселой вповалку
Пухлый мурлыкает кот,
Мышку-вдову за мочалку
Замуж сверчок выдает.

Сладко уснуть на лежанке —
Кот — непробудный сосед,
Пусть забубнит в позаранки
Ульем на странника дед,
Сед он, как пень на полянке —
Белый ромашковый цвет.

Только б коснуться покоя
В сумке огниво и трут
Яблоней в розовом зное
Щеки мои расцветут,
Там, где вплетает левкои
В мамины косы уют.

Жизнь — океан многозвонный
Путнику плещет во след.
Волгу ли, берег ли Роны —
Все принимает поэт...
Тихо ложится на склоны
Белый ромашковый цвет.

Николай Клюев

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. КЛЮЕВЕ

Я познакомился с Николаем Алексеевичем Клюевым в 1929 г. в Ленинграде. Слова, которые он написал в виде посвящения мне на втором томе своего «Песнослова», напоминают об этой первой нашей встрече, отмечая день, в который он подарил мне книгу: «День Похвалы Пресвятые Богородицы».

Я был в Ленинграде еще раньше, в 1928 г., когда я ездил в СССР на празднование столетия со дня рождения Л. Н. Толстого. Но в это мое короткое пребывание в бывшей столице ни итальяновед С. С. Мокульский, ни писатель Н. Н. Никитин, которые были моими проводниками, не вспомнили почему-то о Клюеве в числе ленинградских писателей.

О Клюеве я, впрочем, в то время знал мало. В моей библиотеке из его вещей имелись только книги берлинского издательства «Скифы», и то, что я писал о нем в моей вышедшей в 1923 г. книжке "Poesia russa della rivoluzione", было основано главным образом на чужих суждениях и цитатах. Я, конечно, тоже подчеркнул, как было тогда принято, его духовное родство с Есениным и общее им крестьянское происхождение. Лишь позже, после того как я услыхал о нем от М. Горького и от В. Ф. Ходасевича, я понял, что родство это гораздо менее тесное, чем утверждал А. Ященко в эмигрантском журнале «Русская Книга» в 1921 г. Когда в 1929 году я упомянул об этом духовном родстве с Есениным самому Клюеву, мне пришло в голову, что Клюев не только удержал гораздо больше от своего мужицкого происхождения, чем Есенин, но что у него осталось от него, помимо тоски, и подлинное религиозное чувство. Это явилось позже причиной огульного осуждения его поэтического наследия, тогда как Есенин, всегда менее религиозно настроенный, в какой-то мере выдерживал и революционный климат.

По словам Клюева, Есенин писал кощунственные стихи.

«Воспоминания о Клюеве» известного итальянского слависта, автора многотомной «Истории русской литературы», двухтомной «Истории русского театра» (1952) и других трудов по русской, а также чешской литературе, профессора Этторе Ло Гатто, написаны для «Нового Журнала» по просьбе Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, которым (узнав о готовящемся в изд-ве Имени Чехова под редакцией Б. А. Филиппова издании полного собрания стихотворений Н. Клюева) проф. Этторе Ло Гатто прислал имевшиеся у него три произведения Клюева, переданные ему самим поэтом: нигде не печатавшуюся поэму «Погорельщина», «Деревню» и «Заозерье». РЕД.

Клюев говорил мне об этом со скорбью, показывая мне — я это хорошо помню — свое собрание икон и объясняя мне ценность их, как запечатления образа Божия в сердцах народа.

О первых беседах, ознаменовавших начало нашей дружбы с Клюевым, у меня после стольких лет естественно сохранилось немного смутное воспоминание, и я не исключаю возможности того, что к этому воспоминанию примешалось и то, что я узнал впоследствии о Клюеве, читая его стихи или беседуя о нем с писателями, с которыми я познакомился позднее, особенно в 1931 г., когда я всего дольше прожил в России. Должен отметить тут же, что мне показалось, что собратья-поэты все еще ценили Клюева. Не могу сказать, впрочем, играло ли тут роль формальное своеобразие его поэзии — отголоски НЭП'а, несмотря на «социальный заказ» и на мобилизацию искусства и литературы на службу первой пятилетке, все еще были живы — или же тот факт, что в стихах Клюева еще веял ранний дух революции, которая уже сама успела изменить свое лицо. Общеизвестно, что после революции Клюев более или менее примыкал к движению т. н. «скифов», к которому в известном смысле принадлежали Есенин, Андрей Белый и Блок. О «скифстве» и о его вожде, ныне покойном Р. В. Иванове-Разумнике я много разговаривал с самим Клюевым. У меня не создалось, однако, впечатления, что он продолжает быть убежденным сторонником этого течения, хотя сами «скифы» и превозносили его как поэта, всего успешнее осуществившего в поэзии слияние традиционного мистицизма с революционной стихией, в 1917 г. перевернувшей Россию вверх дном. Клюев сам говорил мне в 1929 г. — т. е. до того, как на него ополчилась официальная критика — что одной из причин неблагожелательного отношения к нему власть имущих было его восхваление революции как взрыва стихийных сил. Я указал ему тогда — сужу по сохранившимся у меня записям того времени — что и Блок тоже говорил о стихийной революции как о воплощении духа музыки, на что он возразил мне, что у Блока это было лишь теоретическим умствованием, тогда как у него за этим лежало внутреннее религиозное переживание.

Правду сказать, во всех наших разговорах Клюев произвел на меня впечатление человека не склонного теоретизировать. Ведь когда его слава, как «революционного поэта» поблекла, он вернулся в родные свои места, на Онежское озеро и об этих родных местах говорил охотнее, чем о чем-либо другом. С этим возвратом Клюева к родным истокам у меня связаны два воспоминания, которые, думается, не лишены интереса. Одно касает-

ся его наружности и повадок. Должен сказать прежде всего, что Клюева привел ко мне в итальянское консульство в Ленинграде его земляк, Алексей Павлович Чапыгин, вошедший, как и он, в литературу до революции, но также увидевший в последней торжество мужицкого начала. Чапыгин, как известно, после нескольких лет молчания выступил с ромнаном «Степан Разин», в котором революция была показана как стихийный мужицкий бунт.

В 1929 г. Клюев еще носил русскую рубашку, которая производила странное впечатление в сочетании с надетым поверх нее обыкновенным городским пиджаком и брюками, заправленными в сапоги с голенищами. Насколько верны рассказы о том, что еще до революции он являлся в таком наряде в самые шикарные рестораны Петербурга, я не могу сказать, ибо его об этом не расспрашивал. Он интересовал меня прежде всего как человек и художник, а не с точки зрения фольклора. Почти во всех образах современной русской литературы отмечаются «фольклорные» черты его личности, как бы для того, чтобы подчеркнуть контраст с теми чисто литературными влияниями, которым он подпал. Может быть, в многочисленных наших беседах, когда он навещал меня или я бывал у него, я напрасно не проявил больше интереса к этой стороне его личности, но мне сдается, что, если я пользовался его доверием и дружбой, то это было главным образом благодаря моему человеческому, а не литературному интересу к нему. Этому доверию я был обязан тем, что позднее, уверенный во мне, он доверил мне рукопись своей поэмы «Погорельщина», которую считал своим magnum opus, но опубликовать которую в России ему, разумеется, не разрешили бы. Уже впоследствии я узнал, что заграницей сохранился только мой экземпляр этой поэмы, и я никак не думал, что настанет день, когда мне удастся исполнить данное поэту обещание напечатать эту вещь после его смерти. Хотя мне было известно, что он был болен и кроме того находится под постояной угрозой ссылки или ареста, я лелеял надежду, что судьба будет более милостива к нему.

Мы встретились с ним снова в 1931 г., когда, будучи уже ближе знаком с его поэзией, чем в 1929 г., я мог более свободно говорить с ним о проблемах, которые ставила передо мной его поэзия и личность. Но для Клюева проблемы поэзии были слишком тесно связаны с самой поэзией, чтобы быть предметом обсуждения. Я мог заинтересовать его проблемами, которые мне хотелось обсуждать, только ссылкой на конкретные факты. Так было и с казавшимся мне важным вопросом о его принадлеж-

ности к старообрядцам или раскольникам, или — по выражению некоторых историков русской литературы — сектантам. Я сам употребил это последнее выражение в моей книжке 1923 г. и теперь сказал ему об этом. Вместе с тем я рассказал ему, по его просьбе, о моей свадьбе, когда, чтобы не насиловать воли той, которая, будучи православной, должна была стать моей женой, мы решили, что венчание будет происходить, как того требует католический обряд, в церковной ризнице. Клюев выразил свое удовлетворение и сказал, что вовсе не надо настаивать на том, что одна форма веры лучше другой, но что соблюдение формы дело хорошее и правильное, и что это особенно важно в теперешний момент в жизни церкви. Этот разговор убедил меня в безупречности веры Клюева в православную церковь.

Разумеется, для того, чтобы оценить все значение этого воспоминания, нужно припомнить обстановку тех лет, когда православная церковь подвергалась преследованиям, в том числе и косвенно — путем поддержки движения «безбожников». Мы должны перенестись в эту атмосферу и для того, чтобы лучше понять смысл слов, сказанных Клюевым по поводу обвинений его не только в кулачестве, но и в том, что в своей поэзии он был выразителем — как будто такая вещь возможна! — настроений и идеологии кулаков. В то время — это был разгар коллективизации — шла борьба не только против религии, но и против крестьянства. И в 1929 и в 1931 г. Клюев имел случай сказать мне — и я записал это, но по понятным соображениям не мог использовать в тогдашних моих статьях — что «величайшее преступление» советского правительства состояло в насильственном превращении русского мужика в пролетария, в беспощадном уничтожении того, что составляло глубинную сущность России, в осуждении, как противоречащей материальному прогрессу, той религиозности, которая всегда жила в душе русского крестьянина хотя бы в самых первобытных формах, как например в жестокие времена Болотникова, Стеньки Разина или Пугачева, столь дорогих большевикам. Клюев на себе испытал всю жестокость борьбы с кулаками: он вернулся в Ленинград из своей деревни, где его, по тогдашнему выражению, «раскулачили» и где окончательно рухнула его вера в то, что революция может быть «мужицкой». Это же крушение веры было косвенной причиной духовной трагедии, которая привела Есенина к самоубийству. Я не знаю, какое значение могут иметь эти обрывки воспоминаний, но должен указать здесь, что Клюев был убежден — и говорил об этом со скорбью — что

он способствовал усилению внутренних терзаний своего друга, который родился как поэт под его сенью, но скоро из под нее вышел. При этом меня тогда больше всего поразило в Клюеве — и, как историк литературы, я тогда же записал себе это — его решительное отталкивание от роли «переодетого мужика» (выражение Георгия Иванова, употребленное и покойным В. Ф. Ходасевичем в его воспоминаниях о Есенине) в ту пору, когда сразу по прибытии в Петербург он был «открыт» Городецким и подпал под его влияние. Это влияние, если принять во внимание бесспорно «символическое» происхождение Городецкого, связало то, что было непосредственно и первобытно мужицким в Клюеве, с тем, что было литературным в символизме, и на время олитературило самого Клюева. Весьма вероятно, что и в «Погорельщине» критика отметила бы элементы литературного происхождения. Было бы не плохо, однако, если бы читатели и критики оценили не только «символизм» и «имажинизм» этой поэмы, но и обратили внимание — как сделал это я, когда сам поэт читал мне некоторые отрывки — на ту ноту страдания, которая в Клюеве доминирует над всеми литературными влияниями и коренится, мне думается, в глубоком религиозном чувстве и не менее глубоком чувстве природы. Эти два чувства были основными началами в личности Клюева и как поэта и как человека.

Как иностранец, я не могу входить в оценку того, что было высказано по поводу Клюева некоторыми весьма тонкими русскими критиками. Я имею в виду, например, мнение Ходасевича, который считал «мужицкую Россию» таких поэтов, как Клюев, Клычков, Есенин и Ширяевец, не только уходящей или уже ушедшей, но и никогда не существовавшей. Признаюсь, что по началу мнение Ходасевича произвело на меня большое впечатление, но тут же прибавлю, что мысль о том, что Клюев мог быть позером, отпала, как только я познакомился с ним лично. О прошлом не могу говорить, но в пору наших встреч Клюев был бесконечно далек от какого-либо притворства. Он был прост и в душе и в обращении, как человек, который заплатил и готов был еще заплатить дорогой ценой за свою веру. Вероятно, не спроси я его об этом, он никогда не заговорил бы со мной о кличке «пророка», которую прицепил ему В. Свенцицкий в предисловии к второму тому его стихов. Правду сказать, после того как Клюева впервые представил читателям Валерий Брюсов, опасность преувеличения в оценке автора «Сосен перезвона» была вполне возможна. Я не знал этого предисловия, когда Клюев сам обратил мое внимание на значение сравнения его поэзии с глу-

хим и вольным бором, который не знает ни планов ни правил. Правда, Брюсов, признавая в Клюеве наличие религиозного сознания, упомянул и о том, что Клюев, по его собственным словам, был «верен ангела глаголу». Здесь был косвенный намек на назначение пророка в знаменитом стихотворении Пушкина (если только в нем речь идет действительно о пророке), но Клюев, даря мне и эту свою, уже редкую тогда, книгу, указал именно на первое сравнение, связывая с ним и свое религиозное сознание. На последнее он напирал косвенно и в своей надписи на «Песнослове», которая явилась отправным пунктом моего второго воспоминания о возвращении Клюева на духовную родину.

Должен сказать, что, когда Чапыгин познакомил меня с Клюевым, последний увидел во мне не столько историка русской литературы, каким рекомендовал меня ему Чапыгин, сколько просто итальянца. Италия в то время заметно еще притягивала к себе русских. Еще жива была старая культурная традиция, которая в трудах таких ученых как С. С. Мокульский, А. К. Дживелегов и М. Н. Розанов, дала в первые годы нового режима прекрасные плоды в области истории и литературной и художественной критики. В Клюеве, впрочем, который в Италии никогда не бывал и об итальянской поэзии знал мало, если не ничего, северная тоска по Италии была почти условной, как за столетие до того в Пушкине. Однако, встретившись со мной, итальянцем, и услышав из моих уст выражение южной тоски по северной России, он, не колеблясь, назвав меня «светлым братом», задумал послать привет Риму: выраженный в посвящении новому итальянскому знакомцу, он будет передан его песнями собору св. Петра и Колизею:

Этторе Лё Гатто

Светлому брату

Пески мои Олонецкие, журавли да озерные гагары, — летите за синее море, под сапфирное небо прекрасной Италии! Поклонитесь от меня вечному городу Риму, старинному праху Колизея, гробнице чудного во святых русских Николы Милостивого, могилке сладчайшего брата калик перехожих Олексия, человека Божьего, соснам Умбрии и убрусу Апостола Петра! Расскажите им, песни, что заросли русские поля плакун-травой невылазной, что рыдален шум берез новгородских, что кровью течет Матерь-Волга, что от туги и скорби своего панцырного сердца захлебнулся черной тиной тур Иртыш — Ермакова братчина, червонная сулея Сибирского царства, что волчьим воем воют родимые избы, замолкли грановитые погосты и гробы отцов наших брошены на чумных и смрадных свалках.

Увы! Увы! Лютой немочью великая, непрощенная и неприкаянная Россия!

Николай Клюев

День Похвалы Пресвятые Богородицы 1929 года.

Переносясь мысленно в далекую страну, в которой образ Колизея первых мучеников слился идеологически в уме Клюева с символом католичества, поэт естественно перечислил имена святых особенно дорогих русскому сердцу, точно так же как с приветом соснам Умбрии он связал новогородские березы и надо всем — что было тоже естественно для него — поставил священную русскую реку Матерь-Волгу.

Надо прибавить, что как раз с первыми моими воспоминаниями о Клюеве связывается память о поездке в Новгород Великий, в Ростов Великий и во Владимир — эти колыбели русской истории, и о трепетном посещении старинных монастырей, которые уже тогда пустовали, но которые поэт, обращаясь к прошлому, населил в моем воображении странной и таинственной жизнью. Благодаря его стихам, эта жизнь для меня связалась с окутавшей его мистической атмосферой, чуждой мне, как иностранцу, или по крайней мере не до конца понятной, но необходимой вместе с тем для преодоления того мира, в котором я жил. Если бы не влияние Клюева и его поэзии, я бы вероятно не только не пустился на поиски старинных монастырей, чтобы потом пожалеть, что не добрался до северных пределов земли русской, но и не дал бы того ответа, который я дал главе Бюро Печати при советском Наркоминделе, упрекавшему меня за то, что гигантским новым заводам первой пятилетки я ,предпочел старинные церкви и опустевшие монастыри. Ответ мой заключался в том, что такие же заводы и фабрики я могу видеть в любой стране, тогда как старую Россию можно найти только в России и то, пока она не исчезла бесследно.

Может быть поэтому у меня в памяти образ Клюева, принимая конкретные очертания, связывается с его страстью к собиранию икон. Как сейчас вижу его в его бедной комнатушке в Ленинграде, где он рисковал принимать меня, склонившимся над ящиком полным икон, чтобы выбрать одну мне в подарок. И он действительно подарил мне вместе со своими песнями икону, чтобы моя память и моя печаль о нем были еще более пронизаны их музыкой.

Этторе Ло Гатто

Рим, сентябрь 1953 г. Перевел с рукописи Г. С.

О БУНИНЕ

Кроме жгучей боли, кроме неизлечимого горя — первое впечатление было: об этом с ним не поговорил, о том его не спросил. Хотя столько говорили, так много раз...

Необыкновенный был писатель. И необыкновенный был человек.

Пророк говорит у него: «Я вспоминаю каждое мгновение моей жизни: сладкого детства, радостной молодости, трудового мужества — и оплакиваю их. Вы говорите о могиле, — и руки мои холодеют от страха. Прошу вас: не утешайте меня, ибо утешение лишает мужества. Прошу вас: не напоминайте мне о теле, ибо оно сгниет... Чаще говорите себе: час ее (смерти) не так страшен, как мы думаем. Иначе не мог бы существовать ни мир, ни человек».

И о себе опять:

Свой дикий чум среди снегов и льда
Воздвигла Смерть. Над чумом — ночь полгода.
И бледная Полярная Звезда
Горит недвижно в бездне небосвода.

Вглядись в туманный призрак. Это Смерть.
Она сидит близь чума, устремила
Незрячий взор в полуночную твердь —
И навсегда Звезда над ней застыла.

«Чум» — кочевой шалаш, — слово сибирское. С холодными, ледяными странами у Ивана Алексеевича всегда связывалось впечатление о страшном, о самом страшном. Много он путешествовал — и никогда в такие страны не ездил. У него и в Петербурге, в зимнюю ночь, «мгла, туманящая Невский, кажется частью той самой арктической мглы, что идет оттуда, где конец мира, где скрывается нечто непостижимое человеческим разумом и называемое Полюсом». О юге же, особенно об Украине, о Крыме, всегда говорил с нежной любовью и писать предпочитал в южных странах. «Хорошая Жизнь», «Игнат» написаны на Капри, «Митина Любовь», «Жизнь Арсеньева» в Грассе, несколько небольших рассказов-шедевров в Константинополе, в Египте, в Палестине. «Писать на месте? В этом необходимости нет», — говорил он. Действительно, необходимости никак не было: зрительная память равнялась у него

необычайной изобразительной силе. Ни у кого, кажется, из больших писателей не было такой точности (и скупости) слова, такого совершенства в образах, в определениях, в эпитетах: «пушистые звезды», «сухой, золотисто-шафранный свет» в долине Иордана, «сонные огни» фонарей, «тугой гром», «пепельная тень», «старая палевая индюшка», «угольный траур»... «Бело блистая цепью окон, освещенных электричеством, разметав, как настоящая ведьма, дымные косы, ало озаренный из-под низу, несся вдали пересекая шоссе, экспресс»... «Крупной дрожью дрожал сидевший на грязном полу пойнтер, пятнистый, как лягушка, с печальными глазами»... «Через полчаса наступила кромешная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром, слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями и поминутно оглушало чудовищными раскатами и ударами, с невероятным грохотом и сухим, шипящим треском разражавшимися над самой нашей головой. А потом бешено понесло уже настоящим ураганом, молнии засверкали по тучам, во всю высоту их, зубчатыми, до бела раскаленными змеями с каким-то свирепым трепетом и ужасом, точно перед Страшным Судом, — и хлынул обломный ливень, с яростным гулом секший нас под удары уже беспрерывные, среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих, где мелькали какими-то сверхъестественными, довременными Гималаями медью блистающие горы облаков».

Людей он описывал обычно не «изнутри»: «Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку, длинные. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками — ястребиные, с золотистым кружком в зрачке. Опустит веки — обыкновенный дурачек, поднимет — даже жутко немного»... «Сонно и болезненно откинув стриженную, жесткую от солнца и пыли голову, показывая тонкие детские ключицы и не обращая внимания на мух, точивших его сопли, мальчишка непрестанно тянул: «Взгляните, мамаши, — Какие мы есть несчастные, страдащие! — Ах, не дай Господи, мамаши, — Таким страдащим быть»... «Широкоскулое личико ее с черными, глубоко-запавшими глазками имело в себе нечто напоминавшее летучую мышь. Покачивая головой с притворной развязностью, даже как бы с некоторым сознанием неотразимости своего пола, держа одной рукой юбку, а другой вдетой в большую плоскую муфту из блестящего черного меха,

закрывая рот, она вдруг загородила дорогу сутуло шагавшему Соколовичу... Доро́гой Соколович молча курил. Королькова, видимо тяготясь этим молчанием заметила что, по ее мнению, папиросы «Голенищев-Кутузов» лучше чем «Сирень»... — Зачем бы тут было и заглядывать внутрь, что еще могла бы добавить психология? И рядом фигуры совершенно другие, привлекательные, прекрасные, тоже написанные только извне. Изнутри он по настоящему показывал едва ли не одного молодого Арсеньева.

«Жизнь Арсеньева», по моему, самое лучшее его произведение. И уж именно эта книга о до-революционной России целиком написана «по памяти». Гоголь, никогда не бывший эмигрантом в нашем, политическом, смысле слова, устанавливал здесь что-то вроде неясного закона для писателя: если хочешь писать о своей стране как следует, поезжай заграницу и пиши там. — Суждение, конечно, не обязательное и не общее, — напротив, резко расходящееся с общим. Истина, вероятно, посредине, и пример Бунина об этом свидетельствует: он писал одинаково хорошо и в России, и в эмиграции. Не подчинялся он и другому «закону»: об ослаблении таланта с возрастом. В книгах «Нового Журнала» было помещено несколько рассказов, написанных им на восьмом десятке лет. Некоторые из них принадлежат к самым блестящим его художественным произведениям.

Иван Алексеевич сердился, когда говорили, что «Жизнь Арсеньева» — автобиография. Конечно, Арсеньев не *весь* Бунин, но в нем от Бунина очень многое, его мысли, его чувства, его взгляды на жизнь, его отношение к людям. Не раз убеждали его писать второй том, он всегда отказывался: «Я там писал о давно умерших людях, о навсегда конченных делах. В продолжении надо было бы писать в *художественной форме* о живых, — разве я могу это сделать?» Так и не написал. Осталась незаконченной одна из самых замечательных книг в русской литературе. Кажется, она далась ему нелегко. Свой знаменитый рассказ «Господин из Сан-Франциско» он написал в несколько дней, почти без помарок. Этому просто трудно поверить. Из выдающихся европейских романистов так писал, если не ошибаюсь, только Арнольд Беннет. Над «Жизнью Арсеньева» Иван Алексеевич работал долго, много правил, дополнял, выпускал. Большой успех этой книги, ее второго издания, выпущенного издательством имени Чехова, радовал его необычайно.

В этой книге сокровища разбросаны на каждой странице.

Я мало знаю таких сцен, как похороны Писарева. Хотел бы привести целиком эти потрясающие строки, но не могу: теперь всё это — *о нем:* «И неужели это правда, что он уже встретился где-то *там* со всеми нашими давным давно умершими сказочными бабушками и дедушками, и кто он такой теперь? Неужто это он — то ужасное, что лежит в зале на столах, в этих вкось расходящихся краях гробового ящика, противоестественно озаряемое среди бела дня тупым огнем до коротких обрубков догоревших свечей, густо закапавших и просаливших зубчатую бумагу, окружающую их на высоких серебряных ставниках?... Покроют кисеей и крышкой, вынесут и закопают, и уйдут и забудут и пойдут годы, и будет длиться моя долгая и счастливая жизнь, где-то там, в моем туманном и светлом будущем... Я думал о том несказанном, что будет в этом гробу через неделю, даже пытался уверить себя, что ведь будет в некий срок и со мной то же самое... Но веры в это не было ни малейшей»...

Многое опускаю. Иван Алексеевич думал об этом постоянно, еще и тогда, когда был здоров. В последние недели, вероятно, думал только об этом. Оставил распоряжение: тотчас «закрыть лицо, чтобы никто не видел моего смертного безобразия... Ни фотографий, ни маски, ни слепка рук не делать»...

За три дня до «дикого чума» мы разговаривали до полуночи. Бунин всегда говорил превосходно. Искусство рассказчика у него дополнялось даром имитатора. Когда он бывал в ударе, — просто нельзя было не заслушаться. В этом нашем *последнем* разговоре речь зашла о литературе. — «Я всегда думал, что наш величайший поэт был Пушкин, — сказал Бунин, — нет, это Лермонтов. Просто представить себе нельзя, до какой высоты этот человек поднялся бы, если б не погиб двадцати семи лет». Иван Алексеевич вспоминал лермонтовские стихи сопровождая их своей оценкой: «Как необыкновенно! Ни на Пушкина и ни на кого не похоже! Изумительно, другого слова нет»... Говорил с трудом, очень тихим, иногда еле слышным голосом. Могу добавить от себя: в этих замечаниях умиравшего человека тоже все было ново, своеобразно и удивительно. Особенно долго он вспоминал «Дубовый листок оторвался от ветки родимой — И в степь укатился, жестокою бурей гонимый»... Теперь, перечитывая книги Бунина, я увидел, что об этих стихах упоминает юный Арсеньев. Пронзили без малого на семьдесят лет!.. Говорил Иван Алексеевич и о том, как понимал жизнь Лермонтов.

Сам он страстно любил жизнь. Разумеется, у него тоже она была полна и радостей, и горя, — «что ж, это в порядке вещей, иначе и быть не может», — говорил он. Сам все таки мирился с горем нелегко. Надо ли добавить, что под конец горе у Бунина преобладало над радостями; вернее, радостей больше почти не осталось. Тяжкая мучительная болезнь, или несколько болезней, осложнявших одна другую, приковали его к постели. В последние три года он почти не вставал. Не доставляли больше удовольствия ни еда, ни хорошие вина, — а когда-то он был знатоком. Врачи разрешали «стакан вина», но он от всего отказывался, почти ничего и не ел. Читать ему стало трудно, — читала вслух его жена, Вера Николаевна. 7-го ноября читала ему до полуночи (он скончался через два часа после этого) письма Чехова; он просил делать в некоторых местах отметки: готовил о Чехове книгу. О нем всегда говорил с нежностью; а о Льве Толстом с благоговеньем, — «с ним никого и сравнивать нельзя».

Быть может, последнюю радость в жизни ему доставил полученный им, тоже за три дня до его конца, номер студенческого журнала, в котором была восторженная статья о нем (Искрицкого). Несмотря на всю свою славу, Бунин был до конца своих дней очень чувствителен и к лестным, и к нелестным отзывам. В этой статье его, вероятно, обрадовало еще и то, что писал критик молодой: значит, читает, восторгается и молодежь. Автор цитировал рассказ «Темир-Аксак-Хан», написанный Буниным более тридцати лет тому назад. В этом рассказе нищий татарин поет песню о старом хане, — «не было во вселенной могущественней и славнее хана, чем Темир-Аксак-Хан... Прекраснейшие в мире женщины и девушки готовы были умереть за счастье хоть на мгновенье быть рабой его»:

— «А-а-а, Темир-Аксак-Хан! Где дни и дела твои? Где битвы и победы? Где те, юные, нежные, ревнивые, что любили тебя, где глаза сиявшие, точно черные солнца, на ложе твоем... А-а-а, Темир-Аксак-Хан, где она, горькая мудрость твоя? Где все муки души твоей, слезами и желчью исторгнувшей вон мед земных обольщений?..»

А до того сказано: «Перед кончиной сидел Темир-Аксак-Хан в пыли на камнях базара и целовал лохмотья проходящих калек и нищих, говоря им: «Выньте мою душу, калеки и нищие, ибо *нет во мне больше даже желания желать!*»

Я не присутствовал при чтении. Но Вера Николаевна сказала мне: «Когда я дошла до этой (подчеркнутой мною *М. А.*) фразы, он заплакал»

М. Алданов

НА ПУТЯХ В НЕБЫТИЕ

О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

«Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей.
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей».

Историю советской литературы можно разделить на три условных периода. Первый — с 1921-го года по 29-й; второй — с 30-го по 36-ой год, и наконец последний — с 37-го года до настоящего времени.

Первый период характерен появлением ряда молодых писателей. К этим же годам относится наибольший расцвет лирической поэзии. В эти годы даны лучшие вещи попутчиков — писателей, вступивших на литературное поприще еще до октябрьского переворота и волей-неволей примкнувших к революции. В то же время, кроме присяжной, казенной критики, которая уже появлялась, в лице Фриче, Авербаха, Горбачева, Ермилова и других представителей РАППа (Росс. ассоциации пролетарских писателей), тогда действовало еще и сдерживающее начало не только в чисто литературных кругах, где был исключительно высок авторитет А. К. Воронского, но и в самом Центральном комитете партии, где были люди, обладавшие достаточной культурой — Луначарский, Троцкий, Бухарин, Каменев. Просматривая журнал «Красная новь» за эти годы, невольно удивляешься: неужели можно было так свободно высказывать свое мнение в советской печати? И даже в конце этого периода в критической литературе, наряду с произведениями вульгаризаторов марксизма, вроде того же Фриче и Горбачева, появляются такие смелые и совершенно немыслимые впоследствии книги, как «Поиски Галатеи» Дмитрия Горбова (1929 г.) или «Искусство видеть мир» А. К. Воронского (1928 г.). Эти годы, по сравнению с позднейшими временами, несомненно являются золотым веком советской литературы.

Второй период — переходный. В литературной общественности шла перестройка на ходу. Подготовлялись коренные реформы. Главари бывшего РАППа, ныне уже ВАППа

(Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей), в порядке самокритики каялись в целом ряде ошибок, допущенных их организациями, объясняя такие промахи недостаточной бдительностью и проникновением в их среду «классово-чуждых элементов». И тут же, используя политическую обстановку, ВАПП сводил свои старые счеты с остатками малых литературных объединений. Даже самые названия книг, появившихся в это время в разделе литературоведения и критики, показывают характер подобных «проработок»: В. Ермилов — «Против меньшевизма в литературной критике» (1931 г.), С. Малахов — «Против троцкизма и меньшевизма в литературоведении» (1932 г.), П. Рожков — «Против толстовщины и воронщины» (1931 г.), И. Макарьев — «Показ героев труда — генеральная тема пролетарской литературы» (1932 г.), В. Киршон и Д. Мазин — «На высшую ступень — призыв ударников в литературу и критику» (1932 г.).

Возникший в эти годы «призыв ударников в литературу», то-есть попытка из лучших рабочих сделать писателей и критиков, провалилась при первых же своих шагах. Рабочих с производства сделать писателями не удалось, но посылать писателей на производство для наблюдений и зарисовок с натуры — было значительно проще, хотя вряд ли это принесло какую-либо пользу художественной литературе. Тем не менее, литературные жанры романа, повести и рассказа в это время все более и более уступают место производственному очерку.

В 1932-м году последовало «историческое» постановление ЦК партии о ликвидации всех литературных группировок. Мотивирована такая решительная ампутация была тем, что на данном этапе гигантских достижений во всех областях советского строительства, в том числе и в области художественной литературы, старые формы общественности становятся тесны и отмирают, уступая дорогу новой структуре, дающей неслыханные возможности для еще бóльшего творческого роста. Затем создается организационный комитет будущего союза писателей. И в 34-м году в Москве, в Доме союзов, происходит торжественное открытие Союза советских писателей, на котором, после речи Бухарина, многие писатели буквально бросаются друг другу в объятия, и, захлебываясь от восторга, говорят о перспективах подлинного освобождения искусства от вульгаризаторства и вапповской тенденциозности. Тут же появляются весьма настойчивые слухи о создании реального беспартийного блока, который будто бы должен возглавить Максим Горький.

Но чаяния и мечты не сбылись. Вместо ожидаемых свобод

прежде всего оказалось, что все основные посты в руководстве Союза писателей, в издательствах и в журналах, заняли те же бывшие вапповцы, но только теперь они являлись уже не представителями главенствующей литературной группировки, с которой всё же можно было полемизировать, а облеченными доверием партии сановниками, проводящими в жизнь постановления ЦК. Свободная критика стала немыслимой, вместо нее водрузилось нечто вроде литературного сыскного отделения, где не было ни одного беспартийного литератора.

Надежды на Максима Горького тоже не оправдались. Он попрежнему руководил гигантскими по своему размаху, но не имеющими прямого отношения к художественной литературе, изданиями вроде «Истории фабрик и заводов», либо беззастенчиво проектировал, силами лучших писателей создать «Историю горьковского края» (бывшей Нижегородской губернии, носившей теперь его имя). Организованные Горьким журналы тоже не обещали широких перспектив для свободного художественного творчества. «СССР на стройке», «Колхозник» и «Наши достижения» заполнялись преимущественно теми же производственными очерками.

Вся окололитературная шумиха с открытием Союза советских писателей была лишь средством выявить настроения писателей, последний раз дать им возможность высказаться, чтобы отделить овец от козлищ, и в нужный момент произвести решительную чистку. По существу, ликвидация литературных группировок и создание единого Союза писателей были ничем иным, как насильственной коллективизацией писателей. И союз этот оказался не центром свободной писательской общественности, а всего-на-всего бутафорской избушкой на курьих ножках, правда, далеко не сказочной, зато действительно «без окон и дверей».

Последний, третий период советской литературы начинается со времени так называемой ежовщины. Список исчезнувших в эти годы писателей насчитывает сотни имен. В их числе есть имена достаточно известные: Пильняк, Бабель, Клычков, Артем Веселый, Зазубрин, Иван Катаев, Орешин и другие.

Дальше забота партии и правительства о советских писателях развертывается полностью. Как методы поощрения, введены в обиход ордена, звания «заслуженных» и, наконец, «лучшие из лучших» становятся лауреатами сталинских премий, со всеми вытекающими отсюда материальными благами. Однако, все богатства и почести принадлежат писателю лишь до тех пор, пока он идеологически безгрешен. Достаточно ему, волей или неволей, ошибиться и тогда пропали не только дача,

автомобиль и квартира, но самого пошлют пилить лес где-нибудь на Медвежьей горе.

В конце двадцатых годов Московский Зоопарк был значительно расширен. На новой территории созданы чудесные горы для диких коз, для хищников — площадки, окруженные рвом, и широко развернуты пастбища для жвачных животных. Газеты и плакаты сообщали: «ЗВЕРИ НА СВОБОДЕ». Подобная же свобода водворилась после создания ССП и в литературной общественности. Тут тоже не поскупились на рекламу. И действительно, было чему подивиться в этом литературном зоопарке. Настоящий живой лев, у которого хотя и была отнята возможность каким-либо образом проявить свой львиный нрав, сидел на своём острове без всякой клетки. На искусственных скалах свободно разместились орденоносные орлы, с подрезанными крыльями. Дикие свиньи возлегли около полного корыта. На дне просторного бассейна в непринужденной позе дремал заслуженный крокодил, преисполненный такого величия, что даже с трудом верилось, что он на самом деле живой. Особенно отрадно было наблюдать ловких обезьян, для которых устроили специальные лестницы и трапеции. Ко всем этим снарядам они настолько быстро и окончательно приспособились, что прыгали и вертелись с необыкновенным проворством, и как бы всем своим видом доказывали, что «жить стало лучше, жить стало веселее». Но как всегда в огромном механизме случаются и маленькие недочеты. В бытность нашу в этом зоологическом раю, нам почему-то запомнились что-то уж слишком грустные глаза беззубых тигров и заезженных оленей. И еще мы невольно заметили всё же одну настоящую клетку, разумеется, очень просторную и всю в зелени, — в ней сидели жалкие фигурки бывших певчих птиц, над которыми гордая надпись гласила: «СЕКЦИЯ ПОЭЗИИ».

Но и в такой «свободной» общественности, разумеется, не благодаря заботам партии и правительства, а наперекор всем этим заботам, художественная литература всё же как-то существовала. И дело тут в основном сводится к подпочвенной литературной преемственности, которую не в силах были приостановить никакие партийные преграды. Как первая советская литература невольно впитала в себя навыки дореволюционной русской литературы, так и художественная литература второго и даже третьего периода не смогла окончательно отбросить свою преемственность от литературы периода становления, то-есть, в конечном итоге, от былой русской литературы. Сквозь все фильтры и заграждения, своими глубинными, хотя бы уже и худосочными, корнями она продолжала и продол-

жает тянуться всё к тем же источникам. Недаром один из наиболее вдумчивых и талантливых советских критиков, А. К. Воронский, в своей статье «О пролетарском искусстве», в 1923 г. утверждал:

«Никакого пролетарского искусства, в том смысле, в каком существует буржуазное искусство, у нас нет; попытка представить современное искусство писателей пролетариев и коммунистов пролетарским искусством, противоположным и самостоятельным в отношении буржуазного искусства, на том основании, что эти писатели и поэты отражают в своих произведениях идеи коммунизма, — наивна и основана на недоразумении, так как на самом деле у нас в лучшем случае есть искусство целиком, органически и преемственно связанное со старым, — искусство, которое стараются приспособить к новым потребностям переходного времени диктатуры пролетариата. Идеологическая окраска нисколько не изменяет положения дел и не дает права на принципиальное противопоставление этого искусства искусству прошлого, как самобытной культурной ценности и силы: речь идет только о своеобразном приспособлении».

И дальше:

«Путь к самостоятельному новому искусству лежит через усвоение и овладение «наследством», коего пролетариат был лишен в недрах буржуазного общества».

Но вот как раз на этом самом «через» и споткнулась советская литература. Так или иначе «наследством» она овладела (иной вопрос, как это наследство используется), но перешагнуть через него к самостоятельному новому искусству не удалось, и совсем не потому, чтоб ощущалась нехватка в даровитых художниках с пролетарским самосознанием, а в первую очередь из-за отсутствия права на самостоятельное мышление, на какие бы то ни было идеи, рожденные самим художником, а не членами Политбюро. Не удалось потому, что вся работа писателя в СССР сведена к вышиванию по готовой канве казенного мировоззрения, и то лишь при условии использования только дозволенных методов мастерства. Таким образом ясно, что так и не сделавшись пролетарским, и даже потеряв надежду когда-либо сделаться таковым, искусство в стране советов дышит лишь до тех пор, пока связывающая его с прежним искусством пуповина не оборвалась окончательно. И каждый действительный художник там понимает это, если не сознанием, то интуитивным творческим постижением, и контрабандой пытается сохранить на возможно дольший срок свою нутряную связь с прошлой культурой.

И всё же мы стоим перед фактом существования в советской стране художественной литературы неслыханного доселе вида; литературы, скованной цепями казенной идеологии, и пропущенной сквозь строй сыскной и скрупулезной большевистской цензуры. Те или иные веяния общественных течений, моды, влияния быта и нравов, и наконец наличие правительственной цензуры, несомненно в какой-то степени всегда отражаются и отражались на каждой литературе. Однако, такого систематического гнёта со стороны правящего круга и такого безоговорочного подчинения его воле, каковые царят сейчас в советской литературе, не знала ни одна эпоха. Здесь, как и в любой другой литературе во все времена, количество Боборыкиных и Гладковых тоже значительно превышает скромную цифру сколько-нибудь одаренных писателей и поэтов. Но зато потолок для проявления своего творческого «я» у истинных художников настолько невысок, что им удается лишь весьма относительный показ мастерства, проявляющийся в умелом приспособлении, либо — что встречается чрезвычайно редко, но всё же встречается и в конечном счете приводит к неминуемой катастрофе, — в ещё более умелом запрятывании в дебри языковых и смысловых извилин частичного сопротивления обязательному для всех казенному мировоззрению. Никаких философских и даже чисто психологических проблем поставить самостоятельно они не могут. А потому не только гении вроде Достоевского и Толстого, но и такие писатели, как Тургенев, Чехов и Лесков мыслимы там лишь в потенциале; реально в сегодняшней советской литературе им делать было бы нечего.

Процесс внедрения контроля в творческую лабораторию писателя для окончательного его порабощения подготовлялся и развертывался на протяжении многих лет. Свобода мысли, чувства и слова исчезла не внезапно. Процесс этот один и тот же в советской экономике, в науке и искусстве. Он сильно напоминает рыбную ловлю со спиннингом. Рыбе, схватившей крючок, освобождают шнур на много метров; затем начинают её подтягивать. Когда шнур слишком туго напрягается, его снова слегка отпускают, с тем, чтобы тут же подкрутить еще крепче. Таким образом, улучшение рыбьего положения всегда только кажущееся. После каждой маленькой передышки наступает всё более и более определенное закрепощение.

Но психология живого писателя, хотя бы и с крючком в горле и на кукане, несколько разнится от инстинкта форелей. Правда, большинство советских литераторов, сознательно

или бессознательно, тоже ощущают потребность либо выбросить засевший в горле крючок, либо, оборвав шнур, уйти на свободу. Но некоторым из них, повидимому, даже нравится плавать на кукане. Воспользовавшись временной передышкой, они спесиво пожевывают мокрый шнур и пытаются сделать вид, что никакого крючка не глотали, и что почетный шнур этот еще более скрепляет их бескорыстную дружбу с рыболовом.

Весьма характерна подобная поза для Ставского, Вишневского, Панферова, Ермилова и других активистов, которые при иной общественной ситуации просто оказались бы не в состоянии конкурировать с прочей писательской братией, и уже во всяком случае никогда не смогли бы возглавлять русскую литературу. Начиная с первых же лет советской литературы, эти наименее одаренные и, как обычно это бывает, они же наиболее честолюбивые авторы ринулись по пути безоговорочного приспособленчества, стараясь не только выполнять задания партии, но зачастую пытаясь предугадать и опередить предстоящие требования ЦК. Именно они, после ликвидации созданных ими РАППа и ВАППа, заняли все командные посты в писательском мире.

В то же время у писателей, серьёзно относящихся к своему труду, по мере развития процесса закрепощения невольно вырабатывалась своеобразная тактика защиты.

Так, например, отдельные попутчики были осторожны в самом выборе тем и весьма умеренно, лишь в силу крайней необходимости, дозировали свои произведения пропагандой. Но среди тех же попутчиков были писатели, которые не пожелали оставаться на вторых ролях. Интересна в этом отношении позиция Бориса Пильняка. С одной стороны, он во что бы то ни стало хотел быть в первом ряду советской литературы и потому брал самые трепетные, злободневные сюжеты, но тут же исподтишка подсовывал весьма двусмысленные с точки зрения генеральной линии партии зарисовки. Нашумевшие в свое время истории с рассказом о Фрунзе и с романом «Красное дерево» являются вершинами такого рода «озорства», которое могло иметь место только в первый период советской литературы, либо в самом начале переходного времени. В дальнейшем подобные выходки были уже невозможны. Но и Пильняка простили не окончательно. Расчет за его вольнодумство был произведен в 1937-м году.

Ко времени ликвидации литературных группировок всем советским художникам стало ясно, что писать не мудрствуя лукаво дальше немыслимо. Попытки отстоять свою творческую свободу приводили к поискам «защитных» литературных прие-

мов. Некоторые авторы старались прикрыться какой-нибудь нелепой фигурой вроде обывателя из рассказов Михаила Зощенко, или говорить о самом своем дорогом и главном языком разоблачённого ими же самими героя (Кавалеров в «Зависти» Юрия Олеши). «Мастерство» Петра Слётова и «Севастополь» Александра Малышкина тоже написаны от лица отрицательного героя. Подобных примеров можно привести много. Наряду с такими поисками защиты в сюжетном построении, другие авторы пытались прятать свое лицо в стилистических дебрях, в самой манере письма.

Желание обойти острые углы побудило многих литераторов к уходу от современной обстановки в исторические романы. Но взгляды на отечественную историю на отдельных этапах большевистской диктатуры настолько резко менялись, и даже в древнюю историю вносились такие новые коррективы, что этот переход на историческую тематику тоже не всегда спасал положение. На этом камне споткнулся даже такой ортодоксальный стихотворец, как Демьян Бедный. Его пьеса «Богатыри», в которой он каррикатурно подал былинный эпос, запоздала. Былины в эти дни уже получили признание, и смеяться над легендарными героями больше не полагалось.

Вследствие порабощения духа усилилась тяга к формализму. Наука о литературных формах в советской стране дала значительные результаты именно потому, что заниматься теорией стиха и прозы было не в пример безопаснее, нежели самому творить стихи и прозу. По тем же причинам несомненные успехи сделала и текстология, где монументальными исследованиями текстов классиков занимались наиболее квалифицированные литераторы, тогда как давать общие критические работы с оценкой мировоззрения писателя в конце тридцатых и в сороковых годах могли лишь чиновники от литературы.

И наконец, писатели, которые решительно не хотели итти на компромисс с собственной совестью, — безмолствовали. Прежде других обет молчания приняла Анна Ахматова. Бабель давал по одному крохотному рассказу в год. После своих первых книг «Перегной» и «Виринея», надолго примолкла Лидия Сейфуллина, что и вызвало весьма ядовитую эпиграмму:

«Люди иные и время иное,
Лишь Виринея на перегное».

В результате всех этих столь же многообразных, сколь ненадежных способов самозащиты, появляется полная идейная опустошённость и растерянность, которая так остро ощущается в писательской среде, начиная с 1936-го года. В минуты

откровенности, Юрий Олеша признавался, что мечтает создать новый литературный жанр, — нечто вроде абсолютно бессюжетного рассказа, то-есть опять та же наивная попытка спрятаться, убежать от самого себя и писать голой формой, одним мастерством, без какого бы то ни было содержания.

И конечно не один Олеша перестал понимать, что же собственно хочет видеть в советской литературе Политбюро?

В 1933-м году, когда советские издательства и журналы наперебой печатали очерки о колхозах и совхозах, из Кремля неожиданно донеслось суровое замечание самого хозяина, дошедшее до писателей через отдел печати при ЦК:

«А почему наши писатели, рассказывая о колхозах, сообщают, как скрежещет трактор, как гудят машины, и никто не заметил, что в деревне есть птицы, что там поют петухи?»

После такой критики петухи и птички запели в каждой рукописи. Но пасторальные детали не спасли положения. Очерковая литература попрежнему оставалась безнадежно серой и скучной. Основная причина тут в том, что жанр очерка, быть может более, чем какой-либо другой вид художественной прозы, нуждается в честном бытописании. Но реалистический показ деревенских нравов или безыскусственное повествование о жизни рабочего люда неминуемо привели бы автора к прямой контрреволюции.

Реалистический метод оказался несостоятельным не только в художественной литературе, но и в жизнеописаниях большевистских деятелей. В конце двадцатых годов Мариэтта Шагинян для собирания материалов к биографии Ленина выехала в город Ульяновск (бывший Симбирск). За три года пребывания на родине Ильича она проделала огромную работу. Ей удалось разыскать дневники сверстников Ленина. Она беседовала с живыми свидетелями, которые бывали в семье Ульяновых и знали Ленина с гимназического возраста. В результате получилась рукопись более трёхсот страниц, наполненная драгоценными, с точки зрения добросовестного биографа, бытовыми и психологическими деталями, с весьма положительным и ярким изображением живого Ленина. Но вся эта работа еще до набора целиком от первой до последней страницы была зарезана Главлитом только потому, что облик Ленина оказался слишком живым, черезчур человеческим. С другой стороны, и портрет Ленина, который в первые годы революции был намечен поэтом Николаем Клюевым — тоже оказался не ко двору:

«Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах».

В сталинский период биография Ленина мыслилась лишь как построенная из готовых формул, иначе говоря, из одних штампованных чиновно-партийных понятий. Она должна была представлять собою не фотографию, и в то же время не икону, а скорее всего протокол, но обязательно по-сталински пристрастный. В советской живописи те же требования наглядно сказались на всех портретах вождей. Метод социалистического реализма, о котором так много кричат советские критики, диктует именно такое, слегка опоэтизированное и сугубо пристрастное, протокольное изображение. В советской художественной литературе условный образ обязан быть безусловным, то-есть реальным в своей нереальности. Так же, как любая советская газета не дает никакого представления об общественной мысли и о запросах населения, так и художественная литература последнего времени не может служить материалом для изучения быта, нравов и психологии подсоветского человека.

Однако, эстетическая правда плохо уживается с заведомой ложью, не принадлежащей даже отдельному автору, а раз и навсегда заданной всем и каждому, и потому создать такой условно-безусловный образ нового советского человека — героя наших дней — оказалось не под силу ни одному крупному мастеру. После долгих и тщетных поисков «нового человека» в советской литературе Политбюро, к великому изумлению писателей, обнаружило его в бездарном романе Николая Островского «Как закалялась сталь». Это житие советского Ната Пинкертона было одобрено высочайшим повелением. Фабула этого чисто бульварного произведения невольно напоминает «Похождения аглицкого милорда Георга», о котором уже Некрасов сказал со вздохом надежды на будущие поколения:

«Эх! эх! придёт ли времячко

Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесёт?»

Но «милорд глупый» останется жить в истории русского лубка уж хотя бы по словесному своему подлинно народному письму, а Николай Островский вместе с Нат Пинкертонами, «Тайнами Мадридского двора» и прочей жёлтой прессой — отойдёт в небытие. В данном случае характерно, что в неофициальной писательской общественности книга Островского была встречена корректным молчанием. Как ни заманчиво было

поддакнуть высокопоставленным поклонникам Николая Островского, всё же ни один уважающий себя писатель всерьез этого произведения не воспринял. Присяжная критика писала об идейной насыщенности этого романа, но и она не решалась предлагать учиться у Островского. Однако, лавры этого раздавленного партийной работой полуживого автора не давали покоя честолюбию некоторых видных литераторов. А потому вскоре появились улучшенные издания той же закаленной стали, уже с настоящими художественными деталями и с более тонкой разработкой героической психологии: «Степан Кольчугин» Василия Гроссмана и «Белеет парус» Валентина Катаева. Эти романы также котировались высоко, но того грандиозного успеха, какой выпал на долю Островского, они не имели, во-первых потому, что появились позднее, а главное, именно по причине своей всё же художественной окраски. Очевидно, кремлевским читателям Ната Пинкертона герои Конан-Дойля показались недостаточно выразительными.

Чем дальше отходила советская литература от своего «золотого века», тем ожесточённее шла в кругах пролетарских активистов конкурренция в уменьи угодить. Жадно подхватывались лозунги сегодняшнего дня и спешно создавались романы, рассказы, очерки, поэмы и стихи о вредителях, о коллективизации, о счастливой зажиточной жизни, о чем хотите, только чтобы угодить хозяину.

Невольно вспоминается одно собрание в редакции журнала «Новый мир». Присутствовали на нем только «наши лучшие». В их числе были тогда еще и Кольцов, и Бабель, и уж конечно Ставский, Фадеев, Петр Павленко (которого постоянно избирали в правление разных литературных организаций, а потому злые языки называли его «Петр Правленко»). Читал свою новую поэму маститый поэт Николай Асеев. Вся поэма, и скорее даже ода, нежели поэма, была посвящена великому стражу революции — ГПУ. Читал Асеев с завываниями, с рокотом и громыханием, и что ни строфа, то всё выше и выше подымался пафос идеи карающего правосудия. После бурных аплодисментов, слушатели, оглушенные не столько грозным завыванием автора, сколь чудовищным великолепием самой темы, начали наперебой высказывать свои восторги и похвалы. Особенно старались показать себя Ставские и Правленки. Они говорили о том, что поэма эта показывает рост творческого сознания автора, который затронул один из самых трепетных вопросов наших дней, — о родстве писателя и работника ГПУ, так как и там и тут участвуют инженеры человеческих душ. Даже Бабель признался, что никогда ничего подобного он не

слышал. Краткую и вполне корректную речь произнес Михаил Кольцов, отмечая своевременность показа безвестных героев политического управления, не щадящих своей жизни для спокойствия трудящихся масс.

Последним взял слово Всесоюзный староста — Михаил Иванович Калинин, который хоть и не был писателем, но всё же, повидимому, по мужицкой своей любознательности, частенько посещал собрания в «Новом мире». Он прежде всего напомнил об участии своем в дореволюционном партийном подполье. Сказал, что в те далекие времена тоже существовала так называемая охранка — третье отделение жандармского управления, которая была необходима царскому правительству, но даже самые ярые монархисты никогда не писали хвалебных од этому заведению. И закончил Михаил Иванович свою речь уже совсем неожиданным для присутствующих признанием:

— И мы для порядка были вынуждены прибегнуть к подобным организациям. Однако, старые члены партии смотрят на ГПУ лишь как на печальную необходимость, и гордиться тут, собственно говоря, нечем. А тем более пускаться без штанов в присядку от радости, что у нас существует ГПУ — не следует...

Вероятно, большинство из присутствовавших на собрании и до выступления Калинина в глубине души чувствовали то же самое, но говорили как раз противоположное. Одни из страха перед этим самым всемогущим ГПУ, а другие из желания выслужиться, показать свою верноподданность. Сказать правду в данном случае, разумеется, мог только один Калинин, так как никому другому из присутствующих тут же членов партии такое высказывание не сошло бы безнаказанно. Те же настроения, которые иллюстрирует собрание в «Новом мире» и которыми была пронизана вся официальная писательская общественность, невольно ложились в основу произведений наиболее заслуженных авторов.

Несомненно, что в советской литературе, начиная с периода создания Союза писателей, не найдётся такого художественного произведения, которое сам автор, оказавшись на свободе (например, перекочевав каким-либо чудом в Европу или в Америку), не пожелал бы хотя бы частично выправить, переделать, либо просто переписать заново, освободив его от той лжи, которая неминуемо присуща в той или иной дозе каждой книге, написанной в условиях сталинской диктатуры. Следовательно, с точки зрения самих авторов, в теперешней

советской литературе нет ни одного полноценного произведения.

Взяв роман, повесть, рассказ или сборник стихов любого советского писателя за последние годы, беспристрастный исследователь может говорить о композиции каждой данной вещи, о стилистических особенностях автора, даже об отдельных подлинно художественных деталях, там где автор как бы проговаривается и, по выражению Гете, «отражая невыразимое», дает наконец-то свое и по-своему. Но этой эстетической силе, по совершенно понятным причинам, отведена ничтожная жилплощадь в многоэтажных произведениях советской литературы. И уже конечно ни о каком мировоззрении автора честному критику сказать будет просто нечего, ибо весь идейный багаж здесь является лишь реквизитом, целиком заимствованным из скудной сокровищницы большевистского символа веры.

Тот же будущий исследователь сможет многое раскрыть и показать, анализируя первый и отчасти второй период советской литературы, но, перейдя к последующим годам, он в своих поисках невольно вынужден будет свернуть со столбовой дороги на проселочные пути и тропинки, то-есть перейдет от официально признанных и выдержавших стотысячные тиражи произведений, где весьма искусно разыграна не только заданная тема, но и заданная психология, к мало известным и как бы случайным книгам, неорденоносные авторы каковых оказались органически неспособными мыслить и чувствовать только по директивам ЦК, а потому срывались, падали и погибали, зачастую «не успевши расцвесть». Будущему литературоведу придётся искать характерного в случайном, потому что случайное, прорвавшись через все преграды и является подлинно характерным для глубинного сознания истинного художника.

Итак, мы видим, что объективная история советской литературы ни в коем случае не будет историей её развития или роста. Отдельные зигзаги не меняют дела. Гадать о том, чем кончится эта падающая кривая, — мудрено. Перспектив на возрождение советского искусства пока не видно. Теперешняя советская литература не только окончательно пленена, но и прекрасно выдрессирована своим усатым покровителем, а потому:

И днём, и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом.
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит...

Но слушать эти новые песни и сказки год от году становится всё скучнее. Уж очень они все прозаично-героические, и не чувствуешь за ними ни руссского духа, ни Пушкина, ни лукоморья, — лишь время от времени явственно слышится брянцанье, конечно, не золотой и не сказочной, а просто рабской цепи.

Глеб Глинка

**

Когда сплывет ночная тьма
И дымный день в окошко глянет,
Меня неудержимо тянет
Сойти с ума...
В ущельи зданий на веревке
По ветру треплется белье...
Гляжу на тесное жилье,
Неприспособленный, неловкий...
Уйти, укрыться... Но куда?..
Подальше от чужбин и родин!
— И вдруг, как яркая звезда,
Сверкнет благая весть: Свободен!
И унизительных забот
Сгорают ржавые оковы,
И мир из пепла восстает
Облагороженный и новый.
В нем всё поет, в нем всё цветёт
В нем места нет угрюмой злобе,
И скучный хлам междуусобий
Метла гигантская метёт!
Какое солнце тут горит!
Все — мудрецы, и все — поэты,
И облачаясь в новый вид,
Кивают дружески предметы.
И синей бездной я лечу
Далеко от чужбин и родин,
И птицам весело кричу:
— Свободен!

Александр Браиловский

О РЕЛИГИОЗНОМ КОРНЕ РУССКОГО ИСКУССТВА

Иконопись[1]

Судьба древне-русской архитектуры уводит нас дальше от религиозного корня русского искусства, чем судьба живописи или рельефа, в разных их видах, иначе говоря иконы, в широком смысле слова, т. е. того изображения церковных тем, самым показательным образцом которого (по крайней мере в России, начиная с XIII-го или XIV-го века) была икона, в узком смысле слова, в том смысле, который воспреобладал в живом русском языке. В этой области византийская традиция держалась значительно прочней, чем в орнаментике или архитектуре. Церковные власти более сознательно заботились о ее сохранности и скорей в этих заботах успевали, благодаря всегдашней возможности сослаться на издавна установленные изобразительные обычаи, легко поддающиеся словесной или графической формулировке. Однако бóльшая устойчивость иконного стиля сравнительно с орнаментальным или архитектурным всё же объясняется не внешним надзором и не строгим соблюдением иконографических преданий. Неизменность иконографии еще не обеспечивает постоянства форм, да и сама иконография, за все века древней Руси, нельзя сказать, чтобы оставалась вовсе неизменной. То, что на самом деле характерно для древне-русского изобразительного искусства, это отнюдь не отсутствие перемен или индивидуальных и местных оттенков, иногда иконографических и еще гораздо чаще чисто формальных, а нечто совсем другое: безотчетная приверженность к некоторым основным особенностям религиозного изображения, лежащим по ту сторону всех оттенков и перемен, а также по ту сторону самого различия между тем, что называют иконографией, и тем, что называют формой или стилем. Особенности эти были вы-

---

[1] См. статью В. Вейдле о древне-русской архитектуре в кн. 33 «Нов. Журнала».

работаны Византией, и в частности столичным, константинопольским искусством, после-иконоборческой эпохи; однако древне-русские мастера, однажды их усвоив, еще дольше остались им верны, чем сами их греческие наставники. И верность эта совсем не похожа на косность. Речь идет о чертах, составляющих самое существо изобразительного искусства, как его понимал восточно-христианский мир, в отличие и от языческой древности и от западного христианства.

Всё средневековое искусство, как романо-германского Запада, так и византийско-славянского Востока, противополагается классическому греко-римскому искусству отнюдь не отказом изображать (столь абсолютного иконоборчества никто и не выдвигал, относительное же было преодолено), а тем, что изобразить оно стремится не чувственный, материальный мир, а мир сверхчувственный, духовный. Конечно без помощи образов чувственного мира ни вообразить, ни изобразить вообще ничего нельзя, но самый характер изображения (как и воображения) зависит от задачи, которая задается искусству не им самим, а религиозным чувством и религиозным постижением мира и человека. Изобразительная задача не была христианством отменена; она была им заново поставлена, в связи с чем предстояло не исчезнуть, но перестроиться на новый лад и старой системе изобразительных приемов. Те из них, что служили непосредственной передаче чувственных качеств, постепенно отпадали и заменялись другими, всё еще изобразительными, т. е. рассчитанными на прямое узнавание предмета, но выбирающими для этой цели из всей суммы его признаков те, что относятся к его значущей, смысловой, а не конкретно-вещественной природе. Изображение на этом пути не может не приближаться к обозначению, которое направлено уже не к узнаванию, а к пониманию, однако оно не переступает за черту, где более нет ничего, кроме чистых знаков или схем; оно продолжает создавать образы, но это образы умопостигаемого мира. Среди них первенствует по-прежнему образ человека; для христианского, как для греческого художника, он всё еще «мера всех вещей»; и по-прежнему он дается не в космической погруженности, свойственной китайскому или некоторым формам поздне-европейского искусства, а в отчетливой выделенности из всего остального бытия; однако это именно умопостигаемый образ и он-то всего явственней и изображается по-новому. Греческое искусство включало духовность человека в его одушевленную телесность; оно не изображало ее ина-

че, как через изображение живого, движущегося тела, одухотворенность которого либо попросту совпадала с его одушевленностью, либо излучалась ею. В противоположность этому, христианское искусство научилось различать то, что в 15-ой главе первого послания к Коринфянам названо «телом духовным», от того что там же названо «телом душевным»; оно научилось противопоставлять одно другому; для него духовное тело стало единственно допустимым и нужным предметом изображения. Как в восточно-христианском, так и в западно-христианском мире (даже при учете тех препятствий, которые приносило там и тут продвижение христианства на север от средиземноморского бассейна) это бесплотное тело, этот бесплотный, но всё же, разумеется, не бестелесный человек оставался в течение многих веков средоточием изобразительного искусства. Однако способы осуществления этой бесплотности были на Западе не те, что на Востоке, и различие, сказывающееся в этом основном пункте, находит отзвук в других, относящихся к многофигурным построениям и ко всей вообще трактовке важнейших христианских тем.

Западное искусство, вплоть до середины XII-го века, достигает одухотворенности, бесплотности путем разрушения «нормальной» структуры тела и того изобразительного канона, который Грецией был завещан Риму и еще хорошо был известен, хоть и всё же реже выполняем, в поздне-античные времена. Разрушение это совершалось то путем орнаментализации, то путем выразительной деформации, соответственно двум основным тенденциям, свойственным художественному инстинкту и вкусу вновь принимавших христианство северных народов, причем вторая тенденция содержала больше возможностей для будущего, чем первая. Искажение канонической и вообще «естественной» или «правдоподобной» передачи человеческого облика (прилагательные эти приходится ставить в кавычки, ибо доля условности присуща всем представлениям ими обозначаемым), поскольку оно проистекает не из неумения, а из положительной творческой потребности, есть вообще главная движущая сила в изобразительном искусстве раннего западного средневековья. Творческое искажение это приводит к выразительности особого рода, не мимической, т. е. воспроизводящей мимику и жесты живых людей, а непосредственно формальной, т. е. внушающей чувство, что нечто выражено вне всякой связи с тем или иным сокращением мускулов тела или лица, и даже вполне наперекор самым очевидным анатомическим законам. Но что же

именно выражено? Большей частью совсем не то, что выражается обычной мимикой, не отдельные ощущения или чувства (хотя возможность выразить их этим способом отнюдь не исключается), а сама одухотворенность, — не естественная, через душу и тело, как у греков а сверхъестественная, или лучше сказать, некая одержимость духом, которую, как показывает пример величайших мастеров совсем другого времени и стиля, без искажения нормальных форм и вообще передать нельзя. Классическим векам Византии, однако, такое искажение осталось чуждым, как и соотносительный с ним оттенок одухотворенности. И если в до-иконоборческие времена отдельные случаи творческой, активной, а не пассивной, деформации встречаются не только на западе Империи, но и на востоке, то они ограничиваются здесь сферой распространения сирийского искусства, которое гораздо больше отзвука нашло в западном средневековьи, чем в византийском. Пойти в этой области по сходному с западным пути помешали византийскому искусству не те обильные восточные элементы, которые к самой сердцевине его всё же не имели доступа; помешал греческий его стержень, то наследие не эллинизма, а эллинства, которое оно сумело выделить и воспринять, которое именно в нем обрело через крещение новую жизнь и которому оно обязано своими самыми драгоценными и самыми характерными чертами.

Византийское искусство ищет лишь той бесплотности, что совместима с сохранением структуры, пропорций и ритма, свойственных телесно-душевному человеческому бытию, согласно тому пониманию его, которое впервые было явлено греческим искусством. Бытие это становится духовным через просветление плоти, через некое благоуханное истление ее, но не через ломку тела. Естественно-телесные формы утончаются, иссыхают, но остаются в органическом соответствии одна с другой. Движение сокращается, застывает, тяготеет к условным формулам, но сохраняет органическую плавность и непрерывность, никогда не вывихивая членов, не позволяя жестам преступать органически положенных им границ. Человеческий образ теряет вес и объем, но не теряет соразмерности частей и гармонии очертаний. Его греческое природное благородство, окунувшись в христианскую купель, становится духовным благолепием. Лучшим созданиям византийского искусства XI-го—XII-го веков (ибо далеко не сразу достигло оно того, к чему постепенно направлялась его история) присуща мудрая мера и высокая тишина. Именно эти его

свойства и были так жадно восприняты западными мастерами, которые в собственном своем наследстве могли почерпнуть всё что угодно, кроме них, и восприняты в самый решающий момент, в середине XII-го века, когда совершался переход к тому готическому искусству, которое впервые на Западе возымело потребность в них и в сложный облик которого они вошли неотъемлемой составною частью. Но и другие художественные миры питались ими — и боролись с ними — как итальянский, например (особенно в течение следующего века), не говоря уже о странах, непосредственно получивших свое искусство от Византии, из которых однако ни одна не высказала такой восприимчивости и такой прочной привязанности к этим центральным качествам ее стиля, как сравнительно поздно принятая под ее крыло древняя Русь. Как будто чистейший образ меры и тишины, Владимирская Божия Матерь, посетив эту страну и оставшись с нею навсегда, научила русских мастеров никаким совершенством не пленяться, кроме воплощенного в ее чертах, ничего усердней не искать, чем той небесной, светящейся в ней, и всё же человеческой нежности и грусти, того пения линий, той грации, которую мы так зовем, забывая, что слово это — лишь неловкий перевод, падшее имя благодати.

Всякая достигнутая в искусстве вершина есть нечто одностороннее, даже узкое, есть следствие выбора и отказа от многих совсем иных, хоть быть может и не менее заманчивых возможностей. Выбор этот всего чаще бессознателен, да и вряд ли когда-либо бывает полностью осознан; отказ вытекает из него сам собой, и оба они, в конечном счете, определяются не чисто-художественными, а глубже вросшими в самую сердцевину человека религиозными потребностями и чувствами. Если византийскому, а вслед за ним и древне-русскому искусству чужда осталась характерная для средневекового Запада острая выразительность вырванных из их органической связи форм, то не менее чужды были им те особенности в истолковании религиозных тем, которые находятся в естественном соответствии с этими формальными особенностями и отличают взятую в целом западную иконографию от иконографии византийской и русской. В этой иконографической области отдельные мотивы или схемы могут, как в области орнаментальной, переходить из страны в страну, из века в век, выпадая из своего первоначального контекста, меняя, а то и вовсе теряя свой религиозный и художественный смысл, причем наибольшего внимания заслуживают как

раз не мотивы и схемы сами по себе, а та осмысленность, что их связывает друг с другом и с тою формой, в которой они были некогда воплощены. Иконография той или иной эпохи, поскольку она не простое повторение пройденного и не смесь разнородных элементов, внутренно между собой не объединенных, отнюдь не есть нечто внеположное стилю: их корни переплетены, религиозная их основа одна и та же. В искусстве христианской империи IV-го и V-го веков сосуществовали различные иконографические, как и различные стилистические тенденции, причем те и другие были совместно укоренены в боровшихся между собой течениях религиозного чувства и религиозной мысли. Разновидность этих течений зависела в некоторой мере от областных предрасположений и традиций, что особенно ясно в отношении такой исторически чрезвычайно важной римской провинции, как Сирия, особенности которой быстро распространились за собственные ее пределы и стали достоянием соседних с нею стран. Сирийская (в этом широком смысле слова) иконография влилась, как известно, во всё последующее христианское искусство и средневековым Западом была усвоена отнюдь не с меньшей, а напротив с гораздо бóльшей готовностью чем Византией. Это последнее обстоятельство на первый взгляд представляется парадоксальным, но именно оно и бросает свет на тот внутренний источник иконографических формул, который так легко ускользает от тех, кто поглощен одной их регистрацией и классификацией.

Главная особенность сирийской иконографии — интерес к конкретному, земному, можно даже сказать бытовому или житейскому облику священных событий и священных лиц. Вполне очевидно, что особенность эта укоренена в самом характере сирийской религиозности, сказавшемся кроме того еще и в том направлении христианской мысли, которое преобладало в антиохийском богословии, в отличие от александрийского. Тот же склад религиозности сквозит и в апокрифах Нового Завета, иконографические формулировки которых точно также идут из Сирии. Сирийская иконография реалистична, что еще совсем не предрешает большей или меньшей реалистичности самих изобразительных приемов, но всё же указывает на общую именно реалистическую ориентировку если не зрения, то воображения. Судьба этого иконографического реализма была совершенно иная в Византии и на Западе. Мотивы и схемы, созданные им, сохранились везде, но в Византии (по крайней мере в собственно-византийском, не провинциальном, а столичном искусстве) лишь

в качестве передаваемых из века в век, раз навсегда установленных аттрибутов, вроде мотка пряжи в сцене Благовещения или двух женщин, омывающих Младенца в сцене Рождества Христова, тогда как на Западе мотивы такого рода проявляют способность оживать, обогащаться вариантами и по-новому осмысляться, именно в духе усиленного вчувствования в конкретную ткань, в историческое «так, а не иначе» священных событий. Византии такое вчувствование было чуждо, ибо в ее искусстве восторжествовала совсем другая иконографическая традиция, не сирийского, а греческого корня, и родственная не антиохийскому, а александрийскому богословию, для которой священное событие было не чем-то свершившимся некогда, а чем-то свершающимся вечно, не событием вовсе, поскольку оно приковано к времени, а изъятым из времени знаменьем и бытием. Традиция эта не отвергала так называемых исторических циклов, образовавшихся еще в IV-ом веке (а может-быть и раньше) и продолжавших составлять один из существенных предметов византийских церковных росписей и особенно книжных иллюстраций, но каждую отдельную тему этих циклов она из истории изымала, подчеркивая не конкретно-наглядную, а смысловую, догматическую ее сторону, превращая ее из эпизода, рассказанного в такой-то книге Ветхого или Нового Завета, в элемент церковного учения и литургического опыта. Священное Писание в зрелом византийском искусстве существует, можно сказать, не само по себе, не так, как если бы мы читали его у себя дома, а лишь так, как оно читается в церкви, как оно вошло в церковную службу, как оно пережито и вобрано в себя Церковью. Благовещенье, Богоявление (т. е. то, что позже стало называться Поклонением Волхвов), Бегство в Египет и любая другая тема, даже если она принадлежит всего лишь житиям святых, истолковывается этим искусством, как нечто относящееся не к бренному миру, а к непреходящему, церковному: не важно, где и как Благовещение произошло, — да и не произошло оно только, тогда бы оно кончилось. Важно лишь, что оно было, есть и будет.

При такой внеисторичности религиозного и художественного воображения неудивительно, что для искусства, вытекающего из него, наиболее характерны всё же не исторические циклы, а им самим созданный цикл двунадесятых праздников и еще те образы Христа и Богородицы, которые не стоят в связи ни с какими определенными моментами евангельского рассказа. Христос-Вседержитель, Божия Матерь — Неруши-

мая Стена, да и Младенец-Эммануил или Богоматерь с Младенцем, в различных ее обликах, ни к какому сроку не приурочены, ни к какому событию не прикреплены; что же касается праздничных изображений, то они всего красноречивее знаменуют изъятие важнейших христианских тем из исторического времени и перенесение их в иное, литургическое время, вековечную повторность церковного года, где Воскрешение Лазаря есть икона Лазаревской Субботы, и образ Вербного Воскресенья — Вход Господень в Иерусалим. Это включение двенадцати основных тем в церковный год есть впрочем лишь особенно ясный показатель включенности любой темы — чем и определяется ее способ изображения — в неразрывно-стройное догматическое и литургическое единство. Смысл каждой из них не столько сосредоточен в ней самой (что совершенно естественно при непосредственно направленном на нее религиозном интересе, как в сирийской или западной иконографии), сколько в ее улавливаемом соответствии с другими темами, с которыми ее постоянно ставят в связь и логика богословской мысли и практика богослужебного последования. Благодаря этому становится возможным обозначать тему косвенно, путем изображения смежной темы, например, Сошествия во Ад в качестве Воскресения Христова, в цикле двунадесятых праздников, или путем изображения темы прототипически связанной с той, что имеется в виду, как в случае Троицы Ветхозаветной; а также открывается путь к таким изображениям, где в одной теме уже провидится другая, как в образах Богоматери с начертанным на Ее груди Младенцем — Рождество Христово, или в Страстном Благовещении (теме более поздней и редкой) — крестная смерть Спасителя. Но главное, к чему ведут такие общие предпосылки истолкования религиозных тем, это та благородная сдержанность, бестревожность, то отсутствие всякого обостренного драматизма, которые так отличают византийскую иконографию от западной или сирийской и так хорошо вяжутся с тем непосредственно формальным выбором и вкусом, который, как мы видели, был завещан Византии Грецией.

В самом деле, если трагичны Моление о Чаше и Лобзание Иуды, взятые сами по себе, если Распятие, как таковое, величайшая из всех трагедий, то ночная тьма не может не просветлеть, не просиять, если в каждом событии мы будем видеть всю цепь событий и созерцание смерти не отделять от веры в Воскресение. Византийское искусство именно так и поступало. Бичевание, Венчание терновым венцом, Несение креста, Пригвождение к кресту, подробное воспроизведение

страстей Христовых были ему чужды; слишком долгая остановка на них представлялась бы непропорциональной; ведь страстные дни были днями церковного года, но Воскресение Христово — самым лучезарным его праздником. На дафнийской мозаике, Спаситель смежил веки и склонил голову на кресте; едва заметно сочится кровь из Его ладоней и ступней; гармонической струйкой истекает она из раны в боку (по византийскому домыслу, истечение крови и воды было признаком смерти неполной, признаком смерти, обещавшей победу над смертью). Воздыхает Богоматерь у подножия креста и скорбит Иоанн, положив щеку на ладонь, но за скорбью и воздыханием нет ужаса, раздирающего душу, потому что искусство дафнийского мастера — образ веры, которая не оттолкнула от себя скорбь, но обняла и утешила ее, и в ответ на ее горестное «умер» тихо промолвила: «воскрес». Так и всё византийское искусство в лучшие его века. Вернее всех других в христианском мире отразило оно гармоническую цельность христианского учения, халкидонское равновесие его, полностью перелитое в литургическую жизнь Церкви. Оттого-то его, по преимуществу, и можно определить тем определением веры, что дано в Послании к Евреям. Оно — «уповаемых извещение, вещей обличение невидимых».

**
*

К этой религиозной обусловленности, религиозной оправданности византийского искусства русские мастера, воспитанные им, именно и проявили наибольшую чуткость и наибольшую верность. Не то, чтобы у них не проявлялись никогда те новые, несходные с византийскими потребности и вкусы, которые так быстро и так отчетливо сказались в области архитектуры и орнамента, но эти местные, самобытные и в конечном счете северные черты, особенно сильно выраженные у новгородских и псковских иконописцев, не переходили за пределы формальных отклонений, остававшихся совместимыми с основной иконографической традицией (которая с любыми изменениями формы конечно совместима не была). Традиция эта отнюдь не может считаться единственной у нас известной; наряду с центрально-византийским к нам проникало и периферическое восточно-христианское искусство, в различных его видах, чему особенно ярким свидетельством были погибшие фрески новгородского Спаса-Нередицы; но победило всё же стержневое, константинопольское, греко-православное понимание изобразительных задач

и, победив, утвердилось с удивительной, большей чем в самой Византии, прочностью. Привязанность к этому пониманию есть явление религиозной, прежде еще чем художественной жизни, закрепляющее неразрывность той и другой; оно относится к истории русского христианства не меньше, чем к истории русского искусства.

Как мы уже сказали, важнее всякого непосредственного подражания готовым византийским формам или последования столь же готовым иконографическим правилам было усвоение религиозной основы и этих правил, и самых этих форм. Характерно в этом смысле, что те видоизменения центрально-византийской традиции, которые она претерпела в после-классическую эпоху, вовсе не беспрепятственно воспринимались русскими ее питомцами. Если то «очеловечивание», эмоциональное смягчение, приближение к земному потустороннего недосягаемого образа, которое относится еще к классической поре и чья печать лежит на умиленном лике Владимирской Божией Матери и на соответственном иконографическом типе этой иконы, было у нас принято с величайшей, повидимому, готовностью и стало неотъемлемой составной частью русского религиозно-художественного воображения, да и всего душевного строя, то новые черты, проявившиеся в византийском искусстве XIV-го века, хоть и нашли отзвук в нашей иконе и стенописи, но лишь частичный и приглушенный, несмотря на то, что крупнейший мастер этой эпохи, Феофан Грек, работал именно у нас. Поздне-византийская нервная «живописность» и ирреальная пространственность у нас не привилась и русская нейтрализация ее начинается уже в тех новгородских росписях, которые наиболее близки к Феофановым фрескам Спасо-Преображенского собора. Но еще показательней тот разрыв с искусством Феофана, который так явно засвидетельствован в творчестве величайшего нашего живописца, его младшего сотрудника по росписям и иконостасу кремлевского Благовещенского собора и быть может даже — хотя документальных данных для этого предположения и нет — его ученика.

В чисто-иконографическом отношении, Ветхозаветная Троица, как она была понята Рублевым, досказывает, доводит до конца основную византийскую мысль. Из темы изъяты все ее «исторические» элементы: нет больше Авраама и Сары, нет трапезы, вместо мамврийского дуба, — едва намеченное тонкое деревцо, и яства на столе заменены евхаристическою чашей. Литургико-догматический образ, «вещей обли-

чение невидимых», здесь не только господствует, как прежде, над библейским эпизодом, сводя относящиеся сюда черты к простым «признакам» или реминисценциям; он всё чуждое ему самому начисто устраняет. В отношении стилистическом, этому соответствует вписанность трех фигур в некий воображаемый круг и вместе с тем такая строгая и одновременно щедрая (иначе говоря, исполненная контрастов) согласованность их линий, которая приводит к наибольшей созерцательной насыщенности образа. Икона не отпускает наших глаз, покуда весь ее смысл не будет узнан или, лучше сказать, непосредственно увиден. И та духовная, та бесплотная телесность, что составляла, как мы видели, основное устремление византийского искусства, здесь, в этих ангелах Рублева, достигает предельной полноты. Не то, чтобы их мог написать и грек, но в этой щедрее льющейся, нежнее тающей музыке русской иконы, и холодком пронизанной, и насквозь изнутри согретой каким-то особым негреческим теплом, всё же слышится византийский распев, и всё же греческое, хоть и по-русски переведенное, сказано ею слово, и уж ни малейшего незаметно в ней отказа от тех заветов религиозного искусства, что связаны с самым существом православного предания. Поздне-византийским новшествам, Феофанову размаху и беспокойству нет места в этой размеренной, безмятежной, хоть и духовно напряженной, замкнутости форм, и ни в одном из обнаруженных до сих пор произведений Рублева и его школы не сказалось воздействие предполагаемого его учителя. Если Феофан и впрямь этим учителем был, тем показательней отказ помнить его уроки. Да и помимо рублевской школы, то, что господствует у нас в XV-ом веке, — не рецепция палеологовского «барокко», а скорее реакция против него, и мастер Дионисий, под конец, всю эту нарождающуюся заново подвижность и трехмерность очень последовательно приводит к серафической невесомости и вертикальному парению над непротяженною землей. Поздне-греческие влияния давали себя знать и после падения Константинополя, наряду со многими другими, балканскими, например, но поверили у нас иному, давнему Цареграду, и старую веру на новую не захотели променять.

Обновление византийской живописи было недолговечным и затвердение, иссыхание ее форм начинается еше в рублевские времена. Между Рублевым и Дионисием оно совпадает с расцветом русской иконы. Только с середины следующего века явления распада становятся определенно заметными и у нас. Характерно, что к сердцевине иконного творчества про-

никают они не сразу и церковное сознание, по началу, вовсе и не улавливает их. Новые иконные темы, к какой бы замысловатой аллегории они ни тяготели, всё же оказывались почти всегда литургически воспринятыми и оправданными. В случае заимствования западных тем, например, Плач Богоматери над снятым со креста Сыном, темы эти тоже, с удивительной последовательностью, литургически осмыслялись, как в данном случае видно уже из того, что Pietà, поставленная в связь с песнопениями страстной седмицы, так и стала называться у нас: «Не рыдай мене, Мати», т. е. вместе с литургической санкцией получила богослужебное наименование. Драматизм ее тем самым был ослаблен, включен в церковное благообразие и благолепие, о чем и свидетельствуют сохранившиеся иконы этого рода. Внутренно-иконный этос никакими новыми темами поколеблен не был, но была поколеблена иконная форма новыми, всё настойчивей проявляемыми вкусами: вкусом к ювелирному богатству отделки и ювелирной мелочности узора, вкусом к подробному рассказу, уже занимательному именно как рассказ, вкусом к изобразительности, к сходству, к «живству» на западный лад (да и где же было искать образцов такого живописания, как не на Западе?). Религиозная концепция образа была в церковном сознании еще жива, но реалистическое перерождение формы — с точки зрения требований этого образа, вырождение ее — делало его невыразимым. Так, уже с середины XVI-го века, для древне-русского искусства наступили трудности, которые в следующем столетии определили его кризис и сделали неизбежным его конец.

В. Вейдле

ЗАМЕТКИ ОБ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В свое время редакция нью-йоркского журнала «Америка» предложила мне написать обзор полувековой истории современной американской литературы. В основу обзора были положены следующие сравнительно недавно появившиеся книги: Harold C. Gardiner, S. J. — 50 Years of the American Novel (1900-1950); Frederick J. Hoffman — The Modern Novel in America (1900-1950); Louise Bogan — Achievement in American Poetry (1900-1950); Alan S. Downer — Fifty Years of American Drama (1900-1950). Непременным условием этой работы было то, чтобы американская литература рассматривалась глазами русского человека, недавно уехавшего из Советского Союза. И еще: в обзоре не должно было быть никаких прямых — невыгодных для советской литературы — сопоставлений, так как этот журнал распространялся в СССР и, следовательно, подвергался советской цензуре. Предлагая «Заметки об американской литературе» вниманию русского читателя на Западе, автор просит при чтении иметь в виду обстоятельства, при которых они были написаны.

Автор.

I. Американский роман

«Каковы американцы! В три дня они собрали для пострадавших в Фриско 16 миллионов. Ух! Превосходный народ, я вам скажу! Они слишком «бизнесмены» — люди, делающие деньги, — у них мало жизни духа, но — это придет. Работают они, как волшебники сказок. Дом в 33 этажа, выстроенный в 57 дней, — вы себе представляете это?»

Так Горький писал в 1906 г. в одном из своих писем из Америки в Россию, рассказывая о проведенной американцами кампании помощи населению Сан-Франциско, пострадавшему от землетрясения. В этом письме он восторгался кипением американской жизни, и высказывал веру, что вслед за подъемом материальной культуры в Америке придет и расцвет «жизни духа». Почти полвека прошло с тех пор, и вот перед нами две книги: «Современный роман в Америке (1900-1950)» и «Пятьдесят лет американского романа», которые показывают, что вера Горького в духовный расцвет Америки была не напрасна.

Первая книга, написанная профессором Висконсинского университета Ф. Гофманом, дает краткий обзор полувекового развития американского романа; вторая книга, которую Гарольд Гардинер составил из пятнадцати статей, написанных различными критиками о различных писателях, дополняет и углубляет первую. Обе книги развертывают широкую панораму литературной жизни Америки: натуральная школа 1900-1915 гг., первая мировая война, двадцатые годы, явившиеся для американской литературной молодежи периодом напряженной духовной лабораторной работы, тридцатые годы, вторая мировая война, идейный подъем американской литературы в последние послевоенные годы. Книги содержат обстоятельные характеристики, по крайней мере, 25-ти писателей: Генри Джемс, Эдит Уортон, Уильям Гоуэллс, Теодор Драйзер, Вилла Катэр, Эллен Глазго, Гертруда Стейн, Эрнест Хемингуэй, Шервуд Андерсон, Синклер Льюис, Джемс Кэбел, Скотт Фитцджералд, Джемс Фарел, Джон Стейнбек, Уильям Фолкнер, Томас Вульф, Ирвин Шоу, Норман Мейлер, Джон Херси, Роберт Уоррен, Алфред Хэйс, Джемс Козенс, Джемс Джонс, Джон Борнс, Карсон Макколлерс.

Прочитав эти две книги, русский читатель увидит, как много общего между американской и русской литературой. Общность эта прежде всего в самом подходе к литературе — в понимании ее учительной роли, общественного значения. Так, автор очерка об Эдит Уортон (1862-1937) — писательнице, талант которой развернулся на рубеже двух столетий и интерес к которой в последнее время опять возродился в Америке — говорит, что «литературное наследство, воспринятое ею, скорее русского и английского происхождения, нежели французского: ее суровое, серьезное понимание своей ответственности напоминает скорее Джорджа Элиота и Тургенева, нежели Флобера и Бальзака».

В Америке издавна установился взгляд на писателя-романиста, как на художника и историка, который обязан показывать, «чем люди живы». Жизненность, верность жизни, если угодно, «почвенность» характерны для лучших американских писателей. Юный Томас Вульф писал своей матери, что он превратился в «соглядатая» — подслушивает чужие разговоры, стараясь запомнить каждое слово и каждый жест, тем самым обогащая себя, как писателя. Ненасытную жадность молодого писателя к жизни он ярко показал в романе «Паутина и скала». Вульф утверждал, что «всякая серьезная творческая работа по-существу автобиографична, и писатель должен использо-

вать материал и опыт своей жизни, чтобы создать нечто по-настоящему ценное».

«Благоговением перед жизнью» проникнуто также всё творчество Джона Стейнбека. На примере его романа «Сомнительная битва», проф. Ф. Гофман показывает, как Стейнбек умеет быть до конца верным жизни, реальной действительности, хотя бы эта действительность и вступала в противоречие с некоторыми идеологическими концепциями и установками. До Вульфа и Стейнбека, в начале двадцатых годов, Скотт Фитцджералд ставил своей задачей сохранять «честность воображения», и как раз то, что он обладал, как напоминает проф. Гофман, «счастливой неспособностью подчинять свое воображение каким-либо системам абстрактных категорий», освобождало его талант и способствовало его развитию, как писателя.

Полувековая история современной американской литературы показывает, что для расцвета художественных талантов необходим особенный психологический климат — климат свободы. В Америке XX века это лучше чем кто либо понял Генри Менкен, литературный критик и публицист. Поощряя, например, таких совершенно противоположных писателей, как Джемс Кэбел и Синклер Льюис, он способствовал созданию в Америке такой атмосферы приятия, в которой могли свободно расти и крепнуть разнообразные таланты. Не будь свободы, мог ли бы Джемс Фарел создать замечательную трилогию о юноше из трущоб Чикаго? Мог ли бы Уильям Фолкнер с таким бесстрашием исследовать глубины человеческой души, раздираемой внутренними противоречиями? Наконец, могла ли бы появиться плеяда молодых послевоенных писателей, которые в целом ряде романов — «Нагие и мертвые» Н. Мейлера, «Отсюда — в вечность» Д. Джонса, «Все твои победы» А. Хэйса, «Юные львы» И. Шоу и т. д. — подвергли суровой критике армию, политическую и общественную жизнь Америки? Тем то и сильно свободное общество, в том то и заключается внутреннее его здоровье, что оно не страшится критики, не страшится «разоблачений», напротив, в конечном счете, выигрывает от них, — и перечисленным выше послевоенным романам противостоят другие: «Колокол для Адано» Д. Херси, «На страже чести» Д. Козенса, «Галлерея» Д. Борнса и т. д., которые дают совсем иные картины американской жизни и обнаруживают более широкую концепцию человека («Стена» Д. Херси), какой не найти ни у Мейлера ни у Джонса. Правда, что в свободном обществе путь писателя, порою, тоже бывает труден. Он не скован

обручами дисциплины, не связан директивами и установками, но ему приходится выдерживать иную борьбу — борьбу против соблазнов дешевого рыночного успеха, против коммерческого подхода к литературе. Но тут всё зависит от самого писателя, от его искренности и духовной крепости. Если у него хватит внутренней силы, чтобы противостоять требованиям коммерции, то он, как заметил Роберт Уоррен, заставит публику читать его «на условиях, поставленных им самим».

Роберт Уоррен творческой практикой подтвердил правильность своего положения. Принадлежа к поколению писателей, вошедших в литературу недавно, в 1940-х гг., он тем не менее успел уже установить контакт с широкой читательской массой Америки. Популярность его велика. Но не потому, что он приспособляется к публике, гонится за дешевым коммерческим успехом. Как раз наоборот! Его романы — проблемны, идейно-насыщены, помогают читателю осмыслить трагические конфликты современности. Так, он поднимает одну из центральных проблем нашего времени — проблему власти и диктатуры. Проф. Ф. Гофман подробно разбирает роман Уоррена «Все слуги Короля» (1946 г.):

«Вилли Старка, героя романа, мы сперва видим простым человеком, связанным с землею; его понятия о политической честности крайне чисты. Когда он обнаруживает, что политическая машина, сделавшая его губернатором штата, пытается поставить его себе на службу, в нем пробуждается чувство личной ответственности, — он начинает борьбу за свои собственные идеалы. Вскоре, однако, Вилли Старк забывает про идеалы: став губернатором, он полюбил власть; оказывать влияние на своих людей пришлось ему по вкусу. Правда, он жалко цепляется за свои ранние убеждения, развивает целую теорию о том, что продажные политики и бандиты мешают осуществлению его идеалов и... начинает террор, пытаясь оправдать его тем, что необходимо сделать зло, чтобы добро могло восторжествовать повсеместно. Но он только нагромождает зло на зло, порождает ненависть. Вилли Старка убивают, и всё, что он строил, рушится».

Пятьдесят лет назад Франк Норрис, автор романа «Товарная биржа», ставил перед собой задачу — писать не о злободневности, а о современности. В романах Роберта Уоррена эта задача решена. И не только в его романах: про американскую литературу в целом никак не скажешь, что она иллюстративна. Показывать «чем люди живы» вовсе не означает изображать только то, как они бурят нефтяные скважины в Техасе,

прокладывают железные дороги от Атлантического океана до Тихого, ведут финансовые операции на Уолл-стрит, доят коров на фермах Висконсина, рубят уголь в шахтах Пенсильвании... Еще Генри Джемс, в знаменитой статье «Искусство художественной прозы», говорил, что задача писателя-романиста — создавать характеры. Нравы, поступки, побудительные мотивы, и шире — человек, как микрокосм и его место в мире. Проблемы непреходящего и общечеловеческого значения решают лучшие американские писатели: тайна смерти — у Хемингуэя, власть денег — у Скотта Фитцджералда, честь и долг — у Фолкнера...

Прискорбно то, что такие американские писатели, как Уильям Фолкнер, совершенно неизвестны читателям в России. О нем распространилась слава, как о «декаденте», который «любит гнилой, умирающий мир» и наполняет свои романы «описаниями чудовищных убийств и идиотических поступков». Критический очерк о Фолкнере в книге «Пятьдесят лет американского романа» — едва ли не самое лучшее, что когда-либо было написано об авторе «Святилища». «В книгах Фолкнера, — говорит Э. Сандин, автор очерка, — описывается много ужасов, и все они описаны так мастерски, что производят максимальное впечатление. Но сделано это не ради простых эффектов, романтических или натуралистических». Подобно Достоевскому, Фолкнер видит человеческое сердце, как поле битвы, на котором противоположные силы ведут борьбу. Не затихают внутренние конфликты, возникают противоречивые сочетания гордости и нечистой совести, восторга и стыда... Как редко кто, Фолкнер умеет создавать характеры; даже второстепенные и третьестепенные персонажи у него четко очерчены и глубоко раскрыты. Сарторисы, Сутпенсы, Бундренсы, Снопсесы... — он создал целые семьи, которыми населил Иокнапатавфу, вымышленный уезд в Миссисипи, на юге Америки. Все эти характеры различны, неповторимы, но он всех их смог понять глубоко, потому что он — как и всякий большой художник — движим чувством человечности, состраданием, любовью. Об этом Фолкнер говорил — обращаясь к писательской молодежи всего мира — в декабре 1950 года, в Стокгольме, при вручении ему Нобелевской премии:

«Наша сегодняшняя трагедия — во всеобщем и повсеместном страхе, который уже так долго длится, что мы даже привыкли к нему. Проблемы духа не существует более. Есть только один вопрос: когда *меня* взорвет бомба? Из-за этого молодой писатель или молодая писательница позабыли о проблемах

человеческого сердца, находящегося в конфликте с самим собою — между тем, только об этом и можно хорошо писать, только об этом и стóит писать, только это и заслуживает мук и труда писателя.

Молодой писатель должен вспомнить об этих проблемах снова. Он обязан понять, что нет ничего низменнее, чем жить в страхе, и, поняв это, позабыть страх навсегда, ничему не оставляя места в своей лаборатории, кроме старых истин сердца, старых общечеловеческих истин, без которых всякий литературный труд эфемерен и обречен — истин, каковы любовь, честь, сострадание, гордость, жертвенность.

...Пока он не научится всему этому, он будет писать так, будто наступил конец человека. Я отказываюсь принять конец человека. Я верю, что человек не просто выдержит, но — восторжествует. Он бессмертен, потому что у него есть душа, дух, способный к состраданию, самопожертвованию и терпению. Обязанность поэта, писателя — писать об этих вещах... помогать человеку выдержать, возвышая его сердце, напоминая ему о мужестве и чести, надежде и гордости, сострадании и самопожертвовании, обо всем, что составляет славу его прошлого. Голос поэта не должен быть простой хроникой — он может стать одной из опор, которая поможет человеку выстоять и восторжествовать».

Эта взволнованная речь большого художника выражает сущность современной американской литературы, в центре внимания которой стоит человек. Пятьдесят лет американского романа — это пятьдесят лет духовного роста Америки, неустанной борьбы за возвеличение человека, всестороннее раскрытие его личности, полный и свободный расцвет жизни духа.

II. Американская поэзия

«Американская проза пользуется у нас широкой известностью. Американская поэзия у нас почти неизвестна. Если сказать, что Фенимор Купер и Брет Гарт писали также и стихи, — этому, пожалуй, просто не поверят. Если сказать, что в XIX веке в Америке, помимо Эдгара По, Лонгфелло и Уитмана, был еще целый ряд крупных поэтов и поэтесс, — это несомненно вызовет удивление. Америка в широком представлении как-то не вяжется со стихами».

Так писала «Литературная газета» 26 августа 1939 года по поводу выхода в свет антологии американской поэзии XX века, составленной М. Зенкевичем и И. Кашкиным. В самом деле, в некоторых умах создалось представление об Америке, как «царстве доллара», где всё механизировано, стандартизо-

вано, обездушено, лишено человеческой теплоты и радости. Такое понятие об Америке — поверхностно, ложно. Будь Америка такою, какой ее порой изображают, разве могла бы вырасти та мощная американская поэзия, которая, по выражению критика В. Александрова, «представляет значительно больший интерес, чем поэзия многих других западных стран»? («Литературный критик», 1940, № 2, стр. 192).

Книга Луизы Богэн — «Достижения американской поэзии (1900-1950)» — является частью коллективного шеститомного труда, посвященного литературе XX века в Америке. Как и другие книги этой серии, она невелика по объему и доступна широкой массе читателей. Изложить полувековую историю американской поэзии на полутораста страницах — нелегкая задача. Но Луиза Богэн — критик и поэтесса — сумела не только дать большое количество фактического материала, но и подвергнуть его вдумчивому анализу. Книга Богэн позволяет понять пути современной американской поэзии — ее истоки, этапы развития, проблемы будущего.

«В 1900 году поэзия в Америке ничем не блистала: она была подражательна, сентиментальна и «благородна». Так Луиза Богэн начинает свою книгу. Конец XIX века получил название «розового десятилетия», когда поэты писали условно-романтические стихи, далекие от окружающей жизни. Наряду с ходульной романтикой было немало ходульнаго социологизма в духе, примерно, русского шестидесятничества. Начало XX века, — говорит Богэн, — поставило американскую поэзию перед необходимостью «открыть путь к эмоциональной, интеллектуальной и фактической правде — к правде, свободной от догматического теоретизирования, от предрассудков, стремящихся к искажению, от переменчивой моды». Пятьдесят лет американской поэзии — это пятьдесят лет неустанных поисков правды и неуклонной борьбы за правду.

Поиски эти были облегчены тем, что, во-первых, художественная проза и живопись в Америке начала XX века уже утвердились на путях реализма; во-вторых, культурные связи между Америкой и Европой окрепли; в-третьих, критицизм, столь характерный для американской демократии, вслед за областями общественной и деловой жизни распространился и на область искусства и литературы. Один за другим стали выходить литературно-художественные журналы, один из которых — «Поэтри» («Поэзия»), начавший выходить в 1912 г. в Чикаго и существующий поныне, сыграл особенную роль в развитии поэзии, потому что он печатал и печатает стихи по-

этов самых различных направлений. Большую роль сыграли также журналы «Семь искусств», «Циферблат» и др. Поэзия обрела ту степень свободы, когда, по определению Л. Богэн, «всё открыто и есть где разыграться уму и духу», когда «нет запрещенных тем и предписанных творческих методов».

В таком климате свободы быстро, в течение трех-четырех лет (1912-1915), в Америке выросла целая плеяда замечательных поэтов, наиболее знаменитые из которых известны под названием «Большой Пятерки»: Э. А. Робинсон, К. Сэндберг, Э. Л. Мастерс, Р. Фрост, В. Линдзи. «Большая Пятерка» повернула американскую поэзию от сентиментализма — к реализму, психологической правде. Поэты «Большой Пятерки» и поныне пользуются популярностью: когда 79-летний Роберт Фрост, который живет на своей ферме в горах Вермонта, приезжает, например, в Нью-Йорк, то на его вечер собирается тысячная толпа молодежи; молодой писатель Марк Харрис (родился в 1922 году) недавно, весной 1952 года, написал роман о Вэчеле Линдзи, поэте-бунтаре.

Не только творчество «Большой Пятерки», но и вся американская поэзия определяется устремленностью к реализму. Вслед за «Большой Пятеркой» пришли поэты-имажисты, принцип которых состоял в освобождении слова от всяческих символических ассоциаций, поскольку ассоциации затуманивают «имаж» (образ). «Роза — это роза и только роза», — сказала однажды Гертруда Стейн, выпустившая первый сборник своих стихов в 1914 году. Огромное чувство конкретного у Эзры Паунда, его настойчивые требования ясности мысли и простоты выражения оказали влияние даже на такого поэта, как ирландец Уильям Иейтс, который обладал талантом большего калибра, нежели Паунд, но не имел этого типично-американского качества. Достоинство книги Луизы Богэн заключается не только в том, что она дает читателю представление, по крайней мере, о сорока новейших поэтах Америки, вплоть до начинающего Роберта Уилбура (родился в 1921 г.), но и в том, что она, устанавливая взаимные связи американских поэтов с английскими, французскими и т. д., определяет место американской поэзии XX века в мировой литературе.

«Только посредством приятия разнообразных эстетических и интеллектуальных точек зрения культура может по-настоящему дышать и насыщаться», — говорит Луиза Богэн в заключительной главе своей книги. Американская поэзия, вобравшая за пятьдесят лет много различных иностранных влияний, добилась исключительного многообразия и тем самым по-

могла самопознанию Америки. В том-то и состоит назначение поэзии, чтобы, по слову Луизы Богэн, «открывать скрытые истины», «регистрировать малейшие перемены в атмосфере», «рассказывать народу, что таится в его сердце, рискуя даже навлечь на себя гнев народа, ибо ни один народ не знает себя вполне».

III. Американская драматургия

Помните ли вы «Любовь под вязами» в Камерном театре? Темносерый дом с зелеными полинялыми ставнями, по сторонам дома — два огромных вяза... В доме под вязами живут старый, но крепкий, высокий и жилистый фермер Ефраим Кабот, два его сына — Симеон и Питер — от первой жены, третий сын, Ибен, от второй жены. Все они обуреваемы страстями и желаниями: старшие сыновья мечтают о том, чтобы бросить отцовскую ферму, скупую землю Новой Англии, — им грезится калифорнийское золото; Ибен, ненавидя отца, замучившего его мать тяжелой работой, ищет чем бы отомстить старику; между тем, старик, исстрадавшийся от одиночества, жаждет домашнего очага, семьи. Ефраим Кабот женится в третий раз — на молодой, здоровой и чувственной Эбби. Ему 75 лет, ей только 30, но она выходит замуж, потому что и она движима страстью — обрести твердую почву под ногами, добиться собственности, обеспеченности. Эбби становится хозяйкой фермы, и это вызывает ненависть к ней у младшего сына, Ибена, который считает, что ферма, где его мать пролила столько пота и слез, принадлежит ему и только ему. Наряду с ненавистью, однако, в нем растет и любовь к молодой мачехе: развивается глубокий и страстный конфликт, завершающийся тем, что Эбби рожает от Ибена сына — и убивает его в колыбели.

Юджин О-Нейл написал эту острую трагическую пьесу в 1924 году, а в 1926 году она была уже переведена и поставлена в Камерном театре в Москве. В роли Эбби Кабот выступала Алиса Коонен, создавшая трагический образ большой силы; публика в зрительном зале замирала, когда она — высокая, полная твердости и решимости — появлялась впервые на сцене и, жадным взглядом окинув ферму, произносила: «Всё это мое!» Юджин О-Нейл, увидев спектакль во время заграничной поездки Камерного театра, писал потом, что постановка эта «передавала именно внутренний смысл моей работы», «я был изумлен и преисполнен самой глубокой благодарности». Камерный театр, в свою очередь, оказался многим обязан автору пьесы: по словам А. Я. Таирова, именно в постановке «Люб-

ви под вязами» театр подошел к тому стилю игры, которого долго искал, — стилю «конкретного реализма» (термин Таирова), насыщению эмоциональной игры характерными деталями, взятыми из реальной действительности. Так в 1920-х гг. творчески перекликались русский театр и американская драматургия, взаимно обогащая друг друга, делая общий вклад в мировую — всечеловеческую, не знающую границ и барьеров — культуру.

Кроме «Любви под вязами», Камерный театр, как известно, поставил еще две пьесы О-Нейля: «Косматая обезьяна» и «Негр», а также «Машиналь» Софи Тредуэлл и «Вершины счастья» Дос-Пассоса (1934 г.). Приходится сожалеть, что перекличка эта оборвалась, хотя на американской сцене и предпринимались попытки продолжать взаимное сотрудничество. Американский театр тем временем, разумеется, не стоял на месте: о путях его развития рассказывает Алан Доунэр, профессор Принстонского университета, в книге «Пятьдесят лет американской драматургии (1900-1950)».

Доунэр начинает издалека — от тех времен, когда американский театр во всем подражал английскому, и лишь немногие драматурги (Джемс Герн — в пьесе «Маргарита Флеминг», 1890, Август Томас — в «Алабаме», 1891) пытались освободиться от подражательности. К тем временам относится и пьеса Джона Лонга «Мадам Батерфлей», которая имела такой успех, что Пуччини написал на составленное по ней либретто оперу. Драматургия страдала тогда от условностей — патетической риторики, слащавой сентиментальности.

В 1909 году, однако, появилась пьеса «Самый легкий путь» Юджина Уолтера, в которой был дан откровенно-реалистический портрет «падшей женщины». Правда, в пьесе Уолтера было больше натурализма, чем художественно-реалистической правды, но драматурги, которые пришли вслед за ним, продолжали поиски правды — и не без успеха.

Книга Доунэра знакомит читателя с творчеством более чем сорока американских драматургов XX века, в особенности последних трех десятилетий. «В течение тридцати лет, от 1920 г. по 1950 г., — говорит проф. Доунэр, — только очень немногие иностранные драматурги могли оспаривать в области реалистического театра превосходство таких американских драматургов, как Юджин О-Нейл, Филип Барри, Сидней Говард и Роберт Шервуд».

Необходимо отметить, что в самое последнее время в американской драматургии выдвинулось несколько новых блестя-

щих имен: Сидней Кингсли, Тенеси Вильямс, Торнтон Уайлдер. Кингсли, ранние пьесы которого — «Люди в белом» (1933), «Тупик» (1935) — отличались кропотливой детализацией, мешавшей развитию конфликта, погоней за дешевыми сценическими эффектами, показал себя зрелым драматургом в «Повести о сыщике» (1949), а особенно в пьесе «Тьма в полдень» (1950) написанной по известному роману А. Кестлера; действие этой пьесы развертывается в тюрьме тоталитарного государства, где содержатся жертвы чисток и политических процессов. Последние пьесы Сиднея Кингсли замечательны не только драматическими острыми конфликтами, взятыми из реальной действительности, но и глубиною психологического проникновения в характеры, в которых эти конфликты воплощены. Пьесы Уайлдера— «Наш городок», «Торговец из Йонкерса» — пленяют человечностью, любовью ко всему, что есть живого на земле. Пьесы Тенеси Вильямса — «Стеклянный зверинец», «Трамвай „Желание''», «Лето и дым» — захватывают зрителя яркими картинами жизни юга Америки и поэтической напряженностью.

Проф. Доунэр посвятил специальные главы американской комедии и народному театру, в частности, негритянскому. Он касается также проблем драматической техники, например, диалога, влияния европейской драматургии (Ибсен, Стриндберг, Метерлинк), отмечает роль премии Пулицера в развитии американского театра. В заключительной главе он приводит интересные цифры: в сезон 1950-1951 гг. на Бродвее в Нью-Йорке было поставлено 43 новых пьесы, 11 из них «импортированы», а остальные написаны американскими драматургами. По крайней мере, тринадцать спектаклей имели не только огромный коммерческий успех, но и поистине отличались свежестью, новизной, зрелостью художественного мастерства.

Во вторую половину XX века американская драматургия, как и художественная проза и поэзия, шла по восходящей линии зрелости и расцвета.

Михаил Коряков

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ Н. А. БЕРДЯЕВА К ГОСПОЖЕ Х.

(1930-39)

«Вы пишете, что остановились у порога моего дома, не решаясь войти! Двери моего дома открыты особенно для тех, кто в тоске и отчаянии.»

«Место Сына Божия на Голгофе, таков мир. В этом смысл Креста. И все в жизни должно пройти через Крест. Это величайшая истина.»

«Я люблю прежде всего свободу духа, и Бога и Истину люблю больше, чем какого либо человека.»

«Вы спрашиваете меня, неужели я не чувствую несправедливость жизни и неужели могу жить. Я не только чувствую несправедливость, но и знаю, что мир лежит во зле. Я со страшной остротой переживаю зло и страдание мировой жизни. Но я верю, что последнее слово принадлежит Богу, то-есть Смыслу, а не бессмыслице. Я тоже думаю, что само существование человека подвергается величайшей опасности, что человек может переродиться в муравья. И все-таки я верю, что человек призван к вечности и к царственному предназначению.»

«...Я вполне верю в женскую любовь, считаю женщину в высшей степени способной к ней, но характер этой любви внушает мне отталкивание, нисколько меня не привлекает, сейчас вообще далек от этого.»

«Я всегда себя чувствую лучше при всяком активном состоянии, чем при пассивном, при усилии лучше, чем при отсутствии усилия и при быстрой ходьбе менее устаю, чем при медленной, стоя и сидя лучше, чем лежа. Это мое основное свойство...»

«Истина никому не оказывает полезных услуг...»

«Вся умственная культура русских коммунистов необыкновенна низкая. Такова вообще культура «просветителей». В советской России происходит элементарный процесс просвещения и цивилизации, но культуры нет.»

«Я не люблю людей, которые не любят животных. Сильная, почти страстная любовь к животным существам очень характерная черта моей природы. Это есть не только сильное чувство прелести, красоты и глубокой эмоциональной жизни животных, это имеет метафизический смысл. Есть страшная вина перед животным миром и всем космосом, от человека произошла падшесть мира. У меня глубокая антипатия к миросозерцанию, которое видит в человеке исключительно социальное существо и погружает все существование исключительно в человеческие отношения. Человек есть также и космическое существо. Человек имеет для меня главное, центральное значение, но полнота человеческого существования раскрывается и в отношении к космической жизни, которое не может быть лишь утилитарным. Забота о человеческих страданиях не должна делать равнодушным к страданиям всего живущего.»

«Ленин очень любил котов и собак, вероятно любил больше, чем людей, которых он очень презирал. Но в этой любви к животным было что-то более человеческое в его облике, чем в его революционном моноидеизме.»

«У меня есть абсолютная, незыблемая вера в Бога. Я верю в Бога потому, что не верю в самодостаточность мира и человека. Смысл мира в Боге. Вера в Бога долг благородства. В безбожии, в вере в «мир» есть что-то хамское...»

«Вы правы, у меня есть молодость души. Я себя чувствую, как в первый день творения, и это несмотря на усталость и болезни.»

«Вы говорите, что я не указываю «реального выхода». Прежде всего я не политик и не экономист, и не обязан развивать социальной программы и политической тактики. Я фило-

соф и интересуюсь прежде всего коммунизмом, как духовным явлением. Вы ошибаетесь, думая, что коммунизм нашел «реальный выход». Коммунизм есть прежде всего симптом происходящего в мире переворота, симптом конца старого мира. Русский коммунизм нисколько себя не реализовал. Боюсь, что он создает новый тип жестокой буржуазно-советской бюрократии.»

«Несение креста я понимаю творчески и активно. Но коммунизм совсем отрицает «крест», потому что он поклонился этому падшему миру и обоготворил его.»

«Я себя считаю социалистом и имею свое понимание желанного социального устроения. Но я враг социализма, основанного на обоготворении государства и общества. Я сочувствую социализму синдикального типа, который признает верховной ценностью не общество, не государство, не народ, не партию, а человека.»

«Действительно я не очень люблю богатых. Но к богатству у меня не классовое отношение, а евангельское. Я не люблю богатства и думаю, что богатым трудно войти в Царствие небесное, но это по Евангелию, а не по Марксу.»

«Вы находите, что Маркс хорошо знал и понимал человека. Маркс ничего не понимал в человеке и совсем не интересовался им. У Маркса был старый рационалистический взгляд на человеческую природу, что и значит, что он ничего не понимал в человеке. Он исключительно социолог и имел гениальные мысли о человеке, но он не антрополог. Марксизм совсем не современен, он не соответствует ни современной мысли, ни современной действительности. Так как марксисты-коммунисты действуют исключительно материальными орудиями — кулаками, тюрьмами и расстрелами, то судить об их умственных процессах и об их понимании человека невозможно и не должно. Сам Маркс был, конечно, другой, но со времени Маркса произошла бестиализация. Рассматривающий человека, как зверя, и сам ставший зверем, не может понимать человека, он

к человеческому миру не имеет никакого отношения. Вы соблазнились торжествующей силой, как многие в наше время. Но сила эта кажущаяся и призрачная. Настоящая сила есть правда.»

«Вы очень часто многое в людях объясняете интересами, интригами и т. д. И вы, вероятно, считаете меня «наивным», потому что я не хочу обращать на это внимания. В действительности я отлично знаю и вижу, но сознательно не хочу обращать на это внимание. Мне очень противны законы мира. Я острее чем когда либо сознаю, что совсем не присутствую в «мире», как часть в целом. Я очень активно отношусь к миру, но как человек чуждый ему, пришедший со стороны. При этом я чувствую ответственность за мир и за людей.»

«Вы все думаете, что осуществится какое-то лучезарное будущее, путь же неизбежно отвратителен. Но отвратительным путем может осуществиться лишь отвратительное будущее. Это доказывает вся история. Самое главное именно «путь». Вся жизнь человеческая, индивидуальная и историческая, есть лишь путь. Этот мир есть «путь.»

«Вы ставите в центре жизни любовь и пишете ее с большой буквы. И вот я хочу вам высказать несколько горьких мыслей о любви. Любовь (я говорю об эротической любви между мужчиной и женщиной) до такой степени испошлена и загрязнена, что невозможно уже будет на человеческом языке произносить слова любви. Настоящая любовь имеет глубокий смысл, но она редка и для ее выражения нужны иные слова и жесты. На современных любовных романах лежит неизгладимая печать пошлости и вульгарности. Не всегда так было. В эпоху ренессанса было иначе. В нашу эпоху, в которой умирает красота, нужно серьезно об этом задуматься...»

«...Я знаю, что женская природа обладает необыкновенной способностью обманывать себя, ошибочно и иллюзорно выражать в сознании то, что происходит в бессознательном. Другие люди падают жертвами того ошибочного толкования,

которое женщины дают собственным состояниям. Женщина загадка прежде всего для самой себя, она не понимает, что в ней происходит и к чему она стремится. И кроме того женская природа имеет склонность к одержимости.»

«В мире происходит ужасающий кризис женщины. Она стала неизвестно чем, особенно это надо сказать про одаренную женщину.»

«Женщины легко бывают захвачены одним каким нибудь состоянием, вытесняющим все остальное, все многообразие мира. Поэтому у женщины исключительная склонность к одержимости. Если женщина переживает страдание от неразделенной любви, то на вопрос, что такое мир, она легко может ответить: «мир есть неразделенная любовь». Мужчине не свойственно дать такой ответ. Он может страдать от неразделенной любви, но наряду с этим он может по-прежнему быть поглощенным наукой или своей политической деятельностью. Типически мужская природа многопланна, она в одно и то же время совмещает страдание и радость, подавленность и подъем, страдание от одного, радость от другого. Именно поэтому мужчина так много мог сделать в истории во всех областях. Поэтому же женщина гениальнее и целостнее в любви, мужчина же за редким исключением частичен. Я могу сочувствовать подавленности от матерьяльных затруднений и в то же время испытывать большой подъем умственного творчества. Я всегда чувствую себя живущим не в одном мире, а в двух мирах, даже в нескольких мирах и никогда не принадлежу к одному проявленному миру.»

«...О любви и спасении в связи с Жуандо. Любовь другого существа может помочь, но сама по себе не может спасать. Глубже у Жуандо тема об аде.»

«Основная мысль моей книги «Смысл творчества» и опыта «Назначение человека» в том, что все продукты творчества, обращенные к людям, есть уже охлаждение творческого огня, отяжеление, притяжение вниз к земле после творческого

взлета вверх. От чистого творческого горения мир должен был бы сгореть. Мир не мог бы его вынести.»

«Есть два типа людей среди тех, которые хотят возвыситься над обыденностью жизни — одни ищут жизненного подъема, счастья, радости в пределе, ищут выхода в «как», другие ищут истины, правды, смысла и хотят перейти в мир истины и смысла, ищут выхода во «что». Я очень резко принадлежу ко второму типу. Мне непонятен и чужд тип А. Жида, который будучи пуританином по своим истокам, всю жизнь искал радости жизни и пришел к жалкой философии, которая видит в счастьи цель человеческой жизни. Я верю, что есть сущая Истина, сущий Смысл. Истину и Смысл нужно искать и утверждать, хотя бы от этого жизнь была страданием и несчастьем.»

«...Чувствую агонию мира, но чувствую, что она нужна. Для нашего времени и мне представляется характерным, что личная судьба переплетается с мировой судьбой, нет изолированной личной судьбы. Человек никогда еще не был так выброшен в мир, в историю, в коллектив и никогда еще не был так одинок.»

«...Апокалипсис есть буря и он подтверждается всей судьбой мира.»

«Ощущение божественной тайны мира есть величайшая реальность и реальность есть духовный мир, в который душа наша погружена. Но не всё, что мы осязаем и ощущаем есть реальность — есть ложные осязания и ощущения...»

«Человек не выносит той веры в себя, которая должна была бы быть направлена не на человека, а на высшее, чем человек.»

«Я очень хорошо относился к своим родителям, но у меня всегда было чувство, что я не от родителей родился, а пришел из какого-то другого мира.»

«Вы говорите о журнале, который соединяет символ креста с символом серпа и молота, я знаю и видел его... Я возра-

жаю против слияния Креста с серпом и молотом, но совсем не потому, что я против символа серпа и молота, я наоборот очень сочувствую этому символу промышленного и сельскохозяйственного труда. Но нельзя соединять в одно Крест, который относится к вечности, с серпом и молотом, которые относятся ко времени.»

«Не знаю, заинтересует ли вас моя книга «Дух и реальность». Она очень далека от того, чем живет сейчас современный мир. Впрочем, думаю, что так должно казаться извне, изнутри же книга имеет очень большое отношение к тому, что происходит в мире. Я ведь неспособен к совершенно отвлеченной мысли.»

«Я считаю Жуандо[1], быть может, самым большим талантом во французской литературе. Но у меня нет к нему нравственного доверия. Он не человек, который ищет правду и истину и дорожит ими более всего. Его интересует что-то другое, какие-то счеты с самим собой.»

«Хочу сделать пояснение для определения моего отношения к процессу московскому, которому я придаю огромное значение. Подлость и низость этого дела не в факте расстрела (хотя я абсолютный враг смертной казни, террора и убийства), а в том, что левых коммунистов, единственных оставшихся верными интернациональному коммунизму, из политического расчета и борьбы за власть выдали за фашистов, контрреволюционеров и защитников капитализма. Это факт беспримерный во всемирной истории. Главные сподвижники Ленина и создатели коммунистической революции названы убйцами и ворами. Хороши обвинители и обвиняемые. Дантон иначе умирал, ему предоставлено было право умирать, не позоря себя. Революции бывают неизбежны и могут иметь положительные последствия, но в них поражает отсутствие благородства и черная неблагодарность, они пожирают своих сыновей. Но никогда

[1] Н. А. Бердяев ценил всё творчество Жуандо и особенно его книгу «Veronique».

еще не происходило этого в такой циничной, лживой и подлой форме. При этом я должен сказать, что не имею никакого политического сочувствия к жертвам этого процесса. Нынешняя власть, явно склоняющаяся к своеобразному фашизму, имеет здравый смысл и реалистическое чутье, и политически для интересов России она лучше, чем доктринеры старого коммунизма. Деятельность Троцкого я считаю вредной и опасной для России. Но одно дело политическая оценка власти, другое дело оценка моральная. Не всё дозволено, есть вечный закон Божий и вечный закон человечности. Всё, что допускает низость и подлость, принесет ужасные плоды в будущем. Меня радует, что у социалистов Запада нашлась нравственная свобода и независимость, чтобы осудить этот процесс, как беспримерный по бесправию и фальсификации. Коммунизм неприемлем не потому, что он посягает на собственность, которая сама по себе была насилием, а потому что он отрицает достоинство человека, создает нравственное рабство и ввергает людей в непрерывный ужас и страх.»

«Мне не раз уже говорили, что в моей манере писать есть империализм, есть властность, которая может раздражать. Это особенно интересно потому, что в жизни я совсем не властолюбив, не люблю власти над людьми и меня даже стесняет всякая власть над другими, как я не терплю никакой власти других над собой. Я очень свободолюбив, очень открыт для чужой мысли, для всяких молодых и новых течений и способен понимать их. Но мое мышление властно и повелительно, это сказывается в моей манере писать, сказывается в спорах. При этом я совсем не хочу вести за собой, совсем не заинтересован, чтобы иметь учеников и последователей, совсем лишен воли к власти.»

«Только христианство по существу и до глубины отрицает «соблазн богатства», который есть лишь выражение соблазна «мира» вообще.»

Беда не только в несоответствии между средствами и целями, беда в том, что и сама цель есть лишь средство. Самая

совершенная организация общества есть лишь средство. Цель лежит в человеке, в человеке же раскрывается вечность и бесконечность, открывается дух. Коммунизм применяет свои средства для осуществления только средства, т. е. известной общественной организации, которая, правда, справедливее других организаций, но цель остается закрытой. Такими же средствами создавались все государства, империи, национальные объединения... Цели же так же оставались закрытыми. Всё это сходство целей, эта закрытость целей и внушают наибольшее беспокойство.»

«Страстность идейная у меня сильнее всякой другой страстности.»

«...Венера родилась из пены морской. Она была богиней в Греции. В нашем мире она стала кафешантанной певицей или кокоткой.»

«Мне было смешно читать, что вы сопоставляете «мое христианство» с марксизмом, одним из самых догматических, неподвижных, застывших учений, которые только были созданы в истории человеческой мысли. Динамизм русского идиотизированного марксизма совершенно внешний, кажущийся. Никакой динамики мысли, никакого движения духа, это абсолютное удушье каземата. Я всегда думал, что организованный материализм приведет к динамической неподвижности.»

«Я враждебен духу коммунизма, он мне до ужаса чужд. Я сочувствую уничтожению социальных классов, созданию чисто трудового общества.»

«Нужда Бога в человеке очень глубокая. Это глубже проблемы любви и вместе с тем это есть проблема любви.»

«Видно, что вы никогда не читали Евангелия. Если бы читали, то не сказали бы так легкомысленно и так немудро, что простота от человека, а непростота от Бога. Христианское откровение учит нас тому, что простота от Бога, что всё великое просто, как прост белоснежный Монблан, который эти дни я

вижу перед собой. От человека же непростота, запутанность, раздвоенность, замутненность, кривляние, непрямота. Простота и есть победа духовности над нецельностью, раздвоенностью, мутностью нашей душевной и плотской жизни. Вы мне делаете честь, утверждая, что во мне всё так спокойно, так плавно, так стройно. Но такая характеристика основана на незнании меня. Я очень неспокойный человек, мятежного духа, и во мне, может быть, к сожалению, нет ни плавности, ни стройности. Но у меня есть вера и знание простой Истины. Я люблю простоту и стремлюсь к ней, но сам не прост или прост в самом главном.»

«Вы спрашиваете меня, что я думаю о современном искусстве. Думаю, что искусство переживает не только кризис, как думают сейчас многие, но думаю о возможности его конца. Кризисов в искусстве было много. Но теперь вопрос серьезнее. Конечно, таланты еще есть, современный роман интересен, но великого искусства нет и совершенно ослабело творческое воображение. Меня поражает растерянность деятелей искусства перед происходящими социальными конфликтами и революциями. Одни уединяются всё более и более и порывают связь с жизнью, другие приспособляются к коммунизму. Всю советскую литературу ведь нельзя назвать литературой. Литература потеряла свое учительское значение. Она в хвосте. И вместе с тем искусство перестало быть чистым искусством, из него исчезла красота. Человек был главным предметом искусства. Так было в греческом искусстве, в Ренессансе, в 19-м веке. Сейчас происходит дегуманизация в искусстве. Об этом я писал в России 30 лет тому назад в статье о Пикассо. Я писал тогда, что исчезает целостный образ человека, остаются лишь элементы, клочья человека. Футуризм был смешением человека с машиной и вещами. Но и ново-классицизм, напр. Валери, хочет отвлечь от человеческого мира и достигнуть чистой формы. Настоящий классицизм таким не был. Театр Расина был человечен, как и музыка Моцарта. Нет более трагедии, и она невозможна в трагическую эпоху. Современный роман не есть роман психологического анализа, в нем раз-

ложение чувства, раздвоение интеллектуального сознания. Человек большей частью функция пола. Современный роман имеет скорее научное значение и свидетельствует о глубоком кризисе искусства. Нет катарзиса, возвышения над тем, что художник изображает. Потерян смысл искусства — упреждение преображения жизни. Я думаю, что мы стоим на пороге перехода искусства за свои пределы.»

«Эти дни я много думал о национализме. Это один из самых опасных идолов, терзающих человечество. Он глубже этатизма. Современный национализм не интересуется национальной культурой, он интересуется лишь мощью государства, он создает армии, технику, полицию. В национализме замкнутость и экспансия. Национализм большевиков превращается в империализм или мессианизм. Интернационализм, который вас так пленяет, не меньшая ложь. И не только потому, что он лишает рабочих своего отечества.»

«Вы, как и все коммунисты, говорите об эксплоатации и угнетении рабочего. И это правда — эксплоатация существует. Но вы забываете, что в материализме и атеизме не существует понятия эксплоатации. Если человек есть материя, как учит коммунизм, то власть сильнейших естественна и законна. В борьбе за существование побеждают лучшие и сильнейшие. Поэтому кулаки и эксплоататоры властвуют в силу природной необходимости и суть лучшие люди.»

«Люди Запада не понимают того, что совершается в Сов. России. Русский народ — народ апокалиптический. Он сделал опыт осуществления социализма. Он не принял гуманистической цивилизации с демократией и парламентом, и в этом трагическом опыте выявились последние пределы социализма, изобличающие его природу. Люди Запада должны многому научиться в этом опыте. Действительность показала, что вопрос о социализме не есть вопрос экономический и политический: это вопрос о Боге и бессмертии. Я вам советую над этим задуматься.»

«Я верю и я ожидаю наступления тысячелетнего Царства,

хотя это ожидание и эта вера не ортодоксальны. Тысячелетнее Царство это третья сфера, ни земля, ни небо. Это грань между потусторонним и посюсторонним. Расплавление затвердевшего, падшего мира.»

«Вы любите поэзию, но вам непонятно, что великое творчество, да и вообще подлинное творчество, невозможно во имя свое: творить можно только во имя Божие. Творчество имеет двух противоположных родителей, оно рождается от бедности, ущербности и от богатства, от избытка сил. Когда природный человек творит не для Бога, а для себя, то он создает небытие. В подлинном творчестве, в творческом экстазе бóльшая отрешенность, чем в смирении, бóльшая дума о Боге, чем о себе. Творчество всегда жертвенно. Творчество, не проходящее через жертву, — пустота.»

«Вы недостаточно понимаете, что у меня мистическое чувство и понимание жизни, и что я христианин. Для христианского философа всё в этом мире есть символ иного духовного мира. Коммунизм материалистического и атеистического духа после всех своих «этапов» никогда не победит символа денег, и власти денег, потому что деньги символ власти «князя мира сего», которому коммунистический дух покланяется, принимая соблазн «богатством». Символу денег противоположен символ Распятия, мистерии денег противоположна мистерия евхаристическая. Для вас это мифы, поэзия, для меня же реальность, первореальность. И я не отрекусь от этих реальностей потому, что от них отреклась бóльшая часть человечества.»

«Я, конечно, ищу «смысла», но мне нужно не только понять «смысл», мне нужно и реализовать его в полноте жизни.»

«Христианство было искажено и не могло осуществиться в мире, потому что оно обращено к свободе человека и не допускает насилия...»

«Дух может отчуждаться от себя, что и происходит в объективации, и может умаляться и иссякать. Дух может быть отрезан от жизни мира. В этом трагедия духа и трагедия жизни.

Материалист имеет дух, но он отчужден от него в своем сознании. Человек может быть выброшен на поверхность и его собственная глубина может закрыться.»

«Я очень устал. У меня любимый кот. Я вообще очень люблю животных. Он заболел и я не спал от беспокойства за него несколько ночей.»

«Я не выношу страха и испуга и ни в малейшей степени не испытывал таких состояний даже, когда в Чека разговаривал с Дзержинским.»

«Присланная вами статья Мальро неглупая, но зрячей и проникающей в явление ее нельзя назвать, это рассуждение отвлеченного характера. Мальро тип современного человека, закованного в относительности разных типов цивилизации. Он не прозревает о существовании реальностей, которые не связаны с цивилизацией и не относительны, т. е. не связаны с временем и местом.»

«Я действительно не человек «вчерашнего» или «сегодняшнего» или даже завтрашнего дня. Я смотрю в более далекое будущее и даже не в будущее, а в вечность.»

«Выйдите из мира скепсиса, в котором все двоится, и войдите в мир, в котором есть Бог, в котором «добро» и «зло» реальности бытия, а не человеческие чувства и мысли...»

«Я менее всего склонен погибать от каких либо отношений с женщинами. Это противоречит моему сознанию своего призвания в мире.»

«...Воскресение может быть для меня только через Христа.»

«...Считаю ужасным, что первый опыт реализации большей социальной справедливости в России ассоциируется с тиранией и рабством. Христианство губило себя в истории не своими целями, не своим чистым источником, а средствами, ко-

торыми христиане его хотели осуществить. И так будет всё загублено.»

«Мешает естественному сочувствию эмиграции — она бедна, несчастна, потерпела поражение — то, что она слишком часто сознает себя носительницей высших принципов, что есть ложь.»

«Должен сознаться, что я не люблю личности Достоевского, у меня даже отталкивание от него.»

«Данте великий гений, выразивший огромный мир. Но я не люблю его. Я считаю его гением мести.»

«Мир горит. Ошибаются те, которые думают, что историей управляет разум, а не безумие.»

«Самоубийство всегда есть эгоизм и поглощенность собой, неспособность думать о других. Я считаю самоубийство величайшим грехом перед Богом, самим собой и другими людьми, за который человеческая душа будет отвечать перед вечностью.»

«Меня нисколько не пугает, что на меня готовят нападение на диспуте с Низаном.[2] Меня вообще не легко испугать. После вашего письма я посмотрел в философской книге Ленина, единственной по поводу абсолютной истины, и еще раз убедился в совершенной своей правоте. Это Мальро, которому я это сказал, не знает Ленина. Неприятно спорить с людьми, которые не ищут истины, а ищут победы.»

«Меня возмущает речь Бергамина[3] против Жида. Он человек искренний (не то что А. Толстой) и движется любовью к своему народу. Но ясно из его речей, что он совсем не интересуется истиной, правдой, как и слишком многие современ-

---

[2] Диспут о коммунизме в «Union de la verité». Низан — известный писатель-коммунист, убитый во время последней войны.

[3] Бергамин — известный испанский писатель, католик, участвовавший в борьбе против Франко и бежавший из Испании.

ные люди. Он смотрит на книгу Жида, да и на русский народ, исключительно с точки зрения пушек и авионов, помогающих испанскому народу в войне. Но есть вопрос еще более важный, вопрос о том, правда ли, верно ли то, что пишет Жид о России, вопрос о трагической судьбе русского народа. Всякая правда должна быть принята, хотя бы она была невыгодна. Правда всегда невыгодна, выгоднее ложь. Небывалая лживость нашей атмосферы в том, что сейчас требуют тоталитарного приятия и одобрения. Это рабство. Никогда не было такой трусости, как в наши дни. Революционного героизма сейчас меньше, чем когда-либо. Нужно более всего нравственно обличать безобразие и низость в революции... Я христианин, но я не только не защищаю и не оправдываю безобразий и мерзостей, которые совершили христиане, но считаю своим долгом их обличать. Но для этого нужно верить в существование истины. Диалектический материализм неизбежно отрицает безусловность истины и подчиняет ее борьбе за силу. На эту тему я вел бесконечные споры с Луначарским в молодые годы.»

«...А. Белый, как писатель и художник, стоит многими головами выше Горького, в нем были черты гениальности. Горький талантливый варвар-азиат, который органически не мог приобщиться к европейской культуре. Он идолопоклоннически относится к цивилизации Запада.»

«Я считаю книгу Суарэса одной из самых замечательных книг последнего времени. В коммунистической мысли это первый шаг вперед со времени Маркса. Маркс был гениальный человек, но марксисты в большинстве случаев идиоты, повторяющие, как попугаи, одно и то же без всякого движения мысли. В современной молодой советской философии, которую я довольно хорошо знаю, есть изменение по сравнению с классическим марксизмом (отрицание детерминизма), но по оригинальности и углубленности этого нельзя сравнить с Суарэсом. Его наверно признали бы еретиком и посадили бы в тюрьму. Он первый ставит не проблему общества, а проблему революции человеческого сознания. Это мистика коммунизма и

безбожия. Построение Суарэса я считаю философски несостоятельным, оно основано на непонятном и ни на чем не основанном оптимизме в отношении к природе, к универсальному. Но его опыт блестящий и оригинальный и вполне подтверждает то, что я думаю о коммунизме. Ленин этого еще не знал и не понимал. Его сознание наполовину принадлежит старому миру. То, что говорит Суарэс, поразительно по своему сходству с христианством. Это обезбоженное христианство. В этом жуткость книги. Христианство тоже требует преодоления «я», самости, эгоцентризма, вмещения универсального в мгновении победившем время, замены реакции порождающей изоляцию «я», реакцией целостной.»

«С детских лет мне свойственно одно состояние, которое лучше всего определяется словом «тоска». Более всего оно было мне свойственно в юности. В последнее время оно опять у меня обострилось. Источник тоски — чуждость мира, тленность, преходящесть всего в мире. Это тоска по вечности, родной вечности.»

«Вы неверно истолковываете истину о том, что нужно умереть, чтобы воскреснуть, христианскую истину. Здесь говорится о вольном несении креста и смерти, а не об убийстве. Во всяком случаѣ воскреснут убиваемые, а не убивающие. Погибают именно убивающие. Нужно пожалеть этих погибших людей. Диктаторы самые погибшие, самые падшие, нужно пожалеть их, перестать ими восхищаться.»

«Для вас центр тяжести лежит в жизни рода, которая всегда проэктируется в будущее. Для меня же центр тяжести лежит в жизни личности, всякой личности, жизнь же личности есть вечное настоящее; она никогда не может быть средством. Коммунизм, как философское мировоззрение, имеет ложное учение о времени. Это лишь метафизическая ошибка, вследствие которой он не знает человека в настоящем, а лишь человека в будущем.»

«...Вы очевидно смешиваете тот факт, что я философ и

действую в интеллектуальной сфере, должен по своему призванию и специальности обладать интеллектуальной изощренностью, — с рациональностью. Мне с детства присуще абсолютное чувство реальности иного духовного мира, мира невидимого, и мне всегда трудно было признать реальность видимого чувственного мира. И это чувство не связано ни с какими философскими идеями. И еще мне присуще очень сильное чувство непрочности земного мира, его стояние над бездной, постоянная близость конца. В этом я человек апокалиптический. Можно было бы сказать, что я защищаюсь философской интеллектуальностью, усилиями мысли от разверзающейся потусторонней бездны.»

«Борьба против ада — один из самых сильных во мне мотивов.»

«Не может, не должна связь одного человека с жизнью определяться исключительно другим человеком, каков бы он ни был. В этом я вижу коренную ложь отношения к жизни. У женщин их отношение к Богу, к истине нередко определяется через отношение к какому-либо человеку. Но это в сущности ставит человека выше Бога, выше истины. Вы принимаете исключительно лирическое осмысливание и оправдание жизни. Но лирическая стихия, которая, конечно, имеет огромное значение, неизбежно эгоцентрична. Лирическая поэзия преображает этот эгоцентризм.»

«...Теперь самое главное. Духовный мир не может быть результатом чего-то, ничего общего не имеющего с духом. Это коренная ложь. Низшее никогда не может создать высшее, материя не может создать духа, бессмыслица не может породить смысл, мир не может породить Бога. Дух в начале, а не в конце. Поэтому я по убеждениям своим аристократ (не в социальном, а в духовном смысле слова). Для меня никогда количество не создает качества, никогда тьма и зло не родят света и добра. Этот мой «аристократизм» духа чувствуют те, которые называют меня «реакционером». Я оказываюсь реакционером не только для марксиста, но и для французского радикала-

позитивиста. И для П. Милюкова. В качестве «реакционера» я отрицаю верховенство разума, отрицаю эволюцию, не верю в прогресс, не верю в земное счастье людей. И вместе с тем я страстный защитник свободы, борюсь за нее. Терпеть не могу «правых», консерваторов. Я являюсь сторонником бесклассового общества, социализированного хозяйства. Я сочетаю аристократическое понимание личности с социалистическим пониманием общества. Обо мне всегда будут противоречивые суждения, будут говорить о черно-красных тонах моего мировоззерцания.»

«Если я о многом вспоминаю с отвращением, то не потому, что что-то особенно отвратительное было в моей жизни, а потому что мне отвратителен весь «этот мир», вся жизнь, в которой происходит всё, что вас так притягивает...»

(Окончание следует)

Н. Бердяев

О "КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ"

Как Леонид Андреев смеялся в бороду*

У актера В. В. Лужского, которому театралы моего поколения горячо аплодировали, в Московском Художественном Театре, был однажды вечер, организованный хлебосольным хозяином не то в день его юбилея, не то в день его рождения. Так как Лужский владел не только чудесными талантами, но и винным погребом, — легко себе представить, что на вечере он показал собравшимся, как не в переносном смысле, а почти буквально шампанское может «литься рекой». Среди собравшихся у Лужского были чуть ли не все его товарищи по сцене, множество артистов из других театров, писатели, драматурги, театральные критики и просто «знакомые». Был среди этих гостей и Леонид Андреев, слава которого уже гремела, причем самое замечательное, — вспоминает об этом вечере артист А. А. Мгебров (в I-м томе своих мемуаров «Жизнь в театре»), — что, несмотря на море выпитого шампанского, не было на этом празднике пьяных, «если не считать одного Леонида Андреева, который сидел на-виду у всех и пьяный до невозможности каждому встречному и поперечному твердил всю ночь только одно: «Дурак... вот опять дурак... Господи, сколько дураков на свете...». «Никто его не трогал, но его чурались все и отскакивали от него, как мячики...».

Говорят не без основания: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Несмотря на видимое добродушие Леонида Николаевича и уважение, какое он оказывал людям, с коими общался, — Андреев внутренно издевался над ближними, считая большинство из них, за... *дураков*. Но эта уничижительная оценка других прорывалась у него (самым непристойным образом!) лишь когда он напивался. А пил он часто, подолгу, сосредоточенно, словом «запойно», обращая день в ночь и наоборот, куря до одурения, по сто папирос в сутки, пока не наступало отрезвление и измученное сердце не требовало длительного отдыха. Тогда Леонид Николаевич отправлялся в во-

---

*Печатаемый отрывок — глава из неизданной книги Н. Н. Евреинова о театре «Кривое Зеркало». РЕД.

долечебницу и проводил в ней несколько недель в полном воздержании даже от «курева», брал там укрепительные ванны, души «Шарко», подвергался массажу, электризации и соблюдал предписанную ему доктором диэту. Я хорошо знал излюбленную Л. Андреевым лечебницу в Петербурге (на Троицкой улице № 26), где сам два раза «проходил курс» электризации, «спасаясь» от невралгии руки, и подолгу говорил с доктором, пользовавшим Андреева, о его знаменитом пациенте, который выйдя из лечебницы вновь принимался за старое, изводя себя упорной, спешной работой.

«Дурак... вот опять дурак... Господи, сколько дураков на свете!».

И это говорилось без малейшей злобы, а скорее с сожаленьем, какое, правда, лишь усугубляло наносимое оскорбление. Почему-же, спросят, его ближние казались ему за некоторыми исключеньями «дураками»? Ответ на это таится в его крайне пессимистическом воззрении на мир и в непоколебимой уверенности в бессмысленности нашего существования.

К тридцатилетию со дня смерти Леонида Андреева бывшие поклонники его огромного таланта единогласно констатировали в ряде газетных и журнальных статей, что слава этого писателя оказалась на поверку дутой и что за малым исключением его писательские «умствования», затмившие одно время интерес к М. Горькому и ставившие его рядом с Достоевским, не выдержали испытанья времени и теперь вышли из моды.

Не буду повторять того, что я писал о Леониде Андрееве, в своей статье «Демон театральности» (напечатанной в нескольких №№ петроградской «Жизни Искусства», в 20-х годах сего века*, где я давал посильное объяснение — на базе моей теории театральности — тому, что казалось многим «трескучим», «поддельным», «напускным» и «мишурным», а скажу лишь, что пожалуй опрометчиво утверждать «выход в тираж» воззрений Леонида Андреева как раз теперь, когда вновь возобладал в умах многих отчаянный *нигилизм* под маской «экзистенциализма».

Перечтите андреевскую «*Тьму*», где советуется «загасить фонарики» и «лезть в темноту», мол, — «пей темнота»! Что это напоминает? Напоминает темную баньку Достоевского, символизирующую бытие на том свете, где один из героев ро-

---

* См. №№ 7 и 8 названного журнала, за 1922 г.; а также мои статьи «О постановке «*Анфисы*» и «*Анатэмы*» Л. Андреева» в журнале «Аполлон» в №№ 2 и 3 за 1909 г.

мана ничего другого, кроме пауков по углам не предвидел... А еще что? Напоминает «темный мешок», в который Жан Поль Сартр запихивает человека, утверждая вместе с Ницше, что «Бог умер», смешавшись с непроглядной тьмою. Так как *бытие* предшествует его *сущности* («l'existence précède l'essence»), — человек, по Сартру, *сначала* только существуя, лишь *потом* возникает в мире, через самоопределение. Человек, как его понимает современный «экзистенциализм», сначала является *ничем,* став лишь потом тем, что человек сам из себя сделает. Таков первый принцип экзистенциализма. Объективно же говоря (как то делает Сартр) «il n'y a pas de nature humaine, puisqu' il n'y a pas Dieu pour la concevoir».

Говорить после этого, что Л. Андреев, со своим махровым нигилизмом вышел нынче из моды, по меньшей мере, неосновательно. Но я заговорил об этом *нигилизме* совсем не для того, чтобы напомнить поговорку «ничто не ново под луной»; как в философии, где не один лишь Киркегард предшествует Сартру, так и в драматургии, где автор «*Жизни человека*» предшествует, в безысходности пессимизма, автору «Huis-Clos». Я заговорил об андреевском *нигилизме* лишь для того, чтоб указать на это присущее русскому автору мировоззрение, как на *причину,* как на *исток* мрачного юмора прославленного писателя, который не мог не смеяться беззвучно — «смеяться в бороду» — видя перед собою людей чванных, проповедующих целесообразность всего сущего, молящихся Всевышнему, уповающих на здешнее и потустороннее счастье, тратящих силы на умноженье богатства или своего влияния, в той или другой сфере, утешающихся славой, титулами, любовью, многочисленным потомством, научными достижениями и прочими благами, которые все вместе ничего не стоят в своей эфемерности, иллюзорности и обреченности на гибель в этом бессмысленном мире, где всё возникает по произволу всепожирающего времени. Смотрите: «дурак... вот опять дурак... Господи, сколько дураков на свете!».

Но почему-же они «дураки»? — напрашивался у А. А. Мгеброва вопрос, когда он в продолжение пяти часов был в компании пьяного Леонида Андреева. Очень просто, — ответил бы тот, если-б захотел пуститься в объяснения: — если всё обречено на бессмысленную гибель, если над всем царит, как злой Рок «Некто в сером» (неумолимый, жуткий в своей загадочности и в конце концов существующий лишь в воспаленном мозгу изверившегося пьяницы), то разве не достойны осмеяния дураки, думающие иначе, «строющие свою жизнь» на

иллюзорных «устоях», верящие в какого-то Бога и воображающие, что всё обстоит благополучно там, где всё, в борьбе за существование нас самих, наших идей, нашим упорным трудом завоеванных ценностей, обречено на издёвку возникающего над царством смерти «Красного Смеха»?

«Дурак... вот опять дурак... Господи, сколько дураков на свете!». Ну разве они не смешны, принимая иллюзии за действительность и не видя себя в зеркале ужасающей Истины? Он говорил машинально «Господи», призывая того, в кого не верил, хуже того — кого вышучивал в своих произведениях, где, по выражению А. Р. Кугеля, «таскал ежеминутно старого Бога за пожелтевшую седую бороду, требуя указания, как войти во все входы и выйти во все выходы».

Ни в чем ином, как в беспросветном *нигилизме* Л. Андреева, надо видеть корень того *мрачного юмора,* при котором одержимый им смеется не открыто, не на показ (мол, смотрите, как мне смешно!), а «в бороду», как Л. Андреев, который, желая скрыть смех от других, брал бороду за кончик, приближая ее ко рту, когда его кривила ироническая улыбка.

Я с ним редко встречался до 1917 года, когда он пригласил меня однажды, в час ночи, для задушевной беседы «tête à tête», о задачах театра, какой ему хотелось создать с моим участием, как режиссера. Беседа эта велась незадолго до большевицкого переворота и продолжалась до шести с половиной утра. Она происходила, как хорошо помню, в доме, где кроме Л. Андреева жила моя мать с моим братом и где процветал в ту пору «Привал Комедиантов», на подмостках которого я выступал по вечерам со своими «музыкальными гримасами».

До этого памятного свидания с Андреевым я виделся с ним лишь урывками так как он жил в Финляндии, редко приезжал в Питер, а когда наезжал, часто кутил там и с ним было трудно тогда «водить компанию»: — я был, к тому же, кроме работы в «Кривом Зеркале», всегда занят то в «Старинном Театре», то в «Драматическом Кружке баронессы Инны Будберг», то в «Палас-Театре» (где служил консультантом в опереточной антрепризе «наследников» Тумпакова), то в своей Драматической Студии или в «Студии М. А. Риглер-Воронковой», где читал лекции по теории сценического искусства.

Как известно, Л. Андреев мечтал об обращении *театра внешнего действия* в театр души или, как он выражался еще, в *театр пан-психизма.* Боюсь, из скромности, утверждать, но предполагаю, что на мысль Андреева о такого рода театральной реформе навела в известной мере моя *теория монодрамы,*

опубликованная мною как в журнале «Театр и Искусство», так и в моей брошюре «Введение в монодраму» (появившихся в печати в 1909 году), а равно и в предисловии к моей монодраме «Представление Любви» (напечатанной в сборнике «*Студия Импрессионистов*», в 1910 г.). О том, что Л. Андреев хорошо ознакомился с теорией монодрамы, я знаю из своей личной беседы с Леонидом Николаевичем, который ко времени нашего свидания в 1917 г., не успел прочесть — как он с извиненьем мне признался — лишь III-й том моего «Театра для себя» (вышедший в печати в том-же 1917 году).

Не помню подробностей нашей беседы, — помню лишь, что Андреев склонен был окончательно предоставить «внешнее действие» драмы *кинематографу;* в своем-же «новом театре», о коем он фанатически грезил, вести пьесы не к нарастанию драмы в обычной манере, а начинать подлинную драму (душевную драму) с того момента, когда внешнее действие уже кончилось и можно было основывать драматический эффект на психологии центрального характера, — уже больше не «символа», а реального лица.

До этой последней встречи с Л. Андреевым посредниками в наших с ним деловых сношениях были отчасти доктор Н. И. Кулибин (теоретик футуризма и художник, иллюстрировавший мои книги), отчасти и даже в значительной мере А. Р. Кугель, ездивший к Андрееву в Финляндию для переговоров об «условиях» постановки той или другой его пьесы (в связи с «исключительным правом» на таковую для «Кривого Зеркала»), отчасти-же драматург Фальковский, у которого Леонид Николаевич читал обычно свои новые пьесы, представляя их на суд собратьям по перу и театральным деятелям.

Когда я брался ставить пьесы Л. Андреева меня, говоря откровенно, не слишком тянуло «представлять ему на усмотрение» свои постановочные планы: я знал по опыту, что многое в деталях таких планов остается неуловимым для не-профессиональных деятелей театра; к тому-же Андреев никогда на этом не настаивал: моя постановка его «Любви к ближнему» настолько его удовлетворила, что две другие его пьесы, написанные для «Кривого Зеркала» («Монумент» и «Прекрасные Сабинянки») он предоставил мне не только «ставить» в узком смысле этого термина, но и сокращать, вплоть до изменений в ходе диалогов во избежание «затяжных» сцен.

То, что написал Леонид Андреев специально для «Кривого Зеркала», представляет собой — как не трудно в том убедиться — злободневные *анекдоты в лицах,* рассказанные со свое-

образным юмором, но поневоле длинные, т. к. их драматизация была рассчитана не на короткий минутаж какого-нибудь скэтча, разыгрываемого в артистическом кабарэ, а на комедийный акт и даже на три акта, как например, «Прекрасные Сабинянки».

Среди таких «анекдотов» наименее сценичным надо признать «Монумент», представляющий собой жанровую сценку в Городской Управе провинциального захолустья, где, уступая духу времени, «отцы города» и чинуши-«крапивное семя», ценившие Пушкина-камер-юнкера конечно больше чем Пушкина-поэта, решали вопрос о постановке ему памятника на площади, окруженной «присутственными местами». Отличные типы, шаржированные в Щедрин-Салтыковской манере, говорят у Андреева суконным языком расчетливых купцов и бездушных карьеристов об «увековеченьи» ими того, кто вещал:

«Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв».

Памятник так памятник! — решают эти великодушные ценители поэта. Остается только исчислить во что это влетит городу и решить, *куда* монумент Пушкина повернуть лицом: — бочком поставить неудобно: мол, «ни вашим, ни нашим»! Спиной к «присутственным местам» — неуваженье к начальству, а спиной к публике, проходящей по площади, — люди могут обидеться: дескать, не разобрать сразу, чей это монумент мешает движению около «присутственных мест».

В обсуждении такого рода вопросов и в соревновании, кто кого «благонадежнее» в глазах власть-имущих, проходит весь акт, вызвавший в «Кривом Зеркале» смех главным образом благодаря великолепной игре наших артистов, их художественному гриму, нарочито-закорузлым жестам, находчивым «коленцам» и может быть благодаря постановке, к которой я приложил много старанья, чтобы дать *внутреннее* движение столь неподвижной *внешне* пьесе.

В своем отчете о постановке «Монумента» в «Кривом Зеркале» «Петербургская Газета», выражая преобладающее мнение других печатных органов об этой пьесе, писала (19-го февраля 1916 г.), что новая вещь Л. Андреева «поставлена с успехом», как «*сатира на напуганность, робость и некультурность русского общества*... Какое чудовищное заседание комитета! — восклицает критик. — Всё это родные братья гоголевским типам», — аттестует он членов Городской Управы

в «городе Коклюшине», где ставится памятник великому поэту. Особенно забавными ему кажутся «художники, представившие проекты, из которых один изображает Пушкина с голыми ногами, а другой — футуристический — Пушкин сморкается».

Тот кто лично знал Л. Андреева или читал воспоминания о нем того-же А. А. Мгеброва, — не может не чуять, перечитывая «Монумент», той-же однообразной издевки, какая срывалась с губ автора, на вечере у Лужского: — «Господи, сколько дураков на свете!..». Ведь этим мракобесам, — усмехнулся он верно, — Пушкин так-же дорог, как собаке пятая нога! а вот поди-ж ты — ставят ему монумент, чтобы не отстать от столичных жителей!

Рядом с «Монументом», куда сценичней оказалась Андреевская «*Любовь к ближнему*», хотя также заслуживающая упрека в сюжетной неподвижности почти всего акта. В конце концов эта пьеса, как и «Монумент», была «размазанным» анекдотом и в то-же время «жанровой сценкой» из жизни туристов, жадных как известно до всевозможных сенсаций. Пьеса разыгрывается в «дикой местности, в горах». «На скале — пишет Л. Андреев — представляющей собою почти правильный отвес, на маленьком, едва заметном выступе, стоит какой-то человек в отчаянной позе. Как он туда попал, объяснить трудно, но ни сверху, ни снизу достать его нельзя: коротенькие лестницы, веревки и шесты показывают, что к спасению незнакомца делались попытки, но остались безуспешными. По-видимому, несчастный давно уже находится в таком отчаянном положении; внизу успела собраться значительная толпа, очень разнообразная по составу. Здесь и торговцы прохладительными напитками, и даже целый маленький буфет, около которого, весь в поту, мечется запыхавшийся лакей — он один не успевает исполнять все требования. Расхаживают разносчики — с открытыми письмами, кораллами, сувенирами и всякой дрянью; какой-то субъект настойчиво пытается навязать черепаховую гребенку, которая на самом деле не черепаховая. И со всех сторон продолжают стекаться туристы, привлеченные слухами о готовой совершиться катастрофе».

Чтоб оживить действие, содержание коего топчется на месте, выражаясь в диалогической перекличке туристов, Л. Андреев выпускает на сцену бродячую труппу певцов и музыкантов, группу членов Армии Спасения, эксцентричных англичан, фотографов и других занятных типов, долженствующих приковать внимание театральной публики к необычному на сцене месту происшествия. Какой-то высокий турист, из-

веденный ожиданьем до последней степени, выражает свое возмущенье в таком призыве к окружающим: — «Господа, вы все слышали, как он кричал: спасите меня?»

Любопытные (хором). Все, все слышали.

Высокий турист. Ну вот! И я слышал совершенно отчетливо именно эти слова: спасите меня. Почему-же его не спасают? Это возмутительно! Полицейский! Полицейский! Почему вы его не спасаете? Что вы тут делаете?

Полицейский. Очищаем место для падения.

Высокий турист. А! Это разумно. Но почему вы его не спасаете? Вы должны его спасти. Это ваш долг человеколюбия. Раз человек просит, чтобы его спасли, так его необходимо спасти. Не так-ли, господа?

Любопытные (хором). Верно, совершенно верно! Его необходимо спасти.

Высокий турист (горячо). Мы не язычники, мы христиане, мы должны любить ближнего. Раз он просит его спасти, должны быть приняты все меры, какие есть в распоряжении администрации. Полицейский, вы приняли все меры?

Полицейский. Все!

Высокий турист. Все до одной? Господа, все меры приняты. Молодой человек, послушайте — все меры приняты, чтобы вас спасти. Вы слышите?

Незнакомец (чуть слышно). Спасите!..

Высокий турист (взволнованно). Господа, вы слышите: он опять крикнул — спасите. Полицейский, вы слыхали?

Один из любопытных (робко). По моему мнению, его необходимо спасти.

Высокий турист. Вот именно! Я-же два часа только об этом и говорю.

Появляется «элегантный корреспондент главнейших европейских газет». Он крикливо выражает несчастному, ставшему центром всеобщего внимания, сочувствие и вместе с тем не может скрыть от других крайнего любопытства, сопряженного с болезненным желаньем трагической развязки происшествия.

Корреспондент (громогласно интервьюирует несчастного, в момент слегка «конфузный» для того). Что вы чувствуете? Не слышу. Громче! Ах, вот что! Н-да, положение.

Чтобы недогадливым зрителям в театре было яснее и потому смешнее от того, *что* чувствует на скалистом выступе беспомощный бедняга, я заставлял артиста, его изображавшего, болезненно хвататься за живот.

Публика хихикавшая украдкой при такой оказии, после

этого, гудела согласно реплике автора: — «Слушайте, слушайте, что он чувствует! Как это ужасно!»

Корреспондент (записывает, бросая отдельные громкие замечания). Смертельный ужас оковывает члены... Ледяной страх холодом пробегает по спине... Никакой надежды... Пред мысленным взором проходят картины семейного счастья: жена делает тартинки, пятеро детей ангельскими невинными голосами выражают нежнейшие чувства.. Бабушка в кресле, с трубкой... то-есть дедушка с трубкой, а бабушка... Взволнован сочувствием публики... Выразил предсмертное желание, чтобы последний вздох его был напечатан в нашей газете...

И т. д. — Влетает пастор, который, запыхавшись, раздвигает толпу.

Пастор. Где-же он? Ах, вот! Несчастный молодой человек! Господа, здесь еще никто не был из лиц духовного звания? Нет? Благодарю вас. Неужели я первый?

Корреспондент (записывает). Потрясающий момент... Появился священник... Все замерли в ожидании, многие плачут!

Пастор. Позвольте! Позвольте, господа! Заблудшая душа желает последнего примирения с небом. (Кричит) Не желаете-ли вы, сын мой, примириться с небом? Откройте мне ваши грехи, и я немедленно дам вам отпущение. Что? Не слышу.

Корреспондент (записывает). Рыдания потрясли воздух. В трогательных выражениях служитель церкви увещевает преступника, то-есть, несчастного... Со слезами на глазах, слабым голосом, несчастный благодарит...

Незнакомец (слабо). Если вы... не отойдете, я прыгну вам на голову. Во мне шесть пудов. (Все испуганно отскакивают и прячутся друг за друга).

Один из туристов, англичанин, кричит бедной жертве, угрожающей упасть «любителям ближнего» на голову: — «Послушайте, почтеннейший! не желаете ли вы свалиться поскорее?.. Разве вы не видите, что они только этого и ждут? И, как джентльмен, вы должны доставить им удовольствие, а себя избавить от унижения — страдать публично перед этим сбродом... Бросайтесь скорее, слышите? Если не хватает смелости, то я вам помогу хорошим выстрелом. Соглашаетесь или нет?

Голоса. Этот рыжий дьявол сошел с ума!

Полицейский (хватает англичанина за руку). Вы не имеете права этого делать. Я вас арестую.

Какой-то турист. Варварская нация!.. (Незнакомец что-то кричит. Внизу движение. Голоса: «Слушайте, слушайте»!)

Незнакомец (громко). Уберите к чорту этого осла, он меня застрелит. И скажите хозяину, что я больше не могу.

Голоса. Что такое? Какому хозяину? Он сходит с ума, несчастный!

Несколько разъяренных туристов почти волокут какого-то сильно испуганного господина в белом жилете. Он улыбается, кланяется во все стороны, разводит руками и то, подталкиваемый, быстро бежит вперед, то старается ускользнуть в толпу, но его хватают и вновь волокут.

Голоса. Наглый обман! Это возмутительно! Полицейский, полицейский. Его надо проучить!

Оказывается, «сенсация» была подстроена с меркантильным расчетом.

«Это шутка, почтеннейшие господа! — объясняет «антрепренер» коварной «сенсации»: — публика скучает и я хотел ее немного развлечь».

Дело разъясняется, при общем негодовании собравшихся туристов.

«Вы слышите, господа? — негодует один из них: — этот негодяй в белом жилете нанял другого негодяя и просто-напросто *привязал* его к скале».

Взрыв возмущения.

«Господи, сколько дураков на свете!» — смеялся верно в бороду Л. Андреев, издеваясь за письменным столом, над «любителями ближнего».

«Что такое? — иронизирует он, влагая в уста одной из присутствующих идиотский вопрос: — Почему он не будет падать? А кто-же тогда будет падать?.. Он должен упасть!»

«Антрепренер» извиняется, объясняя шутку желаньем угодить публике, дать ей «несколько часов приятного волнения, подъема нервов, вспышки альтруистических чувств».

Англичанин. Буфет ваш?

— Мой.

— И отель внизу ваш?

— Мой. Публика скучает... — оправдывается «антрепренер» всей затеи.

Корреспондент (записывает). Наглый обман... Содержатель буфета в желаньи повысить доход со спиртных напитков, эксплуатирует лучшие человеческие чувства...

«Вот дурак»! — думал верно в это время Л. Андреев, ужасаясь, сколько дураков на свете.

Один из туристов изливает свое негодование в лицо виновнику происшествия: — «Вы понимаете, что такое вы сделали? Ради своих отвратительных целей, вы безбожно эксплуатируете *любовь к ближнему*. Вы заставили нас переживать страх, сострадание, отравили наше сердце жалостью и что-же оказывается? Ваш гнусный сообщник привязан к скале и не только не упадет, как все того ожидают, но и не может упасть!

«Вот опять дурак!.. сколько их, Господи?» — смеялся верно снова Андреев, сочиняя этот монолог.

Фотограф. Я три катушки испортил, *снимая* этого негодяя. Вы мне ответите за это, милостивый государь!

Приводят полицейского. Составляется протокол. Занавес падает. Публика в театре, разоблаченная в своей «любви к ближнему», натянуто хохочет и нехотя вызывает автора. Но автора в театре нет: — он сидит у себя на даче в Финляндии и пишет очередную пьесу, работая — по выражению одного критика — «как паровая машина».

Одна из таких очередных пьес на злободневную тему, написанных специально для «Кривого Зеркала», попала «не в бровь, а в глаз» кадетской партии во главе с профессором П. Н. Милюковым, и была приветствована всеми сторонниками решительных действий против Николая II-го, пытавшегося свести на-нет и без того куцую конституцию, «дарованную им», через силу, восставшему народу.

Называлась эта пьеса, в 3-х картинах, «Прекрасные Сабинянки» и постановка ее, по желанью Л. Андреева, была поручена мне, как и двух других его пьес. Вот как оповещалась публика об этой новинке, в журнале «Театр и искусство» от 13 ноября 1911 года: — «Прекрасные Сабинянки» Л. Андреева распадаются на 3 части или картины: «в первой сабинянки, похищенные римлянами, сопротивляются похитителям, которые «пахнут солдатом», однако затем сдаются. Во второй картине сабиняне, от которых «пахнет не солдатом», а доктринером, собираютъ юридическую комиссию для обсуждения правовой стороны инцидента. А в третьей сабиняне докладывают свои юридические доказательства, против которых римляне, однако, не выставляют никаких возражений. Но сабинянки уже потеряны для сабинян: они привязались к *силе*. Идея этой остроумной сатиры: «la force prime le droit».

Пьеса начинается с того, что вооруженные римляне волокут из-за горы похищенных сабинянок, полуодетых кра-

сивых женщин. Они сопротивляются, визжат, царапаются. Вскрикивая от боли, при новых царапинах, похитители торопливо сваливают женщин в кучу, а сами поспешно отскакивают в сторону, оправляются, едва могут дышать. Диалоги римлян с похищенными сабинянками полны ультра-комедийных выражений, коими снабдил Л. Андреев, как изголодавшихся сексуально солдат, так и их пленниц, с виду оскорбленных, но втайне довольных властью своих чар над грубой солдатней. (Особенностью-же вложенных в уста тех и других диатриб являются нарочитые *анахронизмы,* возвращавшие (в 1911 г.) мысль зрителей к переживавшейся ими современности).

Оставшись одни, для «военного совета», сабинянки решают: «пусть делают с нами что хотят, но мы останемся верны (мужьям), как Тарпейская скала!»

— О чем тут говорить, — возражает одна, — когда сила на их стороне?

— Сила не есть еще право, — отвечает другая, прибавляя: «как сказано в римском праве». Пустите меня и я им докажу, что они не имеют права нас держать, что они обязаны нас отпустить, что по законам божеским и человеческим и вообще, как там говорится, они поступили прямо по-свински.

При примирительных переговорах с сабинянками, римляне хвастают: «Взгляните на нас: мы не какие-нибудь ловеласы с Невского! Мы только что основали Рим и пылаем желанием его увековечить».

Вторая картина переносит нас в стан сабинян, скорбящих об утрате похищенных жен. «Головы их, — пишет автор, — уныло склонены набок, вся поза выражает стилизованное отчаяние».

Входит Анк Марций (сабинянин) с письмом, в котором бедным мужьям сообщается адрес похищенных у них жен. Наступает момент, когда пора им, не откладывая, собираться в поход на освобожденье прекрасных сабинянок. Недаром же их мужья занимались гимнастикой (по «системе профессора Миллера», «пятнадцать минут ежедневного упражнения»).

Вспомните, — говорит им, перед походом, Марций, — зачем вы занимались гимнастикой!

— Чтобы развить мускулы! — слышится в ответ робкий голос.

— Ну конечно!.. А зачем нам нужны мускулы? — вопрошает Марций.

— Чтобы драться? — спрашивает нерешительный голос.

Марций, в отчаянии, воздевает руки к небу. — «О, небо! восклицает он, — и это говорит сабинянин, друг закона, опора порядка, образец правового сознания!.. Драться! Мне стыдно за эту хулиганскую выходку, достойную разбойника-римлянина, гнусного похитителя законнейших жен!.. Мускулы нужны нам для того, чтобы поднявшись походом на римлян... нести всю дорогу очень тяжелый свод законов, собрание узаконений и кассационных решений, а также — понимаете теперь? — те четыреста томов изысканий, которые добыли наши юристы по вопросу о законности наших браков — поняли? — и незаконности похищения! Наше оружие, господа сабиняне, — наше право и чистая совесть! Гнусным похитителям мы докажем, что они — похитители; нашим женам мы докажем, что они действительно похищены. И небо содрогнется, ибо адрес (жен) получен и дело в шляпе... Итак, господа, в поход! Слушать команду! Стройтесь в ряды... да поживее, господа! Это возмутительно, вы до сих пор не отличаете правой от левой!... У кого есть перочинные ножи? Выверните карманы. Так! А зубочистки? Оставить! Ни намека на насилие, господа, ничего колющего и режущего: наше оружие — наше право и чистая совесть! Теперь каждый берет по тому законов и изысканий... Трубачи, вперед! Помните-же: марш ограбленных мужей! Впер... Позвольте, а вы помните, как идти?.. (Сабиняне молчат). Нет? Ну, я вам напомню. Два шага вперед — шаг назад. Два шага вперед — и шаг назад. В первых двух шагах мы должны выразить, сабиняне, весь неукротимый пыл наших буйных душ, твердую волю, неудержимое стремление вперед. Шаг назад — шаг благоразумия, шаг опыта и зрелого ума! Делая его, мы обдумываем дальнейшее; делая его, мы как бы поддерживаем великую связь с традицией, с нашими предками, с нашим великим прошлым. История не делает скачков! А мы, сабиняне, в этот великий момент — мы история! Трубачи — трубите!...»

Трубы заунывно воют, то судорожно дергаясь вперед, то плавно оттягиваясь назад и таща за собою все войско ограбленных мужей. Делая два шага вперед и шаг назад, они медленно обходят сцену.

Занавес падает. Трубы заунывно воют, и вторая картина переходит в третью.

Здесь Леонид Андреев счел справедливым, в воздаяние заслуг «Кривому Зеркалу», отметить, в издании полного собрания своих сочинений Т-ва А. Ф. Маркса (СПБ. Бесплатное приложение к «Ниве» 1913 г., т. VII, стр. 35) текстуально сле-

дующее: «Петербургский театр «Кривое Зеркало» очень удачно применил здесь Марсельезу: первые два такта, отзвучав торжественно и бодро, переходят в нечто заунывно-попятное... как бы в мучительную отрыжку».

По цензурным соображениям Л. Андреев умолчал, что «нечто заунывно-попятное» было ни чем иным, как двумя начальными тактами гимна «Боже царя храни». Отбросив скромность, сообщу, что музыкальная иллюстрация марша «два шага вперед — шаг назад» сочинена не Вл. Эренбургом (заведывавшим в «Кривом Зеркале» музыкальной частью), а *мною,* которому стоило немало труда убедить нашу дирекцию, что полиция (сославшись на недостаточно тонкий у нее слух) сделает вид, будто не узнает музыкальной фразы, соответствующей словам «Боже, царя храни» и в крайнем случае оправдается тем, что, дескать, не посмела предположить такого рода политическое кощунство со стороны благонадежного театра, каким считается «Кривое Зеркало».

Наш дирижер Вл. Эренбург, приветствуя мою выдумку, записал в соответствующих друг другу тональностях, музыкальные фразы «*Allons enfants de la Patrie*» (под которую сабиняне делали, маршируя, два шага вперед) и «*Боже, царя храни*» (под каковую фразу они делали шаг назад и останавливались, приставив обратным движением ногу к ноге; затем снова (вперед!) «*Allons enfants de la Patrie*» и снова (назад!) «*Боже, царя храни*».

Публика прямо бесновалась порой от восторга, лицезрея сей потешный марш сабинян, взваливших на плечо, словно ружье, увесистый том «свода законов».

В *третьей картине,* сабиняне тем-же маршем (два шага вперед — шаг назад) спускались, со своими законами, с одного из 7-ми холмов, на коих был основан Рим, и представали перед удивленными взорами похитителей их жен, которые к этому времени успели уж привыкнуть к мужественным римлянам, от которых «пахло солдатом».

По знаку Анка Марция трубы смолкают и он отчаянно кричит: «Стойте, господа сабиняне!.. Да стойте-же!.. О, боги, какими силами можно удержать падающую лавину?.. Слава Богу, стали... Слушайте команду! Трубачи, назад! Профессора, вперед!»

Профессора быстро опускаются на корточки, раскладывают маленькие столики, кладут на каждый по толстой книге и с шумом откидывают крышки переплетов; — получается подобие батареи.

«— В ночь с двадцатого на двадцать первое апреля, — — заявляет римлянам Анк Марций, — совершилось величайшее злодеяние, какое только знает история: были злодейски похищены наши жены, прекрасные сабинянки!.. И эти похитители — вы, римляне! О, я знаю, вы станете оправдываться, опровергать факты, гнусно искажать юридические нормы, прибегая к той отвратительной казуистике, которая неизбежно сопутствует всякому нарушению права. Но мы готовы. Господа профессора — начинайте!»

Первый с края профессор начинает ровным, вне времени и пространства, голосом: — «О преступлениях против собственности. Том первый, раздел первый, глава первая, страница первая. О краже вообще. В древнейшие времена, еще более древние, чем настоящее время, когда птицы, насекомые и жуки бестрепетно порхали в лучах солнца и никакие правонарушения не входили в сознание, так как и сознания не было, — в те далекие времена...»

Римляне почтительно просят: «нельзя ли короче?.. а то они заснут! — указывают они на соратников. — Вы посмотрите: они уже дремлют!»

Снисходя к их слабости, сабиняне говорят напрямки, что римляне неправы, похитив чужих жен, что они «похитители», которым никакими ухищреньями софистики не удастся оправдать своего гнусного поступка.

Тогда, к изумлению сабинян, оказывается, что римляне и не думают спорить с ними, вполне соглашаясь, что совершили похищение.

Сабиняне в крайнем недоумении: зачем-же они сюда пришли?.. Ах, да!.. спохватывается Марций, предъявляя римлянам подробный список похищенных ими жен. «Потрудитесь возвратить!»

Но не тут-то было: — сабинянки так сильно привыкли к своим новым мужьям, а заодно и к местности, куда те их привели, что решительно отказываются вернуться к своим слабосильным и надоевшим им юридической казуистикой супругам.

— Так что-же мне делать? — говорит, плача, Анк Марций: — Я ведь люблю жену!.. Как-же я буду жить без нее?

Одна из сабинянок, жалеючи, его утешает, обнадеживая, что есть еще средство вернуть ему жену: это... похитить ее.

— Но ведь это гнусно! — отвечает тот: — вы предлагаете мне совершить насилие! Куда-же я дену мое правовое сознание? Или для вас, женщины, — где сила, там и право?

— Ах, Марций! — отвечает ему женщина, отражая мысли автора, видевшего в истории неисчислимое количество *дураков:* — в плохую минуту тебя создали боги, — ты *ужасно глуп!* — Если хочешь, чтобы женщина была твоя, на что ты так претендуешь, то будь-же самый сильный, не уступай ее никому, дерись за нее ногтями и зубами, наконец, умри, защищая ее!

— У них мечи, — оправдывается Марций, — а мы безоружны.

— Вооружитесь! — отвечает ему сабинянка. — Вообще, Марций, ты *непроходимый дурак!*

Анк Марций (отскакивая). А ты, женщина, безумна и ничтожна. Да здравствует закон! Пусть грубой силой отнимут у меня жену, пусть разрушат мой дом, погасят мой очаг — я не изменю закону! Пусть весь мир будет смеяться над несчастными сабинянами — они не изменят закону... Сабиняне, вертайте вспять! И плачьте, сабиняне, горькими слезами и не стыдитесь слез, ибо вы плачете над попранным законом! Вперед, сабиняне! Смирр-р-но! Трубачи, трубите! Два шага вперед — шаг назад!

Трубы заунывно воют. Женщины с плачем и громкими криками тянутся к прежним мужьям, но римляне удерживают их силой. Хохот победителей. Не обращая внимания ни на слезы, ни на смех, согнувшись под тяжестью законов, сабиняне медленно удаляются: два шага вперед — шаг назад.

Вот и вся пьеса[1].

Спрашивается, в чем ее соль?

Вот как отвечает на это (повторяя установившееся мнение) авторитетный, в русской драматургии, американский историк театра H. W. L. Dana, в «A History of Modern Drama» (гл. VII, стр. 433): «Сабиняне это «конституционные демократы («кадеты»), чьи *жены* не что иное, как *свободы,* которые мнятся «сабинянам» обретенными ими в 1905 году. Эти свободы похищены римскими солдатами, представляющими собой царское правительство (в России). Андреев беспощадно издевается над конституционными демократами, сиречь сабинянами, которые, стараясь отвоевать своих

[1] Отдельные моменты моей постановки читатель может представить себе, просмотрев оттиск «Прекр. Сабинянок» в издании «Шиповника» (З. Гржебина, СПБ, 1912), где в *точном* соответствии с моими «мизансценами» и макетами М. Н. Яковлева, худ. Реми запечатлел в красках визуальную сторону моей постановки.

жен — т. е. свои свободы — отказываются использовать физическую силу, как несовместимую с их достоинством, и прибегают (как к единственному оружию) к документам, доказывающим законность их браков. Их motto — «два шага вперед» (в доказательство крепости их воли) и «шаг назад» (в доказательство их оппортунизма)».

Это, между прочим, вполне соответствует тому, что сам Л. Андреев говорил о своих «Прекрасных Сабинянках». В частности, во время беседы о них в разгар Столыпинских «успокоений», Леонид Андреев за завтраком у Фальковского объяснял сотрапезникам, хитро щуря глаза. — «Да вы поймите, ведь *сабиняне* — это кадеты, ка-де-ты. Они говорят о конституции и праве, а их по зубам, а их по морде!»[2].

Эта интерпретация «Прекрасных Сабинянок» и без указательного перста автора приходила в голову почти всей «элите», посещающей «Кривое Зеркало», благодаря чему не только художественный успех, но и успех политический Андреевской сатиры был на долгое время обеспечен в России.

Меня занимает вопрос, каково могло бы в настоящее время (когда пишутся эти строки) оказаться отношение советской власти к этой бедовой сатире? Торжествовали-б сталинцы на спектакле, видя, что их «захватнический» метод — насилия над правом — оказался практически оправданным или же советская власть отнеслась бы к спектаклю «Сабинянок» отрицательно как к *соблазну*, наводящему зрителей на сравнение большевистского образа действий с «фашистским», в его древне-римском подобии? Вместе с этим хочу лишний раз указать, что не весь Леонид Андреев вышел ныне из моды. Он, пожалуй, имеет право, как автор «Сабинянок», повторить стих Горация: «Non omnis moriar multaque pars mei» и т. д. (т. е. «я не весь умру, ибо большая часть меня» выживет в моих произведениях).

Когда мы с Леонидом Николаевичем беседовали, в ту памятную сентябрьскую ночь 1917 г., обсуждая проблему «актуального» театра, свободного от царской цензуры и прочего воздействия на драматургию, — мы были далеки от мысли, что недалеко то время, когда большевики одержут полную победу над Временным Правительством (Керенского) и комиссар Лев Троцкий заявит представителям печати: «считайте нас за палачей свободного слова, но интересы коммунистической партии, в это переходное время, не дают ей возможности отказаться от цензуры печати».

[2] См. «Листья с дерева» А. Р. Кугеля, стр. 90.

Эта победа, как мы хорошо знаем, досталась тем, от кого снова «пахло солдатом», а отнюдь не тем, от кого «пахло законом».

Таким образом Л. Андреев не так скоро вышел из моды, со своей сатирой и манерой «смеяться в бороду», как то утверждают преждевременные могильщики его славы. И кто поручится теперь, следя за политическими «chassez-croisé», что «Прекрасные Сабинянки» не окажутся снова одной из самых злободневных сатир?

Два слова в заключение. Можно-ли квалифицировать юмор Леонида Андреева как «Galgenhumor» («Юмор висельников»), исходя из того положения, что Л. Андреев с каким-то «смаком» пользуется трагическими ситуациями, как почвой для «висельной юмористики»? Не забудем, что его «Красный Смех» возникает как раз на сугубо-трагической почве военных бедствий и что именно Л. Андрееву принадлежит повесть, где нагромождая ужас на ужасе, рассказчик со сладострастьем приговаривает: «но *самое смешное* было не это, а...» — следует описанье чего-то еще более ужасного, чем только что рассказанное.

Соглашусь, что юмор Л. Андреева близко соседствует с «Galgenhumor» и все-таки не решаюсь считать его таковым. Почему? Потому что при «висельном юморе» цель автора лежит не столько в сатире, не столько в осмеянии отрицательных явлений жизни, сколько в изумляющем парадоксе, показывающем, что *печальное* или *ужасное* могут вызывать порой не *слезы*, не *отвращение*, а... *смех* и даже раскатистый *хохот*.

У Леонида Андреева, несмотря на его любовь к анекдотам, изложение их, будучи слишком рассудочным и «граждански»-тенденциозным, вызывает скорее улыбку, чем настоящий громкий смех, отличающийся своей заразительностью.

И если Лев Толстой был прав, говоря о «страшных» повестях Л. Андреева: «он меня пугает, а мне не страшно», — прав, быть может, будет и тот, кто, прочитав юмористические произведения Л. Андреева, скажет: «он меня потешает, а мне не смешно».

Н. Евреинов

ФЕВРАЛЬСКИЕ ДНИ[1]

В лице скончавшегося 20-го октября с. г. В. М. Зензинова редакция «Нового Журнала» понесла тяжелую утрату. В. М. был и членом корпорации «Нового Журнала» и его постоянным сотрудником. В этой книге «Н. Ж.» мы заканчиваем печатанием воспоминания В. М. о первых днях февральской революции и даем отзыв М. А. Алданова о только что вышедшей в изд-ве имени Чехова книге В. М. «Пережитое». В ближайшей книге «Н. Ж.» мы напечатаем статью, посвященную В. М. Зензинову. РЕД.

27 ФЕВРАЛЯ

С утра 27 февраля — это был понедельник — стало известно, что совет министров накануне вечером (как раз во время нашего совещания на квартире А. Ф. Керенского) издал указ о роспуске Государственной Думы. Каким образом это стало известно, сейчас не помню. Во всяком случае не из газет, так как газеты тогда не выходили — стихийно шла всеобщая забастовка. Стал известен не только указ о роспуске Государственной Думы, но и то, что Дума отказалась подчиниться этому указу.

Этот день и надо считать первым днем революции. Слух о восстании Павловского полка накануне, вероятно, и был тем толчком, который вызвал движение в других воинских частях. В этот день начался массовый переход солдат на сторону восставших. Первой выступила учебная команда лейбгвардии Волынского полка (это произошло 27-го, около 1 часа дня, на Песках). За нею преображенцы, литовцы, кексгольмцы, саперы. Восставшими войсками заняты были Кирочная и Литейный проспект. И все — вероятно, в связи с слухами о роспуске Государственной Думы и ее отказом подчиниться приказу — шли по направлению к Таврическому дворцу. Правительство своим указом о роспуске Государственной Думы как бы само дало восставшим войскам адрес — Государственная Дума (Таврический дворец) сделалась сразу центром, к которому обратились все взоры, фокусом всего кристаллизовавшегося движения. Сюда теперь обращались все, отсюда начали исходить и все указания — здесь образо-

---

[1] См. кн. 34 «Нов. Журнала».

вался сейчас же Временный Комитет Государственной Думы, в Таврическом дворце был создан Совет рабочих депутатов, здесь же образовалось и Временное Правительство.

Днем делегация от 25.000 восставших войск явилась к зданию Государственной Думы. К ней вышел председатель Думы М. В. Родзянко и сообщил о только что единогласно принятом постановлении совета старейшин: «Лозунгом момента является упразднение старой власти и замена ее новой. В деле осуществления этого Государственная Дума примет живейшее участие, но для этого прежде всего необходимы порядок и спокойствие». Одновременно М. В. Родзянко вручил делегатам восставших войск текст телеграммы, отправленной царю в Ставку, начальнику штаба ген. Алексееву и трем главнокомандующим войсками. Телеграмма гласила: «Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».

Теперь центром движения становилась Государственная Дума.

Здесь необходимо сделать отступление и сказать несколько слов о Государственной Думе. Постараюсь передать отношение к Государственной Думе, существовавшее тогда не только в революционных кругах, но и вообще в левой общественности.

Было бы вообще смешно отрицать значение Государственной Думы и ее роль в развитии самой революции. Но значение Государственной Думы, по мнению левой общественности того времени, было не то, какое ей позднее приписывало общественное мнение и сами думские деятели. Пропагандистское и даже агитационное значение раздававшихся с думской кафедры речей, о которых помещали отчеты все газеты того времени, отрицать, конечно, невозможно. В этом смысле огромную роль в стране сыграла знаменитая речь П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 года на тему «глупость или измена». Эта речь не попала в газеты, но можно сказать, что в свое время она разошлась по всей стране во многих миллионах — ее переписывали и распространяли, кто только мог. Но, тем не менее, между улицей, делавшей революцию, и Государственной Думой в целом, старавшейся сохранить до самого последнего момента по отношению к власти лояльность, лежала пропасть. И через эту пропасть нельзя было перебросить мостика, через нее можно было только перепрыгнуть

— и Думу перепрыгнуть через эту пропасть *заставили события*. Только эти события толкнули прогрессивный блок на революционный путь, которого прогрессивный блок не хотел, и сделали революционером даже М. В. Родзянко. Ибо отказ подчиниться царскому указу о роспуске был уже *революцией*.

Именно благодаря существовавшей между улицей и Думой пропасти все социалистические партии относились к Государственной Думе пренебрежительно, если не сказать — с презрением. Это особенно было характерно для социал-демократической партии — и больше всего для большевиков. Но той же монетой платили улице и подпольным партиям и думские деятели, входившие в прогрессивный блок. Известное публичное выступление П. Н. Милюкова в печати ровно за две недели до решительных событий, когда он предостерегал рабочих (письмо в редакцию «Речи» 10 февраля) против открытых выступлений и указывал, что эти «дурные и опасные советы... исходят из самого темного источника», свидетельствует об этом. В кругах демократической общественности это заявление произвело тогда тяжелое впечатление и даже вызвало негодование — оно отнюдь не способствовало засыпанию пропасти между цензовой Государственной Думой и широкими массами.

Толкнула навстречу массам Государственную Думу, как это ни странно, сама власть — указом о роспуске (указ этот был подписан еще 25-го, опубликован — 27-го февраля). Если бы Государственная Дума тогда этому указу (вернее — приказу) подчинилась, ее общественная роль была бы окончена. К счастью для нее и ее деятелей, она этого тогда не сделала и сразу превратилась в то, чем всегда хотела быть или воображала, что была — руководительницей общественного движения. Не могу не отметить, что активную роль (чисто технически) сыграл в этот момент А. Ф. Керенский, который по получении в Думе указа о роспуске самовольно нажал звонок, созывавший всех депутатов на заседание. Собравшиеся по этому экстренному звонку депутаты объявили открытым «частное совещание членов Государственой Думы» и решили созвать совет старейшин. Совет старейшин, собравшись в экстренном заседании и ознакомившись с указом о роспуске, постановил: «Государственной Думе не расходиться — всем депутатам оставаться на своих местах» (т. е. не разъезжаться из Петербурга). Передаю эту подробность со слов генерала А. И. Спиридовича, начальника секретной ох-

раны императора Николая II с 1906 г. по осень 1916, прочитавшего 14 марта 1952 года, незадолго до своей смерти, публичную лекцию в Нью-Йорке о «Февральской революции 1917 года» и впервые об этом факте сообщившего.

Когда весть об отказе Государственной Думы разойтись обежала город — а произошло это моментально! — к Думе устремились все взоры. Естественно, что побежал туда и я. Мой путь опять проходил через Знаменскую площадь и я опять забежал к А. А. Никитскому на Старый Невский. На этот раз я его уже прямо вытащил на улицу, несмотря на протесты верной Аннушки, рассказывавшей, что полиция только что подстрелила какую-то женщину против их дома. Да и сам А. А. Никитский теперь уже не сопротивлялся. По дороге мы еще забежали на Песках на квартиру трудовой группы (на одной из Рождественских), кого-то прихватили и оттуда.

Улицы теперь имели какой-то совсем другой вид — чувствовалось, что они уже всецело находятся во власти народа. Правда, по-прежнему временами раздавались выстрелы, но то стреляли большею частью ходившие в одиночку и самовольными группами солдаты и стреляли они в воздух. Каждый раз в первую минуту публика от выстрелов шарахалась в сторону — потом успокаивалась. Но все же эти выстрелы порядочно нервировали толпу в этот ясный пригожий зимний день. Кроме этих солдатских групп бросались в глаза вдруг появившиеся автомобили. Как бешеные, мчались они по улицам — на них кучами сидели солдаты, ощетинившись ружьями, палили в воздух и кричали «ура!». Толпа отвечала им приветственными криками. Никогда не забуду картину, на которую мы натолкнулись в конце Суворовского. По узкому Суворовскому проспекту мчался во весь карьер офицер с поднятой папахой в руке и широко раскрытым ртом — во всю силу своих легких он кричал: «да здравствует свобода!» Как сейчас вижу это охваченное восторгом лицо, сияющие глаза, широко открытый рот среди бороды и далеко откинутую в сторону руку с папахой...

Чем ближе к Таврическому дворцу, тем гуще становилась толпа. Недалеко от Таврического дворца нам повстречался грузовой автомобиль — на платформе его стояли какие-то штатские и с деловым видом разбрасывали вокруг белые листки. Я поднял один из них. Это было сообщение об образовании «Временного Комитета Государственной Думы» с указанием его личного состава — особое впечатление производи-

ло на всех то, что в его состав вошли Керенский и Чхеидзе. Автомобиль умчался дальше, вокруг на стенах появились всюду эти белые листки.

Надо было видеть, какое впечатление производил этот скромный белый листок на публику! Напрасно сам Временный Комитет старался ограничить смысл этого акта указанием на то, что он преследует лишь задачи восстановления в городе порядка совместно с общественными организациями и учреждениями, и принципиально чурался власти («для водворения порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами»). Все видели в этом акте как раз то, от чего Временный Комитет отказывался — создание новой власти на место старой поверженной. И именно за это его приветствовали!

Когда я вбежал в Государственную Думу с незнакомого мне до сих пор главного фасада и очутился в Екатерининском зале, я натолкнулся на А. Ф. Керенского. Увидев меня, он с торжеством куда-то меня повлек и с многозначительным видом вытащил из кармана ключ.. Оказывается, это был ключ, которым он запер только что арестованного министра старой власти И. Г. Щегловитова!

Этот эпизод с арестом Щегловитова, бывшего министра юстиции, мне всегда казался одним из поворотных — тех самых, которые устанавливают историческим событиям вехи. Произошло следующее: какие-то студенты в самочинном и добровольном порядке арестовали где-то Щегловитова и привели его в здание Государственной Думы, требуя Керенского, которому они хотели сдать арестованного (это было около пяти часов дня). Весть об этом немедленно распространилась по зданию и к группе студентов с арестованным Щегловитовым вышел М. В. Родзянко. С видом гостеприимного хозяина он протянул ему навстречу руки и со словами — «Иван Григорьевич! пожалуйте ко мне в мой кабинет!» — взяв его под руку, повлек с собой, желая, очевидно, отвести его в сохранное от толпы место. В этот именно момент подоспел найденный, наконец, А. Ф. Керенский. — «Никаких Иванов Григорьевичей здесь нет!» — решительно воскликнул А. Ф. Керенский и, отстранив массивного Родзянку в сторону, обратился к находившимся здесь солдатам: — «отведите арестованного» — Солдаты с видимым удовольствием и к великому негодованию Родзянко повели за Керенским арестованного Щегловитова в так называемый «Министерский Павильон» (комната для министров во время заседаний Государ-

ственной Думы). Керенский собственноручно запер дверь павильона на ключ и приставил к дверям — внутри и снаружи — стражу. Это был первый арест, произведенный революцией и от имени революции — вместе с тем это был один из жестов, определивших ее дальнейшее течение.

В. В. Шульгин, которого никак нельзя заподозрить в пристрастии к А. Ф. Керенскому, так описывает (не без тонкой иронии) этот эпизод:

«Одним из первых был арестован Щегловитов, председатель Государственного Совета, бывший министр юстиции... Тут в первый раз Керенский «развернулся». Группка, тащившая высокого седого Щегловитова, пробивалась сквозь месиво людей и ей уступали дорогу, ибо поняли, что схватили кого-то важного... Керенский, извещенный об этом, резал толпу с другой стороны... Они сошлись... Керенский остановился против «бывшего сановника» с видом вдохновенным: — «Иван Григорьевич Щегловитов — вы арестованы!» — «Лик его ужасен»... Властные, грозные слова... — «Иван Григорьевич Щегловитов... Ваша жизнь в безопасности... Знайте: *Государственная Дума не проливает крови!*» — Какое великодушие... «Он прекрасен»...

Не боясь впасть в преувеличение и не предаваясь каким-либо личным пристрастиям, следует признать, что в этот день и в последующие душой событий был, несомненно, А. Ф. Керенский.

При тех отношениях, которые существовали между широкими массами и Государственной Думой, обе левые фракции — трудовая и социал-демократическая — были в Государственной Думе всегда как бы немного в стороне от других. В противоположность всем другим группировкам они как-то не входили в состав Государственной Думы органической частью. Этим в значительной степени и объясняется, что они в широких массах были особенно популярны. Что касается руководителей левой, то, несомненно, самым популярным и, можно сказать, самым любимым был А. Ф. Керенский. М. И. Скобелев был тускл и мало авторитетен. Н. С. Чхеидзе, — если его линия иной раз и была более выдержанной, более последовательной, то в ней всегда все же чувствовался некоторый догматизм от марксистской «истины»; не привлекал к себе широких симпатий он и в силу своей нерешительности, сдержанности, какой-то недостаточной выговоренности. Говоря о А. Ф. Керенском, надо сказать, что к этому времени его популярность в самых широких и разнообразных

кругах — как думских, так и вне-думских, так как он постоянно нарушал рамки «думски-дозволенного» — была необычайно велика. Привлекала его энергия, молодость, напряженность, увлекавшее порой даже его врагов красноречие. И, наконец, в нем был тот романтизм, который необходим в революционную эпоху и без которого даже решительные действия часто кажутся половинчатыми. Мне лично всегда казалось, что лучшей полосой его политической карьеры был именно этот думский предреволюционный период, когда он фактически был лидером всей революционной оппозиции Государственной Думы.

Нет ничего удивительного, что при таких условиях на гребне поднявшейся революционной волны в эти дни оказался именно А. Ф. Керенский. Его имя, во всяком случае, тогда было у всех на устах, к нему все аппелировали вне Думы, когда речь шла о каком-нибудь решительном действии, рвавшем с прошлым. Он же в эти дни был и реальной связью между восставшей улицей и вступившей на путь революции Государственной Думой.

В самом здании Государственной Думы и на широких ступенях ее главного входа толпа кипела ключом. К главному подъезду то и дело подходили депутации от восставших частей — к ним выходили и их приветствовали Чхеидзе, Скобелев, Керенский и даже Родзянко. У входов расставили часовых, в Екатерининском зале густая толпа, солдаты, наваленное грудами оружие — вплоть до пулеметов, столы, за которыми сидят люди и что-то записывают. Появились и офицеры — первыми были Кирпичников, С. Ф. Знаменский, В. Б. Станкевич (оба — трудовики), В. Н. Филипповский (лейтенант флота, эсер).

Одна за другой поступают новости — они ошеломляют, кружат всем головы. Утром перешедшими на сторону народа войсками, после непродолжительного сопротивления, взяты арсенал и главное артиллерийское управление на Литейном. Заведующий складами арсенала генерал убит. Найденные во множестве винтовки тут же розданы вместе с патронами толпе, рабочим. У арсенала поставлена охрана. Подожжен и горит Окружной Суд на Литейном... Сильным отрядом солдат и вооруженной толпой после короткой перестрелки с тюремной стражей взята Выборгская одиночная тюрьма («Кресты») — все политические заключенные, в том числе и рабочая группа военно-промышленного комитета, освобождены; освобожден и находившийся там в заключении Хру-

сталев-Носарь, председатель совета рабочих депутатов 1905 г. Взяты Дом Предварительного Заключения и Литовский Замок (женская тюрьма) — все политические заключенные освобождены. Перешла в руки восставших и Петропавловская Крепость, символ старого строя — все заключенные освобождены из казематов. Разгромлено и подожжено охранное отделение — все архивы и дела уничтожены. Подожжены и разгромлены полицейские участки...

Рабочая группа во главе с К. А. Гвоздевым, по освобождении из «Крестов», направилась вместе с толпой в Таврический Дворец — это было около двух часов дня.

В здании Государственной Думы отдельные комнаты постепенно занимались отдельными комиссиями, разными лицами. Комнату № 41 отдали только что созданной «военной комиссии», куда вошли Керенский, Мстиславский (Масловский), Филипповский, Пальчинский — все эти комнаты были расположены налево от главного входа, в комнатах направо расположились «левые элементы» (комнаты бюджетной комиссии №№ 11, 12 и 13).

Именно в этот день (27-го февраля) в стенах Таврического Дворца было положено основание Совету Рабочих Депутатов, при чем произошло это с какой-то поражающей легкостью. Мне довелось быть не только свидетелем, но и участником этого акта. Произошло все это в каком-то совершенно самочинном порядке. Не знаю, кому первому пришла мысль о создании совета рабочих депутатов. Н. Н. Суханов в своих многословных воспоминаниях («Записки о революции» — семь томов!) уверяет, что выборы в совет происходили по заводам уже в течение нескольких дней. Может быть. Я этого совершенно не помню, но и не оспариваю. Во всяком случае самое рождение совета в Таврическом Дворце произошло в порядке «революционной инициативы». Нет ничего удивительного, что в эту минуту родилась мысль о создании совета рабочих депутатов — идея совета рабочих депутатов была жива, о первом Совете Рабочих Депутатов в октябре 1905 года хорошо помнили — здесь могли действовать просто по аналогии с 1905 годом, когда гребень революции поднялся всего выше. Могло напомнить о совете рабочих депутатов и присутствие среди освобожденных из «Крестов» бывшего председателя совета — Хрусталева-Носаря, который, кстати сказать, в это время пользовался дурной репутацией, так как оказался, по газетным сведениям, замешанным в какое то уголовное дело — в левых кругах к

нему теперь относились резко отрицательно. Факт во всяком случае тот, что днем в комнате № 12 (бывшая бюджетная комиссия Государственной Думы) собралось несколько десятков человек (30-40), решительно никем не уполномоченных, которые решили взять на себя инициативу по образованию Временного Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов. Среди присутствовавших помню Н. Д. Соколова, Н. С. Чхеидзе, М. И. Скобелева, Н. Н. Суханова, Гвоздева, Эрлиха, Богданова, Александровича, Гриневича... Может быть был и Стеклов, хотя я в этом не уверен. От имени импровизированного «Временного Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов» тут же без споров и пререканий было составлено воззвание:

«Граждане! Заседающие в Г. Думе представители рабочих, солдат и населения Петрограда объявляют, что первое заседание их представителей состоится сегодня, в 7 часов вечера, в помещении Г. Думы. Всем перешедшим на сторону народа войскам немедленно избрать своих представителей по одному на каждую роту. Заводам избрать своих депутатов по одному на каждую тысячу. Заводы, имеющие менее тысячи рабочих, избирают по одному депутату».

Воззвание это было помечено 27 февраля. Оно было немедленно отпечатано и десятки людей на автомобилях помчались по заводам, разбрасывая его и по дороге. И удивительное дело — к семи часам, действительно, уже начали стекаться делегаты, избранные по заводам на непрерывно шедших в это время по заводам летучих митингах. Некоторые были снабжены соответствующими, наспех написанными удостоверениями, но большинство приходило с «устными мандатами». Собрание Совета открылось лишь около 10 часов вечера, председательствовал на этом первом собрании Н. Д. Соколов. Присутствовало на собрании (постепенно все пополнявшемся, по мере прибытия делегатов) до 250 человек. Первоначальные задачи были поставлены чисто организационные. Решено было в Исполнительный Комитет избрать восемь человек. Были избраны — Чхеидзе, Керенский, Скобелев, Стеклов, Суханов, Шляпников, Александрович, Капелинский. В президиум Совета были названы и немедленно без возражений приняты Чхеидзе (председателем), Керенский и Скобелев (товарищами председателя). Решено, кроме того, ввести в состав Исполнительного Комитета с решающим голосом по два представителя от социалистических партий (они вошли в него утром 28-го). Вошли в него: от меньшевиков —

Богданов и Батурский, от большевиков — Шляпников и Молотов (позднее Шляпникова заменил приехавший 12 марта из сибирской ссылки Сталин), от социалистов-революционеров — Русанов и Зензинов, от Бунда — Эрлих и Рафес (через несколько дней последнего заменил Либер), от трудовиков — Брамсон и Чайковский (его потом заменил Станкевич), от народных социалистов — Пешехонов и Чарнолусский, от между-районцев — Юренев, от латышских социал-демократов — Стучка и Козловский. Позднее, в связи с вхождением в Совет делегатов от солдат и приездом новых лиц из за-границы, персональный состав Исполнительного Комитета сильно изменился.

На этом же собрании была тогда выбрана «продовольственная комиссия» (Громан, Франкорусский и др.), которая должна была в первую очередь озаботиться продовольствованием солдатской массы. Эта комиссия выпустила ко всем гражданам воззвание:

«Граждане! Солдаты, ставшие на сторону народа, с утра находятся на улице голодные. Совет депутатов, солдат и населения прилагают все усилия к тому, чтобы накормить солдат. Но сразу организовать продовольствие трудно. Совет обращается к вам, граждане, с просьбой кормить солдат всем, что только у вас есть».

Кроме того, на этом заседании — уже ночью — было принято важное в принципиальном отношении решение: делегировать от Совета Рабочих Депутатов в только что образовавшийся Временный Комитет Государственной Думы Н. С. Чхеидзе и А. Ф. Керенского. Всего во Временный Комитет вошли 12 депутатов Государственной Думы во главе с ее председателем М. В. Родзянко. В выпущенном Временным Комитетом Государственной Думы воззвании говорилось: «Несмотря на глубокое различие политических и социальных идеалов членов Государственной Думы, вошедших в состав Временного Комитета, в настоящую трудную минуту между ними достигнуто полное единение. Перед теми и другими стоит неотложная задача организовать стихийное народное движение. Опасность дезорганизации одинаково понимается всеми. Граждане, организуйтесь — вот основной лозунг момента. В организации — спасение и сила. Слушайте Временный Комитет Государственной Думы».

Заседания пленума Совета Рабочих Депутатов были объявлены беспрерывными — председательствовали по очереди Чхеидзе и Скобелев. Кроме рабочих делегатов начали появ-

ляться и солдатские делегаты. Они были вооружены винтовками и, встав на табуреты, взволнованно рассказывали, что происходило в их частях. Им присутствующие устраивали овации. Явились представители от волынского, павловского, литовского, финляндского полков. Все они произносили горячие речи, заявляли о своем присоединении к революции, к рабочим. Особенно горячие овации вызвал буквально ворвавшийся на заседание делегат от семеновского полка, напомнивший о том, что в декабре 1905 года семеновцы подавляли московское восстание, а теперь идут вместе с революцией.

Тут же рядом, в Екатерининском зале, расположились солдаты с ружьями, они пили чай, закусывали, ружья стояли в козлах. Стояло несколько пулеметов, ящики с патронами и пулеметными лентами, лежали мешки с мукой, добытое на улице молоко в бидонах (это мне удалось захватить на улице грузовик с бидонами и я заставил трудовика В. М. Вершинина за это молоко заплатить из каких-то думских средств, чего он мне долго не мог простить). Паркет Екатерининского зала был затоптан — с улиц была занесена грязь со снегом.

28 ФЕВРАЛЯ

Всю эту ночь и утро 28-го я сидел в Совете — он постоянно пополнялся и начал уже правильно функционировать. Впрочем, хотя я и был в той инициативной группе, которая создала Совет, а затем долгое время входил в Исполнительный Комитет Совета, как представитель партии с. р., я почти не работал в официальных представительных органах революции. Моя личная и политическая близость к А. Ф. Керенскому и хорошее знакомство, создавшееся еще в предреволюционное время с рядом общественных и политических деятелей, фактически направлявших ход событий, уготовали мне другое место и другие обязанности. В этот и последующие дни мне приходилось выполнять ряд отдельных конкретных поручений, значение которых мне казалось исключительным — и во всяком случае гораздо более важным, чем коллективное обсуждение какого-нибудь вопроса на многолюдном заседании, любителем чего я никогда не был. С особой готовностью и даже страстью я занялся тем, что Суханов в своих воспоминаниях несколько высокопарно называет «стратегической обороной революции». Помню, как екнуло в этот день после первого опьянения победой сердце, когда вдруг про-

несся слух — их было множество всякого рода, как в этот день, так и в следующие, — что на Петербург двинуты с фронта генералом Ивановым войска на подавление революции, что какие-то враждебные революции воинские части уже выгружаются на одном из петроградских вокзалов, чтобы двинуться на Таврический дворец. Немедленно было отдано распоряжение об организации наружной охраны, выдвинуты воинские заслоны на соседние улицы, в самих комнатах Таврического Дворца, которые уже кишели различными только что созданными комиссиями, расставлена была стража. В нашей комнате появился рослый, немолодой уже бородатый солдат Волынского полка, которого привел разводящий — и встал у окна, выходившего в сад, бодро стукнув прикладом винтовки об пол. Это был, действительно, острый психологический момент — реальная угроза возможного общего разгрома вдруг встала перед нами. Но я уверен, что не непосредственная личная опасность для каждого из нас в случае овладения Таврическим Дворцом правительственными войсками заставила сжаться сердце каждого из нас, а боязнь за гибель революции, возможность утраты победы.

Этой ночью образовался «военный штаб революции» — меня почему-то сунули туда. Но там дело дальше теоретических ученых рассуждений небезызвестного Мстиславского не пошло. Это было одно из самых никчемных учреждений, созданных в тот день, и я поспешил из него сбежать. Кроме того я был избран в литературную коллегию «Известий» Совета Рабочих Депутатов и для первого номера, вышедшего на другой день, действительно составил небольшую заметку о необходимости скорой и полной информации провинции о петербургских событиях.

Гораздо больше я интересовался ликвидацией департамента полиции, охранки, установлением провокаторов, находившихся на службе у полиции, и, может быть, находившихся еще в наших рядах.

Именно этот интерес столкнул меня в этот день или в эту ночь — дней и ночей мы в этот период не различали, нам все это время казалось одним ослепительным, сияющим, торжествующим днем! — с М. Горьким и его приятелем Тихоновым, редактором «Летописи». С обоими отправился ночью на одном из реквизированных автомобилей в охранное отделение на Кронверкском проспекте. Там я застал уже ободранные стены, разбитые окна, сорванные двери. С трудом узнал знакомую лестницу, по которой меня в свое время

водили арестованным, и еле разыскал кабинет начальника охранного отделения фон Коттена, в котором он пытался меня допрашивать во время моего последнего ареста в 1910 году. Особое внимание мы обращали на собирание документов. Подозреваю, что М. Горьким во время наших поисков руководили не одни только политические, но и литературные цели, что же касается меня, то я имел в виду как можно скорее практически распутать хитрую сеть, которая могла еще долго своими провокационными действиями вредить делу революции и освобождения. Удалось, действительно, выяснить несколько конспиративных квартир охранного отделения и объехать их в ту же ночь. Но — странная вещь! — все они уже были открыты и разгромлены. Эти гнезда выжигались и уничтожались населением самостоятельно, а открывали их большею частью по указаниям самих же филеров и полицейских. Свет и вольный воздух — вот что убивало всю эту нечисть наверняка.

На основании найденных в охранном отделении и в жандармском управлении бумаг удалось установить несколько десятков агентов-провокаторов, действовавших среди революционных партий и находившихся на службе департамента полиции. Через несколько дней их имена были опубликованы во всех газетах — первый список состоял из 18 человек, ни один из них не был до того на подозрении. Среди них помню фамилию видного большевика Черномазова, одного из редакторов «Правды». Еще до опубликования все они были одновременно арестованы и отправлены в тюрьму (судьбы их я не знаю). Операция эта была подготовлена и осуществлена несколькими лицами, среди которых был и упомянутый мною уже выше меньшевик-интернационалист Гриневич. Я тоже принимал участие в этой дезинфекционной работе.

Среди секретных агентов охранки оказался один хорошо мне известный эсер по фамилии Сурин. Сурина я хорошо знал в до-февральские дни — это был видный эсеровский работник, все мы относились к нему с полным доверием и считали одним из лучших работников эсеровской подпольной организации. Он часто бывал у А. Ф. Керенского (я несколько раз его там встретил) — А. Ф. Керенский тоже относился к нему с полным доверием. И вдруг находим его имя в списке агентов: «Сурин («Пешехонов»), Семен Яковлевич, 60 рублей, рабочий завода «Айваз», сотрудничает полгода. Осведомлен, начитан, для рабочего очень развит, чист от подозрений. Хороший».

Действовать надо было быстро. Я Сурина в эти дни несколько раз встречал на различного рода партийных эсеровских собраниях, даже в самом Таврическом дворце — он продолжал принимать активное участие в партийных эсеровских делах. Узнав о его присутствии на одном из собраний петроградского комитета с. р. в здании Государственной Думы, я послал за ним и пригласил по делу явиться ко мне на хоры, в помещение библиотеки. Когда ничего не подозревавший Сурин явился туда по моему вызову, я наставил на него браунинг и заявил ему, что он арестован, как провокатор. Предупрежденные мною два товарища тут же Сурина обыскали — ничего компрометирующего у него найдено не было. Только в одной руке (он, по моему требованию, поднял обе руки) оказалась смятая бумажка — на ней были фамилии присутствовавших на собрании, с которого он был мною вызван. На приготовленном автомобиле, под охраной двух вооруженных солдат, он был отправлен в тюрьму. При аресте он не произнес ни слова и, казалось, был в каком-то столбняке. Судьбы его я не знаю. В тюрьму он был доставлен благополучно. Мне не известно ни об одном случае расправы с уличенными провокаторами и агентами за эти дни.

С первого же дня движения в центре вопросов стоял, конечно, вопрос о создании власти. Временный Комитет Государственной Думы, разумеется, не мог долго удержаться на своей позиции технического учреждения, заботящегося о поддержании порядка в городе и об облегчении сношений между собой различных общественных учреждений. Он был создан утром 27-го февраля на совещании старейшин Государственной Думы, но уже к вечеру того же дня решил взять в свои руки власть, назвавшись «Исполнительным Комитетом Государственной Думы», о чем и сообщил на другой день официально только что образовавшемуся в ночь с 27 на 28 февраля Совету Рабочих Депутатов. В 2 часа ночи на 28 февраля за подписью председателя Государственной Думы Родзянко Исполнительный Комитет Государственной Думы выпустил два воззвания. В первом он обратился к «жителям Петрограда» с призывом о поддержании порядка в городе, но во втором уже говорил, что «нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка». Мало того — «сознавая всю ответственность принятого им решения, Комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче *создания нового правительства,* соответствующего желани-

ям населения и могущего пользоваться его доверием». Так окружающая жизнь и события толкали Комитет за первоначально намеченные технические рамки. 1-го марта французский и английский послы официально заявили председателю Думы, что «правительства Франции и Англии вступают в деловые сношения с Временным Исполнительным Комитетом Государственной Думы, выразителем истинной воли народа и единственным законным временным правительством России». И тогда же Исполнительным Комитетом Думы из состава членов Думы были назначены «особые комиссары» для заведывания министерством внутренних дел, военным и морским министерством, министерством земледелия, юстиции, торговли и промышленности, финансов, сенатом, почтой, телеграфом, петроградским градоначальством.

Жизнь повелительно ставила на очередь создание полномочной и авторитетной власти. В связи с этим ближайшие двое суток — 28 февраля и 1 марта (точнее: с вечера 28-го до утра 2 марта) — шло обсуждение этого вопроса, как в Исполнительном Комитете Думы, так и в Исполнительном Комитете Совета, этих двух центрах революции; состоялись и совместные заседания для обсуждения этого вопроса у Исполнительного Комитета Думы с членами Исполнительного Комитета Совета (Стекловым, Сухановым, Соколовым). Несколько раз за это время члены Исполнительного Комитета Совета возвращались с общего заседания с Исполнительным Комитетом Думы, обсуждали сделанные формулировки, предлагали новые поправки — восстановить сейчас полную картину этих двух суток, когда оба Исполнительных Комитета (Думы и Совета) обсуждали и решали вопрос о создании исполнительной власти, которая должна была заменить власть павшего правительства, совершенно невозможно. Одно можно сказать: при существовавших разногласиях переговоры шли, если и не гладко, то, во всяком случае, без срывов, резких конфликтов и ультиматумов. Причина этого, полагаю, заключалась в том, что все чувствовали ответственность происходящего, необходимость во что бы то ни стало найти *общее* решение и могучий напор извне — со стороны каждоминутно приходящих делегаций воинских частей, то и дело отвлекавших участников этих совещаний, которые должны были выходить на подъезд Таврического Дворца, принимать от имени Думы и Совета эти делегации и отвечать им.

И здесь и там работа бурлила — заседания то прерывались, то снова возобновлялись. Работы несколько раз пре-

рывались овациями по адресу все вновь и вновь прибывавших представителей различных воинских частей. День и ночь смешались... Одно за другим в Таврический Дворец поступали сведения — то радостные, то тревожные. Вспыхивали инциденты, которые надо было тут же улаживать. Вот один из них — и очень для того момента характерный.

1 МАРТА

Рано утром — это было не позднее 6 часов утра 1-го марта, когда я находился в комнате Совета (№ 13 бюджетной комиссии Государственной Думы) ко мне подбежал взволнованный Б. О. Флеккель (большой мой приятель и член эсэровской петроградской организации) и протянул экземпляр только что вышедшей прокламации, несколько тюков которой только что доставили в комнату Совета. — «Прочитайте! прочитайте!» — говорил он, чуть не плача. Пробежав ее содержание, я сейчас же согласился с Б. О. Флеккелем, что подобного рода прокламация не может быть допущена. Она была подписана «ПБ. Междурайонным Комитетом РСДРП» (организация, в которой главную роль играл большевик Юренев) и «ПБ. Комитетом Социалистов-Революционеров» (фиктивная организация, которую возглавлял Александрович — вернее было бы сказать, что он один в ней и находился). Написанная почти в стиле пугачевских прокламаций, она была обращена к солдатам[1]. «Товарищи солдаты! Свершилось! Восстали вы, подъяремные, закабаленные крестьяне и рабочие, восстали, и с треском и позором рухнуло самодержавное правительство. Солдаты! Долго терпел народ, долго страдал крестьянский люд, отданный во власть помещиков, земских начальников, становых и всей шайки слуг царского самодержавия. В то время как казна, монастыри и помещики захватили всю землю, в то время, как паны-дворяне с жиру бесились, высасывая народную кровь, многомиллионное крестьянство пухло от голода: курицы некуда выгнать обезземеленному мужику! Братья-солдаты! Что нужно вам, крестьянам-хлеборобам? Что нужно вам, рабочим? Вся земля и вся воля — вот что вам нужно! Не напрасно же вы лили свою кровь. Вот уже два дня, как Петроград во власти солдат и рабочих, два дня как распущенная Государственная Дума выбрала Временный Комитет и называет его временным

---

[1] Полный текст этой прокламации приведен в виде приложения к книге А. Шляпникова — Семнадцатый год, кн. 1, 1923 г.

правительством; но до сих пор вы не слышали ни от Родзянки, ни от Милюкова ни одного слова о том, будет ли отнята земля у помещиков и передана народу. Надежда плохая! Солдаты! будьте настороже, чтобы паны-дворяне не обманули народ! Идите к Думе, спросите у нее: будет ли земля народу, будет ли воля, будет ли мир?... Для того, чтобы вас не обманули дворяне и офицеры — эта романовская шайка, возьмите власть в свои руки. Выбирайте сами взводных, ротных и полковых командиров, выбирайте ротные комитеты для заведывания продовольствием. Все офицеры должны быть под контролем этих ротных комитетов. Принимайте к себе только тех офицеров, которых вы знаете, как друзей народа... Солдаты! теперь, когда вы восстали и победили, к вам приходят вместе с друзьями также и бывшие враги — офицеры, которые называют себя вашими друзьями. Солдаты! лисий хвост нам страшнее волчьего зуба. Ваш верный друг и брат — только рабочие и крестьяне. Теснее связывайтесь с ними!... Ваши представители и рабочие депутаты должны стать Временным Правительством народа и от него вы получите землю и волю!..». Прокламация была помечена «март 1917 года».

Мне казалось тогда (кажется и теперь), что подобного рода прокламация могла повлечь в тот момент и в той обстановке самые страшные последствия. В Кронштадте уже был убит адмирал Вирен, в Луге — генерал Менгден, офицеры Эгерштром и Клейнмихель... Распространение подобного рода прокламации надо было остановить во что бы то ни стало. Я вступил в резкие пререкания с Александро́вичем и, несмотря на все его протесты, наложил запрет на доставленные тюки с прокламацией, а сам побежал разыскивать А. Ф. Керенского. Вот как описывает дальнейшие события Н. Суханов: «Влетел Керенский, кричавший о провокации.. Вопрос был тут же поставлен на обсуждение наличного состава Исполнительного Комитета. Было решено: прокламации задержать — до завтрашнего решения Исполнительного Комитета; вопрос же завтра поставить в полном объеме. Я (т. е. Суханов) подал голос за это решение и даже отправился в комнату № 11, чтобы привести его в исполнение. Там, действительно, лежали два или три тюка этих воззваний, а при них находился большевик — член Исполнительного Комитета Молотов, который вступил со мной в довольно энергичные пререкания, но все же подчинился и отдал тюки без особого скандала». А в экстренном выпуске «Известий» петроградского Совета Рабочих Депутатов 2 марта появилось по этому

поводу сообщение Исполнительного Комитета следующего содержания: «По городу распространяются слухи и расклеиваются воззвания, призывающие к насилиям над офицерами. Исполнительный Комитет не сомневается, что рабочие и солдаты не только не последуют за этими возмутительными призывами, но и будут всячески противодействовать их распространению, так как они являются новой попыткой посеять смуту и раздробить революционные силы». Те же «Известия» 3 марта сообщали, что «на состоявшейся 2 марта городской конференции петроградских с-ров была оглашена выпущенная на днях прокламация к солдатам, подписанная в числе других организацией также и ПСР. Конференция резко осудила эту прокламацию, как крайне неудачно составленную, вселяющую в народные массы взаимное недоверие и рознь, и к тому же изданную без всякого ведома правомочных партийных учреждений».

В ходе переговоров между обоими Исполнительными Комитетами (Государственной Думы и Совета) и совместных совещаний вопрос о создании и характере исполнительной власти, т. е. Временного Революционного Правительства, ставился на обсуждение Совета несколько раз; эти обсуждения прерывались текущими делами и снова возобновлялись. Конечно, было только логично, что в состав будущего правительства намечались все политические оттенки Государственной Думы — в том числе и «левые группировки»; ведь во Временный, а потом и Исполнительный Комитет Думы от этих левых группировок входили, как Чхеидзе, так и Керенский. Поэтому вполне естественно, что эти два имени назывались при обсуждении персонального состава будущего правительства. Но Н. С. Чхеидзе, для которого вообще всегда была характерна некоторая политическая нерешительность и даже, сказать откровеннее, стремление избегать, по возможности, ответственности, категорически от вхождения в состав будущего правительства отказался. Что же касается А. Ф. Керенского, то с ним положение было сложнее. Здесь небходимо подчеркнуть, что с самого возникновения вопроса о будущем правительстве среди руководителей Совета (состав того времени) преобладало мнение о ненужности и нежелательности вхождения представителей Совета или вообще советских деятелей в состав будущего правительства. Исходили при этом из такого догматического положения: разразившаяся победоносная революция есть революция буржуазная, поэтому и войти в состав правитель-

ства этой революции могут и должны только представители цензовых кругов — социалистам и представителям трудящихся в этом правительстве нет места. С особой горячностью и догматизмом отстаивал эту точку зрения Н. Суханов — упорнее и настойчивее, чем любой из марксистов и социал-демократов среди советских руководителей, для которых аксиомой было положение, что в России 1917 года могла произойти лишь «буржуазная» революция и ее правительство может быть только «цензовым». Суханов был пленником этой догмы и она увлекала его дальше, чем, быть может, он сам хотел. Суханов сам в своих «Записках» говорит, что этот вопрос — вопрос о характере будущего правительства — его особенно интересовал и он постоянно к нему возвращался. При этом, однако, он не признался, что в этом вопросе он дошел даже до того, что, будучи одержим идеей постепенности и догмой о необходимости «цензового правительства», настаивал на необходимости в ближайшее время... регентства Михаила Александровича! Да, в течение двух суток — 28 февраля — 2 марта — он упорно спорил со всеми нами и упорно выдвигал кандидатуру Михаила Александровича, как регента. Я очень хорошо помню наши споры с ним «за занавеской» той комнаты № 13, где происходили все главные заседания Совета — их помнит также и А. Ф. Керенский, с которым мы позднее неоднократно об этом вспоминали. Но в многотомных «Записках» Суханов не решился в этом признаться.

Большинство руководителей Совета того времени (их тогда было не больше двадцати, т. е. Исполнительный Комитет) высказывалось против вхождения представителей «левых группировок», социалистов или советских деятелей в будущее правительство — по указанным выше основаниям (так сказать догматического характера). По свидетельству Суханова на совещаниях Исполнительного Комитета никто даже не заикался о «советском правительстве». Большевики, как утверждает в своих воспоминаниях Шляпников, *в своей среде* решали этот вопрос положительно, но *во вне не вступали в борьбу за свои принципы* — только слегка об этом «поговаривали», по выражению Суханова. При обсуждении характера власти будущего правительства намечались лишь некоторые пункты для переговоров с Временным Комитетом Думы — вопрос о советской власти (т. е. о власти Совета) в самом Исполнительном Комитете Совета даже не ставился. Суханов сообщает, что постановление о невхождении предста-

вителей Совета в будущее цензовое правительство было принято около 6 часов утра 1-го марта большинством 13 голосов против семи или восьми. Я этих цифр не помню, но помню отчетливо, что такое решение, действительно, было принято и было оно совершенно определенным.

В этом и была трудность положения А. Ф. Керенского: он стоял перед дилеммой — войти в правительство и сложить с себя звание товарища председателя Совета или остаться в Совете, но тогда уже не входить в правительство; другими словами — войти в правительство и разорвать с демократией (Советом) или остаться с демократией, но отказаться от предложения войти в состав будущего правительства. Решение далось ему с большим трудом.

Суханов рассказывает, что около 12 часов дня 1-го марта в одной из комнат думского Временного Комитета он имел с А. Ф. Керенским, по его инициативе, разговор на эту тему. «Большинство думского комитета, — говорит Н. Суханов, — предлагало ему вступить в образуемый цензовый кабинет. Керенский хотел поговорить на этот счет, между прочим, со мной, чтобы выяснить примерное отношение к этому делу влево стоящих лиц и групп, а также руководящего ядра Совета... Мое личное отношение к этому делу я высказал Керенскому тут же с полной категоричностью... Я сказал, что являюсь решительным противником, как принятия власти советской демократией, так и образования коалиционного правительства. Я не считаю возможным и официальное представительство социальной демократии в цензовом министерстве... Вступление Керенского в кабинет Милюкова в качестве представителя революционной демократии совершенно, на мой взгляд, невозможно. — Но, продолжал я, если речь идет о моем мнении, то индивидуальное вступление Керенского считал бы объективно небесполезным. В цензовом кабинете демократические слои имели бы заведомо левого человека... Керенский мог бы чрезвычайно усилить левое крыло в будущем правительстве и не дать ему зарваться в реакционной или империалистической политике при первых же шагах...»

Этот двойственный — если не сказать двусмысленный — «совет» Суханова был характерен вообще для Суханова и для его отношения к А. Ф. Керенскому. Это отношение нельзя назвать иначе, как двойственным. Я лично давно уже был свидетелем этого. При несомненных личных симпатиях Н. Н. Суханова к А. Ф. Керенскому и частых встречах с ним (Суханов часто даже ночевал у А. Ф. Керенского на большом

кожаном диване в его кабинете, о чем сам вспоминает в своих «Записках») он постоянно и яростно с ним спорил на все политические темы — Суханов был яростный циммервальдец (см. его выпущенную еще в 1916 году брошюру — «Война и левые партии»), А. Ф. Керенский — оборонец, оба и психологически были совершенно разными людьми. Эта двойственность отношения к А. Ф. Керенскому очень наглядно сказалась и в «Записках» Н. Суханова, в которых можно заметить обе эти струи — личной симпатии и острой, резкой и часто несправедливой критики.

В эти полтора-два дня — 1-го марта, ночь на 2-ое и утро 2-го марта — А. Ф. Керенский, вероятно, говорил с несколькими лицами о сделанном ему предложении вступить в новое правительство. Говорил и со мной и я очень решительно высказался за принятие этого предложения. Но как решить этот вопрос в связи с настроениями Совета, в котором большинство высказывалось против этого предложения?

Наконец, после долгих и мучительных колебаний и размышлений решение было им принято — он позвонил по телефону во Временный Комитет П. Н. Милюкову и сказал ему, что предложение занять в образуемом новом правительстве пост министра юстиции принимает. Это было, повидимому, утром 2-го марта. И тогда же он решил для себя, что открыто объяснится по этому вопросу с Советом и постарается его переубедить.

2 МАРТА

Н. Суханов так излагает дальнейшие события. 2-ое марта — свежее морозное зимнее утро, веселый и солнечный день. Был 12-ый час. «Керенский явился в левое крыло (комната Совета) в сопровождении Зензинова, ставшего его рупором, энергичным (закулисным) помощником и верным оруженосцем... Он готов дать или дал уже согласие на принятие поста министра юстиции. Можно ли провести это через Совет и получить его одобрение? Я указал ему на решение Исполнительного Комитета, принятое вчера 13-ью голосами против 8-ми — не вступать в правительство и не посылать в цензовый кабинет официальных представителей демократии. Я сказал, что эту позицию Исполнительный Комитет будет защищать и в Совете». Керенский ушел. «Совет Рабочих Депутатов, — пишет Суханов, — предоставляет цензовым элементам создать временное правительство, считая, что это вытекает из общей наличной конъюнктуры и соответствует интересам революции». Но, добавляет он, по этому вопросу

в Исполнительном Комитете были разногласия. Этот вопрос должен был быть поставлен на обсуждение и решение Совета. Докладчиком в Совете по вопросу о создании власти был назначен Стеклов».

«Я оставался за занавеской в комнате № 13, — продолжает свой рассказ Суханов. — Исполнительный Комитет попрежнему не заседал и с открытием советского заседания его помещение почти опустело. Вскоре из (соседней) залы Совета послышался голос Стеклова, приступившего к докладу. В зале было тихо, все напряженно слушали — многие во второй раз — пункт за пунктом «программу» Исполнительного Комитета, предложенную «цензовикам» и излагаемую докладчиком до крайности популярно, пространно, водянисто. Комната Исполнительного Комитета была забронирована залой Совета от наплыва посторонних и от «экстренных дел». Никто не рвался за занавеску и из самой залы Совета, где все были заинтересованы «высокой политикой», где был «большой день»... В это время снова появился Керенский, в сопровождении того же Зензинова, и расположился в нашей компании. Он не говорил, зачем пришел, но явно выжидал чего-то... (Вот именно здесь тогда и происходил спор между всеми нами и Сухановым, который отстаивал регентство Михаила Александровича. Примеч. В. З.)... Стеклов основательно затянул доклад, говорил уже больше часа. Был, вероятно, третий час дня. Входили отдельные люди, утомленные докладом, Стеклов все говорил... Вдруг Стеклов кончил, в зале раздались апплодисменты. Керенский вскочил, как ужаленный, и бросился в зал, снова побелев, как полотно. Остальные, и я в том числе, поспешили за ним и стали в дверях, чтобы видеть, что будет. В противоположном конце зала, направо от двери, на председательском столе стоял Чхеидзе и что-то говорил, размахивая руками, среди затихавших апплодисментов. От нашей двери туда поспешно пробирался Керенский. Но толпа решительно не поддавалась его усилиям и, пройдя всего несколько шагов, он взобрался на стол, тут же, в конце зала, недалеко от двери в комнату Исполнительного Комитета. Отсюда он попросил слова. Весь зал обернулся в его сторону. Раздались нерешительные апплодисменты...»

Мне остается лишь подтвердить правильность и точность этого рассказа Суханова. Было все действительно так, как это Сухановым описано. Но дальше я буду излагать уже по собственным воспоминаниям — впечатления крепко врезались и закрепились в моей памяти, так как мне казалось тогда, кажется и сейчас, что то был один из решительных моментов

тех дней. Я воспроизвожу произнесенную А. Ф. Керенским речь не только по нескольким записям уже опубликованным, но и как ее помню (странное дело — с тех пор прошло свыше тридцати пяти лет, а мне кажется, что я еще и сейчас слышу каждое произнесенное А. Ф. Керенским слово).

«Товарищи! Доверяете ли вы мне (возгласы на всех скамьях: — «доверяем! доверяем!»). Я говорю, товарищи, от всей глубины моего сердца и если нужно доказать это... если вы мне не доверяете, я готов умереть тут же, на ваших глазах (в зале общее волнение; А. Ф. Керенского приветствуют продолжительными рукоплесканиями, превращающимися в длинную овацию). Товарищи, в виду образования новой власти я должен был немедленно, не дожидась вашей формальной санкции, дать ответ на сделанное мне предложение занять пост министра юстиции (бурные аплодисменты, общий энтузиазм). Товарищи, в моих руках находятся представители старой власти, и я не решился выпустить их из своих рук (бурные аплодисменты и возгласы: «правильно!»). Я принял сделанное мне предложение и вошел в состав временного правительства в качестве министра юстиции (общие аплодисменты и крики «браво!»). Я занял пост министра юстиции до созыва Учредительного Собрания, которое должно будет, выражая волю народа, установить будущий государственный строй (бурные аплодисменты). До этого момента будет гарантирована полная свобода пропаганды и агитации о форме будущего государственного устройства, не исключая и республики. Первым шагом было распоряжение немедленно освободить всех политических заключенных, без всяких исключений, и с особым почетом препроводить из Сибири сюда наших товарищей депутатов социал-демократической фракции (громовые аплодисменты, общий энтузиазм). В виду того, что я взял на себя обязанность министра юстиции, раньше чем я получил на это от вас формальное полномочие, я слагаю с себя обязанности товарища председателя Совета Рабочих Депутатов. Но для меня жизнь без народа немыслима, и я вновь готов принять на себя это звание, если вы признаете это нужным (бурные аплодисменты; общие возгласы: «просим! просим!»). Товарищи, войдя в состав нового временного правительства, я остался тем же, чем я был — я остался республиканцем (шумные аплодисменты). В своей деятельности я должен опираться на волю народа. Я должен иметь в нем могучую поддержку. Могу ли я верить вам, как самому себе? («Верим!»). Я не могу жить без на-

рода и в тот момент, когда вы усомнитесь во мне — убейте меня... (общее волнение). Я заявил временному правительству, что я являюсь представителем демократии и временное правительство должно смотреть на меня, как на выразителя требований демократии и должно особенно считаться с теми мнениями, которые я буду отстаивать в качестве представителя демократии, усилиями которой была свергнута старая власть. Я полагаю, что вы не осудите меня и дадите мне возможность осуществить необходимые гарантии свободы до созыва Учредительного Собрания. Товарищи, время не ждет, дорога каждая минута. Позвольте вернуться к временному правительству и объявить ему, что я вхожу в его состав с вашего согласия, как ваш представитель. И я призываю вас к организации и дисциплине, к оказанию поддержки нам — вашим представителям, готовым умереть для народа и отдавшим всю свою жизнь народу».

«Слова А. Ф. Керенского, — писали в своем отчете «Известия», — произнесенные с огромным подъемом, были покрыты бурными аплодисментами. Трудно передать энтузиазм, охвативший зал заседания. Единичные голоса пытавшихся протестовать против того, что А. Ф. Керенский действовал без формального согласия Совета Рабочих Депутатов, были заглушены единодушными возгласами подавляющего большинства Совета Рабочих Депутатов, устроивших А. Ф. Керенскому бурную овацию, какой еще не видали, кажется, стены Таврического Дворца».

К этому от себя лично я могу лишь добавить, что по силе впечатления, произведенного этой речью в эту патетическую минуту, я не могу сравнить ни одно из выступлений А. Ф. Керенского, которые мне потом приходилось слышать. Мы все были охвачены одним чувством, одним порывом. А. Ф. Керенского подхватили на руки и на руках, среди бешеных аплодисментов и криков одобрения, вынесли из зала. Помню, что когда я сам опомнился от всего пережитого, с удивлением заметил, что лицо мое было залито слезами...

Все это произошло около трех часов дня.

Немного позднее, уже в большом Екатерининском зале, после того как все переговоры об организации нового правительства были закончены, со списком новых министров в руке, обратился к огромной толпе присутствующих с речью П. Н. Милюков. Для полноты картины считаю полезным привести и ее (с небольшими сокращениями). Я находился тоже среди слушателей.

«Мы, — сказал П. Н. Милюков, — присутствуем при великой исторической минуте. Еще три дня тому назад мы были в скромной оппозиции, а русское правительство казалось всесильным. Теперь это правительство рухнуло в грязь, с которой сроднилось, а мы и наши друзья слева выдвинуты революцией, армией и народом на почетное место членов первого русского общественного кабинета (шумные продолжительные апплодисменты). Как могло случиться это событие, казавшееся еще так недавно невероятным? Как произошло то, что русская революция, низвергнувшая навсегда старый режим, оказалась чуть ли не самой короткой и самой бескровной из всех революций, которые знает история? Это произошло потому, что история не знает и другого правительства, столь глупого, столь бесчестного, столь трусливого и изменнического, как это... Правительство мы свергли легко и скоро. Но это еще не все, что нужно сделать. Остается еще половина дела — и самая большая. Остается удержать в руках эту победу, которая нам так легко досталась. Как сделать это? Ответ прост и ясен. Нам нужно организовать победу. А для этого прежде всего надо сохранить то единство воли и мысли, которое привело нас к победе. Между нами, членами теперешнего кабинета, было много старых и важных споров и разногласий. Быть может, скоро эти разногласия станут важными и серьезными. Но сегодня они бледнеют и стушевываются перед той общей и важной задачей, которая еще не разрешена вполне — перед задачей создать новую власть на месте старой, упавшей. Лучше быть едиными в движении к этой цели. Будьте едины в устранении политических споров, быть может и важных, но сегодня могущих еще вырвать из наших рук плоды победы.

Будьте едины и вы, солдаты и офицеры славной и великой русской армии, и помните, что армия сильна своим внутренним единством: потерявшая это единство и раздробленная, она обращается в беспорядочную толпу и всякая горсть вооруженных, организованных людей может взять ее голыми руками. Сохраните же это единство для себя и для нас и покажите, что после того, как мы так легко свергли всесильную старую власть, — докажите, что первую общественную власть, выдвинутую народом, не так легко будет ниспровергнуть (шумные и продолжительные рукоплескания). Я знаю, были грехи в прошлом и отношения старой армии зачастую основывались на крепостном начале. Но теперь даже офицерство слишком хорошо понимает, что надо беречь и

уважать в нижнем чине чувство человеческого и гражданского достоинства. А одержавшие победу солдаты также хорошо знают, что довершить ее и сохранить в своих руках они могут, только сохранив связь со своим офицерством (шумные продолжительные апплодисменты и возгласы из рядов слушателей). Я слышу, меня спрашивают: «Кто вас выбрал?» Нас никто не выбирал, ибо если бы мы стали дожидаться народного избрания, мы не могли бы вырвать власть из рук врага. Пока мы спорили бы о том, кого выбирать, враг успел бы организоваться и победить и вас и нас. Нас выбрала русская революция (шумные продолжительные апплодисменты). Так посчастливилось, что в минуту, когда ждать было нельзя, нашлась такая кучка людей, которая была достаточно известна народу своим политическим прошлым и против которой не могло быть и тени тех возражений, под ударами которых пала старая власть. Но мы слишком хорошо помним, что сами мы еще недавно защищали начала ответственности власти перед народными избранниками. Мы не сохраним этой власти ни минуты после того, как свободные избранные народом представители скажут нам, что они хотят на наших местах видеть других людей, более заслуживающих их доверия (рукоплескания). Поверьте, господа, власть берется в эти дни не из слабости к власти. Это не награда и не удовольствие, а заслуга и жертва (шумные рукоплескания). И как только нам скажут, что жертвы эти больше не нужны народу, мы уйдем с благодарностью за данную нам возможность. Но не отдадим этой власти теперь, когда она нужна, чтобы закрепить победу народа, и когда упавшая из наших рук она может достаться только врагу (рукоплескания; возгласы: «кто министры?»). Для народа не может быть тайн. Эту тайну вся Россия узнает через несколько часов и, конечно, не для того мы стали министрами, чтобы скрыть втайне свои имена. Я вам скажу их сейчас. Во главе нашего министерства мы поставили человека, имя которого означает организованную русскую общественность (крики — «цензовую»), так непримиримо преследовавшуюся старым правительством. Кн. Г. Е. Львов, глава русского земства (крики — «цензового!») будет нашим премьером и министром внутренних дел и заместит своего гонителя. Вы говорите — «цензовая общественность». Да, но единственная организованная, которая даст потом возможность организоваться и другим слоям русской общественности (рукоплескания). Но, господа, я счастлив сказать вам, что и общественность нецензовая тоже имеет своего представителя в нашем

министерстве. Я только что получил согласие моего товарища А. Ф. Керенского занять пост в первом русском общественном кабинете (бурные рукоплескания). Мы бесконечно рады были отдать в верные руки этого общественного деятеля то министерство, в котором он отдаст справедливое возмездие прислужникам старого режима, всем этим Штюрмерам и Сухомлиновым (рукоплескания). Трусливые герои дней, прошедших навеки, по воле судьбы окажутся во власти не щегловитовской юстиции, а министерства юстиции А. Ф. Керенского (бурные аплодисменты, крики). Вы хотите знать другие имена? (Крики: «А вы?»). Мне мои товарищи поручили взять руководство внешней русской политикой (бурные и продолжительные рукоплескания, разростающиеся в овацию оратору, который кланяется во все стороны). Быть может, на этом посту я окажусь и слабым министром, но я могу обещать вам, что при мне тайны русского народа не попадут в руки наших врагов (бурные и продолжительные рукоплескания). Теперь я назову вам имя, которое, я знаю, возбудит здесь возражения. А. И. Гучков был моим политическим врагом (крики: «другом») в течение всей жизни Государственной Думы. Но, господа, мы теперь политические друзья, да и к врагу надо быть справедливым, ведь Гучков в третьей Думе приступил к переустройству русской армии, да еще дезорганизованной манчьжурской неудачей. И он положил первый камень той победе, с которой наша обновленная и возрожденная армия выйдет из настоящей великой борьбы. Мы с Гучковым люди разного типа. Я — старый профессор, привыкший читать лекции, а Гучков — человек действий. И вот теперь, когда я в этом зале говорю с вами, Гучков на улицах столицы организует победу (рукоплескания). Что бы сказали вы, если бы вместо того, чтобы расставлять войска ночью на вокзалах, на которых ожидалось прибытие враждебных перевороту войск, Гучков принял участие в наших политических прениях, а враждебные войска, занявшие вокзал, заняли бы улицы, а потом и этот зал? Что сталось бы тогда с вами и со мной? (возгласы одобрения. Крики «Верно!»). (Вопрос: «А морской министр?»). Пост морского министра, пока мы не подыщем достойной кандидатуры, мы также оставим в руках Гучкова. Далее мы дали два места представителям той либеральной группы русской буржуазии, которые первые в России попытались организовать представителей рабочего класса (аплодисменты; крики: «где оно?»). Господа, это сделало старое правительство. А. И. Коновалов

помог сорганизоваться рабочей группе при петроградском Военно-Промышленном Комитете, а М. И. Терещенко сделал то же самое относительно Киева... (вопросы с места: «кто Терещенко?»). Да, господа, это имя громко звучит на юге России. Россия велика и трудно везде знать наших лучших людей. («А земледелия?»). Господа, в эти дни, когда продовольствие армии является серьезным и трудным вопросом, когда старое правительство довело почти до края бездны нашу родину и каждая минута промедления грозит где-нибудь голодным бунтом, которые уже начались, — в такое время мы назначили министром земледелия А. И. Шингарева, которому, мы думаем, обеспечена та общественная поддержка, отсутствие которой обеспечил провал г. Риттиха (бурные и продолжительные апплодисменты). («А пути сообщения?»). На этот другой важный для нашей родины пост мы выдвинули Н. В. Некрасова, товарища председателя Государственной Думы, особенно любимого нашими левыми товарищами (оживленные апплодисменты). Ну, вот, кажется, почти всё, что вас может интересовать («А программа?»). Я очень жалею, что в ответ на этот вопрос не могу прочесть вам бумажки, на которой изложена эта программа. Но дело в том, что единственный экземпляр программы, обсужденной вчера в длинном ночном совещании с представителями Совета Рабочих Депутатов, находится сейчас на окончательном рассмотрении их. И я надеюсь, что через несколько часов вы об этой программе узнаете. Но, конечно, я и сейчас могу сказать вам важнейшие пункты... (шум, громкие крики: «А династия?»). Вы спрашиваете о династии, знаю наперед, что мой ответ не удовлетворит вас. Но я его скажу. Старый деспот, доведший Россию до границы гибели, добровольно откажется от престола или будет низложен (апплодисменты). Власть перейдет к регенту, великому князю Михаилу Александровичу (продолжительный шум, апплодисменты, снова шум)... Наследником будет Алексей (крики: «Это старая династия!»)... Да, господа, это старая династия, которую, может быть, не любите вы, а может не люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто сейчас любит. Мы не можем оставить без ответа и без решения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе, как парламентскую конституционную монархию. Быть может, другие представляют себе иначе, но теперь, если мы будем об этом спорить, вместо того чтобы сразу решить, то Россия очутится в состоянии гражданской войны и возродится только разрушенный режим. Этого мы сде-

лать не имеем права ни перед вами, ни перед собой. Однако, это не значит, чтобы мы решили вопрос бесконтрольно. В нашей программе вы найдете пункт, согласно которому, как только пройдет опасность и возродится прочный порядок, мы приступим к подготовке созыва Учредительного Собрания (шумные аплодисменты)... собранного на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Свободно избранное народное представительство решит, кто вернее выразит общее мнение России, мы или наши противники... (аплодисменты. Шум. Крики: «опубликуйте программу»). Эти возгласы напоминают мне о важном вопросе, решить который зависит от Совета Рабочих Депутатов, в руках которого находится распоряжение типографскими рабочими. Свободная Россия не может обойтись без самого широкого оглашения и обсуждения сведений, в настоящую минуту интересующих всю Россию. Я надеюсь, что завтра же удастся восстановить правильный выход органов прессы, отныне свободной. Господа, я мог бы перечислить и другие пункты программы, но думаю, что те, о которых я упомянул, интересуют вас главным образом, а о других вы узнаете скоро из печати. Я охрип, мне трудно говорить далее, позвольте на этих объяснениях пока остановить мою речь... (Бурные аплодисменты. Движение в зале. Оратора несколько раз подхватывают, качают, а потом на руках выносят из Екатерининского зала). («Известия», № 6, 2 марта).

Не успела еще разойтись слушавшая Милюкова густая толпа, как в другом конце огромной Екатерининской залы показался Керенский, стремительно пересекавший залу — он всегда ходил стремительно, а в эти дни в особенности (недаром следившие за ним охранники дали ему кличку «Быстрый», под которой он и «проходил» во всех сводках по наблюдению охранного отделения). Я выбежал ему навстречу и в нескольких словах передал ему только что произнесенную Милюковым речь и настоял на том, чтобы он тоже немедленно выступил. Он вскочил на стул — огромная толпа окружила его. Застигнутый врасплох, он, видимо, не знал, с чего начать и произнес прежде всего какие-то обрывистые, несвязные фразы, но потом сразу овладел темой. Он говорил о необходимости единения в эти дни для успеха дела революции. «В эти минуты, — говорил он, — мы должны забыть все, что нас разъединяет и во имя общей цели помнить лишь о том, что нас соединяет... Придет время и каждый из нас будет отстаивать свое, но это в будущем...» — Хорошо помню его заключительную фразу, которую он произнес под

громовые апплодисменты присутствующих. «Да здравствует сейчас, — воскликнул он, — союз будущих врагов!» Ему была устроена единодушная овация. Он умчался дальше...

Министерский Павильон, в котором в дни Государственной Думы обычно собирались представители правительства, теперь был превращен в помещение, где находились арестованные. Они охранялись вооруженными солдатами снаружи и внутри. Заведующим этим павильоном Временное Правительство назначило народного социалиста С. Ф. Знаменского, которого я хорошо знал по предреволюционному времени — он был теперь прапорщиком (по призыву) и одним из первых — если не первым — офицеров, которые в дни революции явились в Таврический Дворец и отдали себя в распоряжение революции. Через несколько дней этот Павильон был полон. «Правительство назначило вас, вместе с другими, для сопровождения арестованных, которые будут отвезены в Петропавловскую Крепость», сказал мне С. Ф. Знаменский, встретив меня в одном из корридоров Таврического Дворца. Это было к вечеру 2-го марта. Вместе со Знаменским я прошел, миновав двойную вооруженную стражу, в Павильон. Там я увидел необыкновенное зрелище. В двух комнатах, на диванах, в креслах и на стульях сидели всякого рода люди. Кого только тут не было! Министры, жандармские генералы, охранники, уличенные провокаторы, арестованные по найденным в департаменте полиции спискам, руководители Союза Русского Народа, распространители погромных прокламаций (были в те дни и такие). Все арестованные имели жалкий, подавленный вид. Вскоре в комнату вошел Керенский, в руках его была бумага. При его появлении все встали. Керенский вышел на середину комнаты и заявил, что сейчас по прочитанному им списку арестованные будут отправлены в тюрьму. Я подошел к Керенскому и быстрым шопотом сказал, что не надо называть, куда именно они будут отправлены (я знал, что их должны были отвезти в Петропавловскую крепость). Керенский сделал шаг назад, смерил меня взглядом с головы до ног и отчеканил: — «Господин штатский, прошу вас в распоряжения правительства не вмешиваться!» Как ни драматичен был момент, я едва удержался, чтобы не прыснуть от смеха — мы с ним только что перешли на «ты»! Но я почувствовал, что он был прав — думаю так и теперь: престиж Временного Правительства необходимо было оберегать и особенно в те дни.

Был уже поздний вечер. У одного из подъездов Тавриче-

ского дворца (сбоку) выстроилась вереница закрытых автомобилей — арестованных одного за другим рассаживали в автомобили, по двое в автомобиль. На мою долю пришлись Щегловитов и Макаров. Щегловитов был министром юстиции, а Макаров — товарищем министра внутренних дел, заведывавшим полицией — как раз по его решению семь лет тому назад я был отправлен в Якутскую ссылку. Но тогда я об этом не думал — я всецело был поглощен данным мне ответственным поручением. Рассаживал арестованных по автомобилям С. Ф. Знаменский. В другом автомобиле отвозил порученных ему двух министров член Государственной Думы Н. К. Волков. По указанию Знаменского Щегловитов и Макаров заняли в автомобиле задние сидения — впереди их и лицом к ним сидели я и рослый преображенец (фельдфебель, в руке у него был наган). Мы двинулись в путь. Автомобиль шел медленно, занавески на его окнах были спущены, слышно было, что по улицам валили густые толпы. Чтобы проложить среди толпы дорогу, наш шофер время от времени кричал: «Автомобиль Временного Правительства!» — толпа отвечала криками — «ура!» — и расступалась. Мы благополучно проехали весь путь и уже подъехали к Иоанновским воротам крепости. Мы въехали в ворота, сделали несколько поворотов, проехали под сводами и остановились у подъезда. Это была так хорошо мне в свое время запомнившаяся кордегардия. И теперь там стояли вооруженные солдаты, как и семь лет тому назад... Встретил нас — я не поверил своим глазам — полковник Иванишин, тот самый полковник Иванишин, который и семь лет тому назад заведывал одиночным корпусом крепости (так называемым Трубецким бастионом) и под началом у которого я провел в одной из мрачных каменных одиночек крепости полгода в 1910 году (это была камера № 63 во втором этаже — всего там было 70 таких камер); держался он тогда со мной вполне корректно. Не сомневаюсь, что Иванишин немедленно меня узнал, как узнал и я его, но он не подал вида. Не мог не узнать меня он еще и потому, что мы все — и я в том числе — расписались в сдаче арестованных и он видел мою фамилию.

Вернувшись в Таврический, чтобы доложить Керенскому о выполненном поручении, я рассказал ему о своей неожиданной встрече с Иванишиным и настоял на том, что полковника Иванишина никак нельзя теперь оставить на прежней роли заведующего одиночным корпусом С. Петербургской Крепости (таково официальное название Трубецкого бастио-

она). Керенский со мной согласился и сейчас же отдал распоряжение об удалении Иванишина и замене его более надежным лицом. Для всей обстановки того времени характерно, что это его распоряжение не было выполнено — Иванишин остался на своем посту. И только через несколько недель, когда после обыска у одного из арестованных министровъ были обнаружены на руках крупные деньги (очевидно, ему их передали посещавшие арестованных родные), полковникъ Иванишин был удален.

2-го марта в Таврическом дворце появились военные агенты и дипломатические представители союзников. Я присутствовал при первой встрече английского военного агента генерала Нокса с А. Ф. Керенским. Встреча произошла все в той же комнате № 13, где шли заседания Совета. Как сейчас вижу бравого английского генерала в тужурке защитного цвета, устремившегося с протянутыми вперед руками к Керенскому с громким возгласом в форме вопроса: «Et la guerre?». Не помню точно, что ответил ему Керенский. Вероятно, нечто оптимистически-утешительное. Мы все тогда были уверены, что произошедшая революция откроет новые положительные перспективы и в деле обороны возрожденной к новой жизни страны — с падением старого строя и после революции новая Россия в общем и дружном подъеме, конечно, успешно отразит внешнего врага, что был бессилен сделать старый прогнивший режим. Так думало тогда огромное большинство участников и свидетелей бурных февральских дней. Но что я отчетливо помню, это то чувство удивления, даже недоумения, которое во мне вызвало вопросительное восклицание английского генерала. Буду откровенен и даже, быть может, безжалостен по отношению к самому себе: этот возглас иностранца мне тогда показался даже неуместным, бестактным. Как? В момент торжества революции, на обломках старого строя и на пороге новой жизни он не нашел ничего другого, как выразить беспокойство за судьбу фронта, войны? Это мне тогда показалось проявлением такой узости, такого эгоизма! Только что победившая революция, открывавшая новую эпоху в русской истории, мне казалась явлением, заслуживавшим тогда неизмеримо большего внимания, чем исход войны. Эту революцию мы считали историческим явлением неизмеримо большего значения (и не только для судеб нашей собственной страны), чем войну! Теперь, на протяжении истекших с тех пор событий, я вижу и знаю, что ошибался, был близорук и даже слеп.

В том же 17-ом году многие говорили, что разразившаяся революция поставила перед историей дилемму: либо революция уничтожит войну, либо война поглотит революцию. Так формулировали тогда создавшееся положение многие революционные политики. И те политики, мнение которых я разделял, были уверены, что такое великое событие, как русская революция, свалившая существовавшую столетия царскую власть, конечно, поглотит в своих волнах и войну. Это заблуждение я разделял тогда с очень многими. Исход событий был иной: война оказалась сильнее революции — она поглотила в своей пучине русскую революцию. Произошло это в силу того, что общественные силы России оказались недостаточно сплочены и организованы — процессы разложения оказались сильнее. Война съела революцию.

В. Зензинов

БУДНИ СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

ЗАПИСКИ КОНСУЛЬТАНТКИ

«Октябрьская социалистическая революция, положившая начало уничтожению всякой классовой эксплоатации, уничтожению самих классов, одновременно положила начало и полному и окончательному раскрепощению женщины».

(Пост. ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г.)

Советская власть, формально раскрепостив женщину, взвалила на ее плечи непосильную тяжесть. Помимо домашней работы и воспитания детей, 90% советских женщин должны наравне с мужчинами работать, так как просуществовать на заработок одного члена семьи, как это бывает в нормальных странах, в СССР совершенно невозможно. В СССР женщину можно увидеть везде: в цехах металлургических заводов, на погрузочно-разгрузочных работах, в угольных шахтах, вагоновожатым трамвая и шофером грузовика, на земляных работах, не говоря уже о сельском хозяйстве, где она, наравне с мужчинами, с утра до ночи занимается самым тяжелым физическим трудом. Кроме того, в СССР от, так называемой, «общественной работы» женщину не избавляет ни большая семья, ни надорванное здоровье. Советские женщины не могут уклониться от устраиваемых почти ежедневно по окончании рабочего дня собраний, митингов, политзанятий, занятий всевозможных кружков, присутствие на которых обязательно для «всех сознательных членов коллектива».

В своих записках я постараюсь дать точные картины того, что навсегда запечатлелось в моей памяти при моей долголетней работе в одном из правовых кабинетов Женской Консультации, и этим охарактеризовать жизнь советской женщины.

В ПРАВОВОМ КАБИНЕТЕ

Организация правовых кабинетов при Женских Консультациях отделов Здравоохранения относится еще к двадцатым годам. Наша консультация занимала прекрасное светлое помещение и справедливо считалась одной из лучших в Совет-

ском Союзе. Руководила ею очень энергичная и знающая женщина врач-педиатр, партийная по-неволе, но настроенная совсем не советски. Она же частично вела прием. Кроме нее было еще три женщины — тоже врачи-педиатры и две женщины — врачи-гинекологи. Еще было четыре медицинских сестры и три санитарки. При консультации находилась молочная кухня, из которой, по указаниям врачей, выдавалась особо приготовленная пища для грудных детей, нуждавшихся в прикорме или слишком рано отнятых от груди. Везде была всегда идеальная чистота. Весь персонал отличался приветливостью и внимательностью. Тут же находился и правовой кабинет, где каждая женщина имела возможность получить юридический совет по любому вопросу. В нормальных странах женщинам вообще не часто приходится сталкиваться с юридическими вопросами, но в СССР нет буквально ни одной семьи, не нуждающейся то и дело в юридической помощи. Эта помощь, так же как и медицинская, была бесплатной.

Но если медицинская помощь была чем-то реальным, если врачи видели ее результаты и могли получать моральное удовлетворение от своей работы, то я, к сожалению, почти не могу сказать этого о себе. Огромное большинство моих клиенток находилось всегда в таком положении, когда жизнь и советское законодательство всей своей тяжестью обрушивались на них и выхода для них не было. Точно такое же моральное состояние бывало у меня, когда я, в порядке общественной нагрузки, читала на производствах лекции о правах женщины или разъясняла какой-нибудь новый закон, как, например, «Закон от 7 августа 1932 года» — о борьбе с расхищением государственной собственности или о прогулах и опозданиях на работу и т. п. Поднимаясь на ораторское место, я чувствовала тогда себя как преступник, входящий на эшафот. На меня смотрели десятки и сотни недоверчивых, недружелюбных глаз. Одного того, что этих несчастных женщин опять задержали на неопределенное время по окончании работы или отняли у них обеденный перерыв было достаточно, чтобы настроить их враждебно не только к этой лекции, но и к оратору, всей душой сочувствовавшему своей несчастной аудитории. Я часто старалась в возможно мягкой форме подносить эти, поистине, драконовские законы, но как можно смягчить факт, что за сбор колосьев на убранном колхозном поле даже малолетним дается «высшая мера социальной защиты» — расстрел?.. Иногда усталая и обозленная, противная самой себе в дурацкой роли проповедника советского «права», я забывала всякую

осторожность и, рискуя очень многим, проводила доклад по принципу «Христос терпел и нам велел...» После подобного выступления я надолго теряла покой, которого и так почти никогда не бывало.

СОВЕТСКАЯ СЕМЬЯ

Кажется, ничто в СССР не подвергалось такой ломке, как семья. Еще в декабре 1917 года большевиками были изданы два декрета, отменявшие всё дореволюционное брачное законодательство. Браки, заключенные по религиозным обрядам после 20 декабря 1917 года, считались недействительными. Эти декреты эпохи гражданской войны и военного коммунизма разрушили без остатка всё, чем держалась русская семья. Само понятие о семье превратилось в «пережиток старого быта», в «мещанство», осуждалось и высмеивалось в партийно-общественных кругах и в среде «передовой» молодежи. Необузданная распущенность нравов росла. Только в сельских местностях и в наиболее крепких семьях держались еще старые традиции. И нужно удивляться тому, как долго им удалось продержаться.

Не надо было иметь отношения к юридическому миру, чтобы видеть всероссийскую семейную катастрофу. На каждом шагу, каждому советскому гражданину приходилось наталкиваться на самые неправдоподобные семейные драмы или же самому быть их действующим лицом.

В двадцатых годах эпидемия разводов достигла невероятных размеров. Да и как могло быть иначе? До 1927 года браки заключались в любом отделе ЗАГС'а (запись актов гражданского состояния), независимо от места жительства супругов. Никаких отметок о вступлении в брак в личных документах не делалось. Для развода достаточно было одному из супругов явиться в ЗАГС со свидетельством о браке и попросить выдать другое — о его расторжении. Лишь позднее было введено обязательное оповещение ЗАГС'ом другой стороны, но и это было лишь формальностью, которую очень легко было обойти, дав, например, неправильный адрес. В таком случае извещение приходило обратно с пометкой «такой-то не проживает» и свидетельство о разводе выдавалось немедленно. Да и ЗАГС на эту формальность смотрел сквозь пальцы. А если и была уведомлена другая сторона и если она категорически восставала против развода, то это дела не меняло. Развод выдавался.

Легкость браков и разводов, отсутствие их количественного ограничения, а также признание фактического брака (т. е.

не зарегистрированного) таким же законным, как и зарегистрированного — привели к тому, что молодежь женилась и разводилась, сходилась и расходилась десятки раз. Впрочем, этой же эпидемией было охвачено и старшее поколение.

Я не буду приводить примеры семейных катастроф, сохранившиеся в моей памяти, но могу с уверенностью сказать, что помимо законодательства, все условия советского существования толкали людей на легкомысленные поступки. Не малую роль играл и жилищный кризис, когда семья из нескольких человек вынуждена была помещаться в одной комнате. В поисках чего-то более яркого, усталые от постоянной борьбы за существование, измученные семейными неполадками, порожденными нуждой и скученностью, истомленные серостью и безотрадностью жизни — и мужчины и женщины бросались в разные стороны. Страдали, главным образом, дети и женщины, так как все-таки гораздо чаще мужчины бросали семьи.

Тот же жилищный кризис приводил часто к совершенно невероятным положениям. Не имея возможности найти другую комнату, разведенные супруги продолжали жить вместе. Затем кто-нибудь из них женился или выходил замуж, приводя новую свою половину в эту же комнату. Делалась перегородка из шкафа, фанеры или просто вешалась занавеска. Начиналась жизнь втроем с дрязгами, ссорами, часто переходящими в драки. А бывало и так, что жили вчетвером — разведенные супруги и их новые избранники. Иногда тут же росли и дети, с самого раннего возраста знакомясь со всеми сторонами семейной жизни.

Падению нравственности среди молодежи не мало способствовало и введение большевиками совместного обучения. Мальчиков и девочек всех возрастов от 7 до 18 лет посадили в общие классы. Общая распущенность, полная свобода, отсутствие наблюдения, как в школе, так и дома, постоянные вечерние собрания и занятия — привели к тому, что случаи беременности девочек-школьниц перестали быть редкостью.

Гинекологические отделения больниц были переполнены женщинами всех возрастов, ложившимися для производства абортов. Туда попадали и совсем молоденькие девочки, приводимые самими матерями, и замужние, и незамужние женщины, и относительно обеспеченные, и нищие. Для всех без исключения рождение ребенка было несчастьем. Слишком тяжела была жизнь даже для бездетных.

Легкомысленного отношения к бракам и разводам почти не изменило и постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня

1936 года о повышении платы за разводы. Теперь за первый развод взималась государственная пошлина в размере 50 рублей, за второй — 150, а за третий и последующие — сколько бы их ни было — 350. Не помогли и еще раньше введенные обязательные отметки в паспортах (сама паспортизация была введена лишь в 1933 году, при чем крестьяне паспортов не получили) и то положение, что браки заключались лишь по постоянному месту жительства одного из супругов.

Страх сделаться «алиментщиком» заставлял мужчин лишь изощряться в искусстве заметать следы, что они и делали не без успеха. На содержание одного ребенка присуждалась судом четверть заработка, на двоих — одну треть, на троих и больше — половина. Многие смотрели на плату алиментов довольно равнодушно: — «Всё равно у меня уже трое детей, больше половины не удержат!». Не особенно беспокоились и те, у кого главным источником существования была не служба, а какие-нибудь тайные побочные приработки. Чаще всего — спекуляция.

Не помогала и уголовная ответственность за злостный неплатеж алиментов (ст. 158 Уг. Кодекса 1938 г.). Такие дела возбуждались почти всегда по заявлению истицы, а последняя больше была заинтересована в том, чтобы ответчик остался на свободе и платил хоть изредка и нерегулярно, чем попал на 2 года в тюрьму, откуда уже не мог бы помогать детям даже при желании.

Сколько исполнительных листов прошло через мои руки, сколько переписки было по каждому из них, сколько раз приходилось обращаться в Уголовный Розыск для поисков ответчика и как редко случалось, что женщина акуратно получала от отца своего ребенка причитающиеся ей крохи.

Очевидно, последняя война оказалась еще одним новым фактором разрушения и без того разрушенной семьи, ибо 8 июля 1944 года Президиум Верховного Совета СССР разразился новым указом, сломавшим сразу до основания все предыдущие принципы советского брачного законодательства. Вот некоторые пункты его:

«п. 19. Установить, что *только зарегистрированный брак* порождает права и обязанности супругов». (По старому законодательству, существовавшему больше четверти века, фактический брак порождал те же права и обязанности, что и зарегистрированный).

«п. 20. Отменить существующее право матери обратиться в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании али-

ментов на содержание ребенка, родившегося от лица, с которым она не состояла в зарегистрированном браке».

«п. 23. Установить, что развод производится публично через суд...»

Этим-же постановлением установлена и пошлина при подаче заявления о разводе в размере 100 руб., а при выдаче ЗАГС-ом свидетельства о разводе взимается с супругов еще от 500 до 2000 рублей.

Интересно, что последний пункт возвращает советское законодательство к дореволюционной системе разводов, приводившей, фактически, к нерасторжимости брака. Я внимательно искала в современном советском законодательстве мотивы, по которым суд мог бы удовлетворить требование о разводе и не нашла их ни в самом постановлении, ни в новом кодексе законов о браке, ни в брошюре Г. М. Свердлова «Советское законодательство о браке, семье и опеке», ни в «Руководстве для народных заседателей». Везде говорится только о том, что «суд должен всемерно стремиться добиться примирения супругов и в своих решениях исходить *только* из интересов семьи». Трудно судить издалека, но мне кажется, что в скупых строках этих законов угадывается страшная правда о полном разложении семьи в СССР и о попытках сковать ее путем применения законов, не менее суровых, чем прежние консисторские законы о разводе.

ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН

Одним из наиболее важных моментов для работающей советской женщины является до- и после-родовой отпуск. До конца 30-х годов этот отпуск был равен 112 дням: 56 до и 56 после родов. К этому отпуску обычно прибавлялся еще и очередной отпуск, равнявшийся двум неделям, а иногда (в зависимости от работы) и больше. Для матери этого было достаточно, но если она не имела никого дома для присмотра за ребенком, то ей приходилось по окончании отпуска отдавать ребенка в ясли, что было для каждой любящей матери трагедией.

В конце тридцатых годов отпуск по беременности и родам был уменьшен почти вдвое, т. е. вместо 112 дней предоставлялось лишь 63: 28 до и 35 после родов. Даже для женщин, находившихся на самой легкой работе, этот отпуск был слишком коротким. Приходилось идти на любые ухищрения для того, чтобы его продлить. Как правило, женщины с первых месяцев беременности увеличивали ее срок и таким образом им

удавалось получить отпуск немного раньше. На этот невинный и необходимый обман врачи, в большинстве случаев, закрывали глаза, несмотря на то, что им самим часто приходилось иметь неприятности по службе, если женщина слишком долго «перенашивала». Но сроки беременности растяжимы дней на 25 и такое продление отпуска обычно удавалось, если случайно не попадался врач-карьерист из молодых или партийных, особенно ревностно соблюдавший интересы государства и затягивавший выдачу больничного листа настолько, что несчастная попадала в родильный дом прямо с работы.

Указом Президиума Верховного Совета от 8 июля 1944 года эти сроки были снова несколько увеличены: 35 дней до родов и 42 после.

Перерыв для кормления ребенка устанавливался полуторачасовой, с включением в это время обеденного получасового перерыва. Как правило, женщины использовывали это время таким образом, чтобы приходить на работу на полчаса позже и уходить на полчаса раньше. Для промежуточного кормления рекомендовалось отдаивать молоко и оставлять ребенку.

Женские консультации в этом отношении старались всячески помочь кормящим матерям. Так, например, наши врачи просили женщин, у которых был излишек молока, отдаивать его и оно потом рассылалось в ясли. Значительное количество грудного молока для ясельных детей поставляли также родильные дома. Перевод маленьких детей (до 3-4 месяцев) на искусственное питание применялся лишь в самых крайних случаях, так как без материнского молока у детей постоянно (особенно в летнее время) начинался понос, нередко кончавшийся смертью.

Были запрещены сверхурочные работы для беременных, начиная с 4-го месяца, а для кормящих — ночные работы.

Установлена уголовная ответственность руководителей предприятий и учреждений за отказ в приеме на работу беременных или кормящих матерей.

Чрезвычайно характерна ст. 2 указа Президиума Верховного Совета от 19 мая 1939 года, гласящая: «Предоставить беременным женщинам — работницам и служащим (с момента установления беременности) и матерям, имеющим детей в возрасте до одного года *право перехода на другую работу по месту жительства* с сохранением за ними непрерывности трудового стажа». Как-же это так, оказывается, что в «самой свободной стране мира» право перехода на другую работу, да и то только *по месту жительства*, устанавливается специальным

пунктом указа Верховного Совета, как льгота для беременной или кормящей матери! Этот короткий пункт является самым неоспоримым и ярким подтверждением полного закрепощения всего населения Советского Союза.

А затем установлены: «Медаль материнства» первой и второй степени, орден «Материнская слава» первой, второй и третьей степени, почетное звание «Мать-героиня» и орден тогоже имени. Для получения самого низкого из этих знаков отличия необходимо родить и воспитать пятерых детей. Родить и вырастить в советских условиях даже одного ребенка — это подвиг а для того, чтобы вырастить пятерых, нужно быть действительно героиней. Согласно официальному утверждению, «ни в одной стране мира женщина, как мать и гражданка, на которой лежит большая и ответственная обязанность рождения и воспитания граждан, не пользуется таким уважением и защитой закона, как в СССР» (Пост. ЦИК. и СНК СССР от 27 июня 1936 г.). В действительности же, ни в одной стране мира не стоит перед женщиной-матерью такого количества препятствий и почти непреодолимых трудностей, как в Советском Союзе. Если бы посмотрели самые бедные американские женщины во что завертывают советские женщины своих новорожденных, они бы не поверили своим глазам. Детская коляска рядовой советской женщине почти так же недоступна, как советскому рабочему автомобиль.

Я не знаю американского законодательства. Возможно, что оно и не предусматривает никаких льгот для женщин-матерей. Но зато я знаю очень хорошо, какой ценой даются эти льготы матерям в СССР и как счастливы были бы они, если бы вместо них им дали хотя бы маленькую частицу той свободы, которой пользуется каждая американская женщина, сама не сознавая того, что она имеет.

ПРОБЛЕМА АБОРТОВ В СССР

До издания постановления ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года аборты в СССР были официально разрешены и производились бесплатно в гинекологических отделениях всех больниц врачами-специалистами. Последним также не запрещалось производить их у себя на дому, если обстановка отвечала санитарным требованиям. Сильное падение процента рождаемости, а главное — колоссальная смертность, особенно детская, вызванная «сталинским» голодом 1932-33 годов, заставила советскую власть ввести в действие закон о запрещении абортов.

За производство аборта устанавливалось уголовное взыскание: врачу—до двух лет тюремного заключения, неспециалисту — не ниже трех лет. Для самих женщин — при первом аборте общественное порицание (до которого, кстати сказать, никому не было никакого дела), при повторном — штраф до 300 рублей. Производство абортов разрешалось лишь по постановлению специальной абортной комиссии, собиравшейся каждую неделю в Женской Консультации и состоявшей из трех врачей поликлиники. Комиссия могла дать свою санкцию лишь в случаях активного туберкулеза матери, тяжелых, передающихся по наследству заболеваний родителей (главным образом душевных) или если беременность и роды угрожали жизни женщины. Венерические болезни в расчет не принимались.

Так как рождение ребенка для большинства советских женщин было катастрофой, то вполне естественно, что официальное запрещение абортов вызвало грандиозный рост тайного их производства. Не добившись желаемых результатов домашними средствами и не имея возможности обратиться к хорошему врачу (очень немногие из них, в очень редких случаях и за головокружительную плату соглашались сделать аборт у себя на дому), женщины отправлялись к «бабкам», применявшим самые примитивные способы операции и производившим их в крайне антисанитарной обстановке. Подобного рода аборты чрезвычайно редко имели благополучный исход. Обычно, женщины оставались дома днями и неделями, скрывая от всех свое состояние и попадали в больницу уже совершенно обессилев от потери крови, с прободениями или гнойными перитонитами, когда уже никакая операция не могла их спасти.

На выставке Уголовного Розыска я видела коллекцию орудий производства абортов. Там были ржавые спицы, чтобы вызывать кровотечение, а попутно, в большинстве случаев, и заражение крови. Этими-же спицами производилась совершенно чудовищная операция, фактически являвшаяся в 99 случаях из 100 двойным убийством. Если даже при ней дело обходилось без прободения, то все равно, почти неизбежно начиналось заражение крови и мать, доставленную в больницу (обычно слишком поздно) почти никогда не удавалось спасти. Были еще деревянные палочки с системой веревочек, прикреплявшиеся к поясу. С таким орудием пытки несчастная жертва должна была ходить 1-2 дня и больше, чтобы в результате попасть в больницу. Был и, так называемый, «Машкин корень», действовавший не только механически, но и своими ядовитыми

соками. Были старые абортные ложки — тупые и ржавые, добытые, повидимому, из отбросов какой-нибудь больницы. Были и корешки всевозможных растений.

В мои функции консультантки входила борьба с абортами. Мне не раз удавалось отговорить женщин, уже окончательно решившихся рискнуть жизнью, чтобы избавиться от нежелательного прибавления семейства, но не всегда.

Шурочку А. я знала давно. У нее был прелестный трехлетний мальчуган, которому она отдавала всю свою жизнь и очень гадкий муж, которого она нежно любила, несмотря на то, что он пьянствовал, постоянно ей изменял и проматывал почти всё, что зарабатывал. А зарабатывал он сравнительно хорошо. Он был превосходным столяром и как-то ухитрялся прирабатывать «слева», т. е. частным образом, помимо работы в каких-то мастерских. Шурочка же брала стирку на дом, чтобы иметь возможность лучше питать ребенка и не посылать его в детский сад. Ей было 24 года. Тяжелая жизнь еще не успела наложить свою печать на ее миловидное личико. Однажды она пришла ко мне в слезах:

— Я беременна...

Мои штампованные фразы о новой жизни, о радостях материнства, звучали тускло и неубедительно.

— Да ведь я же больше работать не смогу, — возражала она. — Мне и с одним-то тяжело, а что я с двумя буду делать?

— У тебя муж хорошо зарабатывает.

Она только махнула рукой.

— Его уже трое суток дома не было. В последнюю получку дал 20 рублей. Живи, говорит, как хочешь. Нет, мне второго ребенка никак нельзя. Пойду до бабки.

— Ну, а если ты себя искалечишь на всю жизнь или умрешь, что тогда с твоим сыном будет?

— Всё равно... И так и так пропадать!

Я, не жалея красок, описала известные мне несчастные случаи (недостатка в последних не было). Она слушала, печально понурив голову.

— Ну, если не так, значит иначе, а что-нибудь да сделаю, — твердо сказала она на прощание.

Я сделала в книге посещений около ее фамилии отметку «беременна», внесла в список женщин, подлежащих наблюдению специальных комиссий по борьбе с абортами и передала его заведующей консультацией. Таких женщин регулярно посещала медицинская сестра, следившая за состоянием их

здоровья и читавшая лекции о вреде и опасности абортов. Бабки, прекрасно осведомленные обо всем касавшемся их пациенток, никогда не рискнули бы принять участие в ликвидации беременности при таких условиях, из страха «засыпаться».

Главное было — спасти женщину, а там видно будет. Может быть, образумится муж, как это иногда бывало. А в крайнем случае придется послать исполнительный лист по месту его работы для удержания алиментов или заставить его давать жене достаточно денег, путем угрозы донести финотделу о его частных работах. Подлый прием, но и к нему приходилось прибегать и он почти всегда помогал, хотя до выполнения своей угрозы я никогда не доходила. Подобным субъектам я посылала официальный вызов. Они приходили и после непродолжительной беседы мне удавалось добиться от них письменного обязательства акуратно давать жене определенную часть заработка на детей и хозяйство. Такая подписка никакого юридического значения не имела, но зато иногда производила желаемое действие. К таким вызовам я, как правило, прибегала только с согласия жены, но Шурочка пока от этого категорически отказывалась.

Месяца через четыре она снова пришла ко мне — немного побледневшая, но сияющая. Оказалось, что к бабке она не пошла, но избранный ею способ был не менее рискованным. Выждав до четвертого месяца, она сдала своего малыша на попечение соседки, а сама пошла на вокзал и села в поезд с билетом до ближайшей станции. Не доехав до нее, она почти на полном ходу выбросилась из вагона. Прыжок оказался удачным: она ничего не сломала, но добилась желаемых результатов: получился выкидыш, после которого она довольно быстро поправилась. Конечно, она могла убиться, искалечиться, могла, наконец, *только* сломать руку или ногу.

Совершенно иная участь постигла другую мою клиентку — Ольгу К. У нее было уже трое детей, когда она забеременела четвертым. Она работала уборщицей в конторе лесничества, получала 80 рублей жалования в месяц и, главное, дрова почти бесплатно. Муж работал смазчиком на железной дороге, получал 150 рублей в месяц и тоже топливо по довольно низкой цене. Старший мальчик ходил в школу, двух младших она, идя на работу, отводила в железнодорожный детский сад неподалеку от дома, а возвращаясь — забирала их домой. Жить, конечно, было очень трудно, но семья кое-как перебивалась. Большим подспорьем было и то, что часть топлива Ольга потихоньку продавала соседям.

Забеременев четвертым ребенком она не отчаялась. Но когда она была на третьем месяце беременности, случилось несчастье с ее мужем: во время работы он попал под встречный поезд и ему отрезало обе ноги. Было установлено, что несчастье произошло по его собственной неосторожности, так что железная дорога ничего за увечье ему не выплачивала. Оставалась только пенсия от отдела социального обеспечения, но она была настолько ничтожна, что фактически Ольга должна была целиком тащить на своих плечах все заботы о трех детях и о калеке-муже. Вот тут-то Ольга и упала духом:

— Да куда же мне теперь еще четвертого? — рыдая говорила она. — Мне теперь еще какую-нибудь работу надо искать. Ведь нам же не прожить! Миленькая, похлопочите чтобы мне аборт сделали!

По ее представлению, мне достаточно было куда-то пойти или просто поговорить с кем-то по телефону, чтобы получить для нее разрешение на аборт, но я была бессильна. Через некоторое время я узнала, что она умерла в больнице, куда была привезена уже в безнадежном состоянии, от заражения крови. Мне до сих пор еще тяжело думать о том, что она и меня, наверное, причислила к виновникам своей гибели.

Можно было бы привести сколько угодно подобных случаев. Лишь очень редкие из них оканчивались благополучно. Характерно, что, попадая в больницы в самом тяжелом состоянии и даже умирая в страшных мучениях, женщины почти никогда не открывали своей тайны: кто и как. На все попытки добиться от них правды, они или вообще отрицали всякое хирургическое вмешательство, или упорно, до самой последней минуты повторяли: — я сама...

Наряду с запрещением и преследованием абортов, предупреждение беременности не только не запрещалось, но в связи с повышением женской смертности от абортов, даже популяризировалось. Во всех аптеках всегда можно было достать любое противозачаточное средство. Врачи консультаций читали лекции о предупреждении беременности и охотно давали советы каждой отдельной женщине. Однако, лишь весьма незначительное количество женщин к этому прибегало, Я вижу две причины этому: во-первых — чрезвычайная застенчивость русской женщины, которую даже самая крайняя необходимость не всегда заставляла обратиться к врачу-гинекологу, хотя бы даже и женщине; во-вторых — относительно высокие цены на все противозачаточные средства.

МНОГОСЕМЕЙНЫЕ

Тем же постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года, которым запрещалось производство абортов, устанавливалось пособие по многодетности. На 7-го, 8-го, 9-го и 10-го ребенка выплачивалось по 2000 рублей ежегодно в течение пяти лет; на 11-го и каждого следующего — пять тысяч рублей при рождении и по три тысячи ежегодно, начиная со второго года, в течение 4-х лет. Несмотря на невероятную дороговизну жизни, это пособие было всё-таки огромным подспорьем. И женщины имевшие по 5-6 детей стремились дойти до седьмого. Иным это удавалось и тогда жизнь становилась действительно легче. Помимо причитающегося пособия, давалась приличная квартира, предоставлялась возможность приобрести по государственным ценам одежду, обувь для детей, муж не попадал под сокращение штатов и т. п. В этих случаях, благо их было немного, советская власть проявляла неподдельную заботу обо всей семье. Правда, от этого еще контрастнее выступала беспросветная нужда тех семей, где было 4-6 детей.

Моя постоянная клиентка Настя М. несколько лет безуспешно гналась за этим пособием, неизбежно от нее ускользавшим. Первый раз она пришла ко мне, будучи беременной седьмым ребенком. Ее некрасивое, покрытое желтыми пятнами лицо с припухшими от беременности губами, сияло счастьем пока я объясняла ей формальности получения пособия. Уходя, она так долго и горячо благодарила, как будто это я давала ей его. Через некоторое время я узнала, что ребенок родился мертвым. Настя не отчаялась. Едва оправившись после родов она забеременела снова. Ребенок родился здоровым. Семья ликовала. Но пока мать лежала в больнице, младший из шести внезапно умер. Осталось опять шесть. По прошествии нескольких месяцев, Настя снова забеременела. Беспросветная нужда, частые роды и страх, что и на этот раз случится какое-нибудь несчастье, до того подорвали ее здоровье и так не особенно крепкое, что она ребенка не доносила. На шестом месяце получился выкидыш. Зато другой моей клиентке — Анне С. повезло: она «работала» исключительно по двойням и к 32 годам имела уже 12 здоровых детей. Я несколько раз бывала у нее в доме и каждый раз уносила самое отрадное впечатление. Семья жила в светлом, заново отстроенном домике из 4-комнат и кухни. Некрашеные деревянные полы сияли чистотой, как и всё остальное. Правда, дети, за исключением четверых старших, спали по-двое в одной кровати.

— Негде ставить, да и откуда я столько белья наберу? Да ничего, они привыкли — во мне теснее было! — смеялась мать, показывая ровные белые зубы.

В сарайчике мычала корова, перед домом ходили многие десятки белых лекгорнов — подарок городского инкубатора. Пожалуй, за все годы моей жизни в СССР, это был единственный случай, когда я видела счастливую семью. И дети, и родители жили дружно, в доме звучал смех, песни.

В 1944 году закон о пособиях по многодетности был изменен. Согласно измененному закону, при рождении третьего ребенка выплачивалось единовременно 400 рублей. При рождении четвертого — 1300 и ежемесячно по 80 руб., начиная со второго года рождения до достижения им пятилетнего возраста. При рождении пятого — 1700 и ежемесячно 120, шестого — 2000 и ежемесячно 140, седьмого — 2500 и ежемесячно 200, восьмого — 2500 и ежемесячно 200, девятого — 3500 и ежемесячно 250, десятого — 3500 и ежемесячно 250, на каждого следующего — 5000 и ежемесячно 300.

На первый взгляд может показаться, что помощь многодетным матерям значительно увеличена, но если принять во внимание, насколько упала реальная ценность советского рубля после войны по сравнению с его довоенной ценностью, то вряд ли получится разница в пользу матерей. Единственное преимущество нового закона заключается в том, что пособие выдается женщинам начиная с третьего ребенка.

ЯСЛИ, ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ

К нам в консультацию постоянно обращались женщины за справками о состоянии здоровья ребенка для определения его в ясли. И почти всегда это обращение сопровождалось слезами матери.

— Посмотрите, — говорила она, — какой он у меня хороший, чистенький! А отдам в ясли — что из него будет...

— А зачем тогда отдавать?

— Работать надо идти. Не прожить.

Ребенка помещали в ясли. Через некоторое время мать приносила его снова к врачу, но уже не для получения справки, а для лечения. Ребенок терял в весе, кашлял, часто у него была воспалена кожа, без конца плакал. Да и как же могло быть иначе? Только там, где уход за детьми обеспечен достаточным количеством персонала и где этот персонал сам достаточно материально обеспечен — могут маленькие дети иметь действительно хороший уход и питание. Но не в советских яслях. Пеленки детям если и переменялись, то не больше одного

раза в день, а то и совсем не менялись. Их было слишком мало и к тому же у персонала не хватало времени. Персонал был сокращен до минимума. Это — режим экономии, зарплата была нищенской — гораздо ниже прожиточного минимума. У многих из нянек у самих были дети и они думали только о том, чтобы урвать для них у чужих детей глоток молока или ложку каши. Сердцá человеческие черствеют в жестокой борьбе за существование. В них остается место для любви и жалости только к самым близким, а чужие страданья и нужды оставляют их равнодушными. Можно ли осудить женщину за то, что она крадет для своего голодного ребенка молоко, рискуя при этом потерять не только работу, но и свободу, так как за это ей грозит многолетнее тюремное заключение? Можно ли требовать от усталой и голодной няньки должного внимания и заботливости по отношении к чужим детям, если ее собственные находятся, может быть, в еще худших условиях?

Но не только это. Медицинский контроль был недостаточен. Эпидемии в яслях были явлением привычным. Кроме того, почти каждый ясельный ребенок был обречен на воспаление легких, так как в помещении в зимнее время никогда не бывало достаточно тепло из-за недостатка топлива. Вот почему плакали матери, когда нужда заставляла их отдавать детей в ясли. Конечно, всё вышесказанное не относится к показательным яслям, существовавшим в городах, наиболее посещаемых иностранными туристами...

Многим матерям было невероятно трудно доставлять детей в детские заведения и брать их оттуда. У одной моей клиентки Д. было двое детей — 4-х лет и 6-ти месяцев. Видя невозможность существования на заработок одного мужа, она поступила на работу на завод. От дома до детского сада было полчаса ходьбы, от сада до ясель — еще столько же, от ясель до завода — минут сорок. Работа на заводе начиналась в 8 часов утра. Всё это было бы еще терпимо, но и сад, и ясли открывались только в 7 часов. Вечером работа кончалась в 4 часа, а сад и ясли закрывались в 5. Каждый день Д. сломя голову бежала с детьми и каждый день опаздывала на работу. Каждый вечер она заставала старшего ребенка плачущим на улице перед закрытым детским садом или вынуждена была бегать по соседним улицам, ища его. До закрытия сада она придти не успевала, а персонал задерживаться из-за ее ребенка не желал. Промучавшись так неделю, она пришла ко мне. Директор завода сказал, что если так будет продолжаться, он отдаст ее под суд, как прогульщицу. Надо сказать, что в данном слу-

чае, директор завода проявил небывалую мягкость по отношению к несчастной женщине. Обычно, под суд отдавали сразу за опоздание без «уважительной» причины. Последние должны были быть подтверждены документами. Врачам поликлиник категорически было запрещено давать справки, если кто-либо из служащих или рабочих задерживался на утреннем приеме. Случай же Д. относился к «семейным обстоятельствам» и должен был быть как-то урегулирован. Одна из врачей консультации пошла на риск и дала Д. справку о том, что она кормит младшего ребенка грудью и имеет право на дополнительный перерыв. Временно вопрос был урегулирован: она могла приходить на работу на полчаса позднее и уходить на полчаса раньше.

В детских садах дело обстояло еще хуже чем в яслях. Они были всегда переполнены, кормили детей очень плохо, помещение часто почти не отапливалось. Дети, предоставленные самим себе, выбегали на улицу, играли под дождем и в снегу, простужались. Постоянно все детские сады закрывались из-за эпидемий кори, скарлатины и других болезней. Мне известен случай, когда маленькая девочка в детском саду заразилась гонореей.

Я присутствовала однажды на детском приеме у врача венерологического диспансера и на всю жизнь запомнила, как перед началом приема в общую ожидальню впустили толпу маленьких пациентов и пациенток. Их было 38 в возрасте от 6 до 10 лет. Почти все они были жертвами жилищного кризиса и материальной необеспеченности: общая постель, грязное полотенце, отсутствие мыла. Ведь и белье и мыло были дефицитными товарами в СССР.

Но хуже всего дело обстояло в советских школах. Мне приходилось не раз посещать школы. Первое, что обращало на себя внимание — был одуряющий запах грязной уборной, наполняющий всё помещение. И действительно, уборные были в таком состоянии, что в них нельзя было войти. Школы работали в две, а иногда и в три смены. Младшие классы начинали с 7 часов утра. Старшие кончали в 8 и 9 часов вечера. Как при таких условиях убирались классы — можно себе представить. Зимой в помещениях было, как правило, совершенно холодно и дети сидели в пальто.

Вполне понятно, что многие родители шли на что угодно, чтобы обойти закон о всеобщем обязательном образовании и отдать своих детей в школы как можно позднее. И здесь, как и во многих других случаях, врачи помогали, давая справки о слабости здоровья ребенка.

МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ

Особенно тягостным в СССР было всегда положение одиноких матерей. Это были вдовы, разведенные или женщины имевшие детей от случайной связи. Очень часто, не имея вообще никого близкого, они влачили самое жалкое существование. Иногда Консультации удавалось доставать таким матерям несколько пеленок или выхлопотать для них маленькую материальную помощь в Местном Комитете проф. союза, членом которого состояла мать, но помощь эта была слишком незначительной, чтобы облегчить безысходную нужду. Проблема пеленок и вообще одежды в СССР всегда была неразрешима, но там, где есть семья, всё-таки почти всегда можно найти какие-нибудь тряпки, чтобы завернуть в них ребенка. Женщина же одиночка зачастую вынуждена была снять с себя рубашку или юбку, чтобы завернуть ребенка по выходе из родильного дома. Известно, что никаких частных благотворительных организаций в СССР не существует. Вся «благотворительность» сосредоточена в специальных отделах при исполнительных комитетах (Отдел охраны материнства и младенчества) и помощь их равна почти нулю. В самые благоприятные периоды в Советском Союзе на улицах зимой можно было увидеть женщин и детей, без чулок, с голыми пальцами ног, вылезающими из дырявой обуви, без пальто, закутанных в какие-то тряпки, дрожащих и посиневших.

Много матерей-одиночек перебывало перед моим столом в Консультации и очень редко я могла оказать им какую-нибудь помощь помимо «моральной», заключающейся в ободрительных и ласковых словах. Из этих матерей-одиночек многие вынуждены были, уходя на работу, оставлять малолетних детей дома, в запертой холодной комнате, с куском сухого хлеба на целый день. Я часто посещала эти убогие жилища и, уходя из них, уносила с собой неизменно растущую ненависть к системе, создававшей подобное положение и сознание своей полной беспомощности что-нибудь сделать.

Существовали, правда, круглосуточные ясли, куда матери могли отдавать детей на всю неделю и брать их домой лишь по выходным дням, но и это было больше на бумаге. Количество мест в них было очень ограничено, а условия мало чем отличались от самых скверных домашних и были еще хуже, чем в дневных яслях. Любящие матери редко отдавали туда своих детей.

— Уж лучше пусть дома остается. Я, по крайней мере, вечером вымою и накормлю как следует, — говорили они, — а в яслях целую неделю преть будет и голодать.

И они были правы.

ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

«С 1940 года в нашем государстве производится организованная подготовка трудовых резервов для промышленности и транспорта. По всей стране открыты тысячи школ фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищ. В этих училищах подростки, начиная с 14 лет, обучаются и содержатся полностью за счет государства. Окончив эти школы, подростки поступают на заводы, фабрики, железные дороги. Это громадное государственной важности мероприятие имеет немалое значение для семьи, для всестороннего воспитания подрастающего поколения. Как широко поставлено у нас обучение подростков в школах и училищах трудовых резервов, видно из того, что за годы существования этих школ и училищ они дали промышленности и транспорту миллионы обученных молодых рабочих».

Так пишет Г. М. Свердлов в своей научно-популярной брошюре «Советское законодательство о браке, семье и опеке» (Изд. Академии Наук СССР 1949 г., стр. 21).

А вот как это было в действительности.

В 1940 году, как снег на голову, свалилось правительственное постановление об организации и заполнении учащимися школ ФЗО. Каждая средняя школа получила определенную разверстку, т. е. количество учеников, которые должны были быть посланы в ФЗУ. При выполнении этой нормы никто не спрашивал согласия или желания ученика и его родителей. Для громадного большинства отрыв ребенка от учения и семьи был тяжелой драмой. Лишь очень незначительное количество родителей добровольно соглашалось отдать своих детей в ФЗУ, где к тому же были отвратительные условия: грязные холодные общежития, отвратительное питание и 8-ми часовой рабочий день. Не говоря уже о том, что у многих детей и их родителей были совершенно другие планы на будущее, страшно было подумать о том, в какие условия попадает ребенок.

Конечно, первые же драмы начали разыгрываться у меня в консультации. В полном отчаянии родители приходили просить совета — как спасти ребенка, но спасения не было. Очевидно, существовали секретные директивы — забирать детей преимущественно из интеллигентных семей, так как именно так это и делалось. Забирали детей, имевших определенную

склонность и способности к занятиям музыкой и уже занимавшихся ею. Забирали тех, чьей мечтою было в будущем поступить в техническое высшее учебное заведение. Забирали будущих художников, литераторов для того, чтобы сделать из них рабочих узкой специальности. На фоне безысходного горя и отчаяния изредка вдруг появлялись передмоим столом растерянные фигуры рабочих и их жен:

— Мы бы хотели нашего сына в ФЗУ определить, а его не берут...

Школы ФЗО были открыты почти во всех городах и единственное, чего иногда удавалось добиться родителям — это помещения их ребенка в ФЗУ в родном городе. И это было уже много, потому что детей, как правило, рассылали по разным городам, по возможности подальше, чтобы окончательно оторвать их от влияния семьи, бросить в совершенно чуждую среду. Это очень напоминало комплектование красной армии, где односельчан и лиц одной национальности разбивали по разным частям, чтобы поменьше было сплоченности, чтобы, не дай Бог, не было у солдат чувства взаимного доверия и какой-нибудь солидарности.

Организация школ ФЗО фактически была *насильственной мобилизацией детей*, преследовавшей две цели: пополнение рабочих кадров и отрыв от семьи.

Надо сказать, что положение рабочих в СССР настолько незавидное, что с каждым годом все меньшее и меньшее количество молодежи стремилось ими стать. Первым шагом к пополнению рабочих кадров была отмена бесплатного обучения, введенная в 1936 году. Это мероприятие заставило часть молодежи бросить учение и идти на производство. Но так как и родители, и сами учащиеся прилагали все усилия к тому, чтобы как-то нужную для учения сумму раздобыть, то отсев получился сравнительно незначительный. Это и повлекло за собой более сильное мероприятие, давшее, как говорит Свердлов, «миллионы обученных молодых рабочих» и внесшее много горя в жизнь этих «миллионов» и их близких.

СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

С момента объявления войны и без того тягостное положение советской женщины резко ухудшилось. Главной причиной этого было, конечно, то, что мужей забрали на фронт. Женам командного состава выдавалась по аттестатам некоторая сумма. Сумма эта, в зависимости от состава семьи, доходила до 300 руб. в месяц и больше. К сожалению, я точно не помню, но кажется, на жену полагалось 100 руб. в месяц и на каждого

несовершеннолетнего ребенка по 50 р. При чем, это не было государственным пособием, а являлось зарплатой командира. Сумма же выдаваемая женам солдат была так незначительна, что на нее невозможно было просуществовать и несколько дней. Между тем во время войны продукты начали быстро исчезать с рынка и цены поднимались с каждым днем. Началась нужда, в недалеком будущем грозившая перейти в очередной голод. Даже наиболее обеспеченные — жены комсостава — ходили по барахолке, с болью в сердце продавая костюмы и ботинки мужей.

— Если вернется — как-нибудь наживем, а не вернется...

Все пытались закупить запасы какого-нибудь продовольствия на зиму, раздобыть топку. Ходили в леса за хворостом, ездили в ближайшие села за продуктами.

Через несколько месяцев после начала войны над многими семьями командного состава разразилась новая и неожиданная катастрофа. Аттестаты выдавались сроком на полгода. По истечении этого срока, новые должны были быть высланы воинской частью в Военный Комиссариат по месту жительства семьи. Как известно, в самом начале войны многие части и даже целые армии попали в немецкое окружение и были взяты в плен. Прекратились письма с фронта, началось томительное ожидание каких-нибудь вестей.

Но когда женщины приходили в Военный Комиссариат получать по аттестатам за январь месяц 1942 года, им начали отказывать:

— Срок аттестата истек. Нужен новый.

— Да где же я его возьму?

— Напишите в часть — часть вышлет..

— Да куда же я напишу, если уже три месяца из части ни одно письмо не приходит, а наши письма обратно возвращаются?

— Если вы, гражданка, не получаете писем от вашего мужа, то это еще не значит, что из части ни одно письмо не приходит. Значит он вам писать не хочет.

— А если он в плен попал?

— Тогда значит он изменник родине и ничего его семье выдаваться не будет.

— Да что вы мне голову морочите, если я знаю, что вся часть попала, если не в плен, то в окружение!

— Вы, гражданка, здесь агитацию не разводите. Нам ни про какое окружение ничего неизвестно.

— Да на что же мне с детьми жить?

— Подавайте в Собез (Отдел Социального Обеспечения) на пенсию.

— Да ведь Собез у меня справку потребует о том, что муж убит!

— Ну напишите в часть. Если он убит, то часть обязана вам выслать справку.

— Да ведь вы же лучше меня знаете, что Н-ской части больше не существует!

— Уходите-ка вы, гражданка, отсюда, пока я не позвонил куда следует. Ни о каких окружениях нам ничего неизвестно. А вы тут лучше не агитируйте.

Таким образом с 1 января 1942 года многие тысячи семей военнослужащих остались без всяких средств к существованию и без всякой помощи со стороны правительства. Немцы наступали с катастрофической быстротой. Началось лихорадочное копание противотанковых рвов. На эти работы забирали всех: мужчин, почему-либо еще не мобилизованных, женщин, старших школьников. Зима 1941-1942 года была исключительно суровой. И вот несчастных счетоводов, машинисток, подростков вывозили на грузовиках в поля за 30-40 километров от города, где не было ни бараков, ни землянок, ни даже соломы. Мороз, буран, тяжелая лопата или лом, которым надо разбивать мерзлую землю. Кто из всех этих горожан, мобилизованных «на окопы», умел обращаться с лопатой или ломом? Что могли они сделать своими слабыми непривычными руками, работая на снегу, без теплой одежды, без какого либо прикрытия?

Сколько матерей приходило ко мне в полном отчаянии, прося спасти от этой ужасной мобилизации дочь или сына! Конечно, и здесь я была бессильна. Какое количество женщин и подростков потеряло на этих работах здоровье и жизнь — это не значится ни в какой статистике.

Когда в наш город привезли первых раненых, жизнь уже была необычайно трудной. Задолго до этого были приготовлены помещения, оборудованы лазареты и все готово для приема раненых. И вот, наконец, пришел первый транспорт. Толпы народа, преимущественно женщин, буквально осаждали вокзал, чтобы помочь переноске раненых из поезда в приготовленные для них автобусы. Такие же толпы запрудили всю главную улицу. Я стояла на одном из углов и ждала приближения первого автобуса. Он медленно приближался. За ним бежали люди, на ходу передавая что-то. Стоявшая около меня крестьянка в беленьком платочке заволновалась:

— Ах ты Господи! Да что же я то им дам? Домой бы сбегать. Там у меня еще меду баночка есть. А как вы думаете, гражданка,— обратилась она ко мне,— успею я домой сбегать?

— Успеешь, — ответил за меня, стоявший рядом рабочий. Женщина убежала.

Раненых везли до самого вечера. И до самого вечера не расходилась толпа женщин, буквально засыпавшая их всевозможными подарками. Женщины бежали домой, вытаскивали из заветных тайничков табак и сигареты, припасенные на случай возврата сына или мужа. Несли сахар, яйца, масло, сметану, белье, носки, давали деньги — быть может последние. Многие женщины плакали.

Много бывало в СССР всевозможных митингов и демонстраций, но такой демонстрации искреннего чувства самозабвения я не видела ни разу за свою жизнь.

А раненые ехали хмуро. Благодарили за подарки молчаливыми кивками головы или просто взглядами. Когда через несколько месяцев к городу подходили немцы, всех способных идти раненых принудили к уходу, а остальных сожгли вместе с лазаретами...

О том, чего натерпелась советская женщина за последние годы войны и после нее мы знаем только по наслышке. Но мы, советские женщины, хорошо представляем себе, *что* она еще пережила.

Т. Кошенова

К ИСТОРИИ ВЛАСОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В прошлом году почти одновременно вышли в свет две книги нерусских авторов, обе посвященные главным образом власовскому движению: в Германии — «Кого боги хотят погубить» Ю. Торвальда и в Соединенных Штатах — «Советская оппозиция Сталину» Дж. Фишера*. Обе книги следует отнести к работам, которые принято характеризовать как «ценный вклад в литературу вопроса». И в данном случае вклад этот тем более ценен, что, несмотря на наличность нескольких значительных статей — начиная с напечатанных в «Новом Журнале» пионерских статей Б. И. Николаевского — литература вопроса в общем находится в довольно жалком состоянии. Книги немецких авторов Михеля и Двингера настолько изобилуют неточностями и прямым вымыслом, что их нельзя причислить к серьезной литературе. Полемика в русской эмигрантской печати свелась почти исключительно к острому столкновению различных предвзятых мнений. По сравнению с этим книги Торвальда и Фишера представляют собой настоящую сокровищницу, да и безотносительно они богаты содержанием, не всегда бесспорным, но всегда заслуживающим серьезного обсуждения.

Весь комплекс явлений, связанный с судьбой советских военно-пленных в Германии во время последней войны, и по своим размерам, и по своему характеру является исключительным, не имеющим прецедентов в истории. Историю прежних войн можно было писать, не касаясь судьбы военнопленных. Их активное участие в войне кончалось в тот момент, когда они попадали в плен. Использование их, как рабочей силы, имело лишь весьма ограниченное значение. Конечно, каждая сторона была заинтересована в том, чтобы взять как можно больше пленных, не рассчитывая, однако, усилить военноплен-

---

[1] Jurgen Thorwald. Wen sie verderben wollen. Steingrüben-Verlag, Stuttgart.

George Fischer. Soviet Oppossition to Stalin. A case study in World War II. Harvard University Press.

ными собственную армию. Совсем иначе обстояло дело в последней войне и в особенности, поскольку она была войной между Германией и Советским Союзом. Германия не только в огромных размерах использовала рабочую силу как военнопленных, так и населения оккупированных областей. Но значительная часть советских пленных, кроме того, была принята добровольцами в Германскую армию и не только для тыловой или прифронтовой вспомогательной службы, но и для прямого участия в боевых действиях. В той или иной форме сотни тысяч советских военнопленных активно участвовали в войне на стороне Германии. Но эта активность военнопленных была уже, так сказать, второй и в известном смысле производной стадией их судьбы. Первой стадией был самый процесс взятия немцами в плен миллионов советских бойцов. Торвальд в своей книге этого процесса не касается, но Фишер, методологически совершенно правильно, начинает свое исследование с попыток объяснить длинный ряд поражений советской армии, приведших в первые месяцы войны к потере колоссального числа пленными.

Фишер считает неудовлетворительными, в лучшем случае лишь частичными и во всяком случае недостаточными различные, дававшиеся до него, объяснения. Он не считает достаточным объяснение начальных поражений ни чисто военным фактором внезапности нападения, ни политическим фактором наличности в советской армии оппозиции к сталинскому режиму. С этим можно было бы согласиться, если бы Фишер, в противовес различным «монистическим» теориям, настаивал на множественности факторов, в разной степени влиявших на ход событий. Но сам он, наоборот, выдвигает крайне монистическую теорию, думая, что он открыл в *инертности* советских людей основной решающий фактор, имеющий, по его мнению, «центральное» значение для объяснения советской реакции на германское вторжение. Инертность в том смысле, как о ней говорит Фишер, выражается в том, что способность человека к собственной инициативе сведена к минимуму. Она характерна для советских людей, которых десятилетия советского тоталитаризма сделали в высшей степени зависимыми в каждом их действии от непрерывных и обычно очень детальных предписаний свыше. Внезапность нападения сыграла свою роль тем, что она временно прервала это постоянное руководство свыше, результатом чего вследствие инертности армии явился «неописуемый» хаос, а вслед за неизбежными при таком хаосе поражениями возникло всеобщее убеждение в неизбежности германской победы. Дальнейшим следствием было взятие немцами

миллионов пленных. Чисто военный фактор действовал таким образом лишь как начальный толчок. И полный поворот произошел без влияния каких-либо новых военных или политических факторов тогда, когда верховной власти удалось снова получить в свои руки контроль над бюрократией и всем населением. «Таким образом, — заключает Фишер, — в 1941 году *решающим* фактором в поведении советского *большинства* были не политические убеждения — за или против Сталина — ни даже объективные военные факторы. На самом деле это была инертность».

Надо думать, что правильность этой теории представляется Фишеру самоочевидной. Он не доказывает, а утверждает, приводя для ее обоснования всего лишь то соображение, что хаос не мог бы возникнуть так быстро и быть таким абсолютным, если бы дело было только в военных факторах или подобная ситуация создалась бы в нетоталитарной стране, не знающей такой же массовой инертности. Но подобная ситуация уже имела место весной 1940 г. на Западном фронте, где во многих местах в нетоталитарных Голландии, Бельгии и Франции хаос возникал быстро и был достаточно абсолютным. Кстати, Фишер ошибается, считая, что германское вторжение в Россию было первой большой операцией такого рода, направленной против индустриальной страны. Такой же операцией было и германское наступление на Западном фронте, где неожиданность имела не меньшее значение, о чем еще придется говорить. Во всяком случае приведенное автором соображение само по себе силы доказательства не имеет, и его теория нуждается в проверке посредством сопоставления с тем, что происходило в действительности.

Я оставляю в стороне вопрос, в какой мере инертность доминирует над психологией советского человека, для определенного ответа на который у меня достаточных данных нет. В данной связи существенно, можно ли объяснять инертностью то, что хочет ею объяснить Фишер, т. е. события первого периода германо-советской войны. Против этого прежде всего говорит тот факт, что реакция советской армии на внезапное вторжение отнюдь не была однородной, чего следовало бы ожидать, если бы она определялась одним основным фактором. Теоретически можно, конечно, предположить, что один и тот же фактор в различных условиях производил различное действие, но в таком случае необходимо было бы, во-первых, установить и объяснить различие условий, а, во-вторых, показать, почему данный фактор в различных случаях оказал то или

иное действие. Этого у Фишера нет, и из того, как он излагает свою «теорию инертности», следует заключить, что он построил ее на постулате однородности реакций.

Фишер разделяет с некоторыми другими авторами ту ошибку, что он рассматривает одну сторону событий — колоссальное количество пленных, — не связывая ее со сколько-нибудь конкретным представлением о том, как в тот период в действительности развивались военные события. Похоже на то, что у него такого представления и не было. Показательно уже то, что он приводит статистические данные о количестве советских военнопленных лишь в самом суммарном виде: 2.053.000 взятых немцами в больших операциях до 1-го ноября 1941 г. и 3.600.000, как общее число к 1-му марта 1942 года. Прежде всего очевидно, что лишь незначительная часть общего числа приходится на период после конца германского наступления, т. е. начала декабря 1941 года. С 1-го января по 20 февраля 1942 г. немцы взяли в плен только 56.806. Можно считать поэтому, что в первые пять месяцев войны немцы взяли в плен не менее трех с половиной миллионов пленных, в том числе по цитируемому Фишером источнику 2.053.000, а по известным мне данным 2.159.000 в шести более значительных окружениях («котлах»), а стало-быть более миллиона или в мелких окружениях или в боях без окружения. Число пленных, взятых в более значительных окружениях, распределялось следующим образом:

29 июня — 10 июля Белостокско-Минский котел	342.000
16 июля (конец операции) около Смоленска	300.000
5-8 августа Уманское окружение	103.000
10-20 августа Гомельское окружение	84.000
24 сентября (конец операции) Киевский котел	665.000
2-18 октября Брянско-Вяземский котел	665.000

Уже с первого взгляда видно, что по количеству попавших в плен самое крупное поражение советской армии имело место не в первое время, когда действовала внезапность нападения, а в сентябре и в октябре, когда после проведения общей мобилизации на фронт было направлено не меньше а вероятно больше двухсот новых дивизий и когда не было никаких оснований для «прорыва» в руководстве свыше. Но приведенные данные заслуживают более внимательного рассмотрения, для чего сначала надо вспомнить, какова была группировка сил воюющих сторон. Германская армия была разделена на три «группы армий» — северную, наступавшую через балтийские страны с главным направлением на Ленинград, центральную (к северу

от Припятских болот) с основным направлением Смоленск-Москва и южную (к югу от Припятских болот), объектами наступления которой были Киев-Харьков, Донецкий Бассейн-Ростов с ответвлениями на Одессу и Крым. На советской стороне этим группам соответствовали три фронта: Северо-Западный (Ворошилов), Западный (Тимошенко) и Юго-Западный (Буденный). Мы видим теперь, что из шести более крупных окружений четыре имели место в центральной части фронта, два в южной, а в северной не было ни одного. Кроме того, центральная группа немецких армий начала кампанию с выполнения больших окружений, тогда как на южной части фронта первое окружение, при том гораздо менее значительное, имело место лишь в августе, а действительно грандиозное окружение было осуществлено немцами в сентябре. Эта картина все еще не достаточно конкретна, но она по крайней мере показывает, что действие внезапности не было однородным на различных участках фронта. К этому можно добавить еще некоторые данные, приводимые в различных публикациях: центральная немецкая группа еще до образования Белостокско-Минского котла, т. е. уже в первую неделю войны взяла 400.000 пленных; южная группа взяла 225.000 до начала Уманской операции, т. е. за шесть недель, а две армии, входившие в северную группу, до конца года взяли всего 200-220.000.

Германское нападение было всюду *внезапным,* но не на всех участках фронта оно было одинаково *неожиданным* — в том смысле, как понятие неожиданности применяется в военной теории. Внезапность только одна из форм военной неожиданности, которая может также быть стратегической, тактической, технической. В Первой мировой войне изобретение и применение союзниками танков было для германской армии технической неожиданностью. В 1940 г. на Западном фронте огромную роль сыграли удавшиеся немцам неожиданности тактические: новый метод комбинированных действий воздушных и наземных сил (авиация, артиллерия и танки), и стратегические: продвижение мощной танковой армии через Арденскую область, покрытую лесом гористую местность, которая считалась недоступной для танков и поэтому была оставлена без достаточной обороны. Выход танковых войск глубоко в тыл неприятеля, совершенно неподготовленного к такого рода нападениям, был главным фактором, дезорганизовавшим фронт и вызвавшим хаос безо всякого участия «инертности».

Готовясь к нападению на Россию, германское командование не расчитывало на стратегическую неожиданность, так как

оно было убеждено, что советское командование тщательно изучило опыт кампаний в Польше и на Западном фронте и выработало методы отпора операциям обнаружившегося там характера. Не могло оно расчитывать и на численное превосходство; в пехоте вначале могло еще быть приблизительное равенство, но в танках и авиации с самого начала на советской стороне было огромное численное превосходство. Сталин сказал Harry Hopkins'у, что советская армия имела в момент начала войны 24.000 танков, а германская будто бы 30.000. Последняя цифра является фантастическим преувеличением. Гудериан в своих воспоминаниях пишет, что общее количество танков на германской стороне было около 3.200. Согласно другому танковому специалисту, генералу Тома, в действие были введены 2.434 танка; имевшиеся помимо них наиболее легкие танки, прозванные «сардиночными жестянками», были уже признаны совершенно непригодными. Немцы полагались на несомненно очень значительное превосходство их стратегии и тактики, на свой боевой опыт и на внезапность нападения, в особенности на психологическое действие первых сокрушительных ударов. Этот расчет оказался в большой мере правильным, но не в одинаковой степени на разных участках фронта и в общем не в такой степени, как на то надеялось германское командование. Советская армия потерпела очень тяжелые поражения, но все же не такие каких ожидало германское командование, и ее сопротивление было сломлено лишь частично. В этом и надо искать объяснения тому противоречию, которого я уже касался в статье «Как открыть Россию»[2] — противоречию между высокой оценкой советского сопротивления германскими генералами и совершенно бесспорными данными о добровольной сдаче в плен множества советских солдат и офицеров (включая даже политических комиссаров).

Чем конкретнее представление о развитии военных операций в первые месяцы войны, тем больше можно найти данных, подтверждающих любую теорию, и тем более становится очевидным, что советские поражения с миллионами попавших в плен никак не могут быть объяснены какой-либо одной теорией. Как мы видели, до августа большие окружения имели место только на центральном фронте, где за это время немцы взяли не менее миллиона пленных и только в двух больших «котлах» разрушили или захватили — в Белостокско-Минском 3.332 и в Смоленском 3.205 советских танков. Ни на северном, ни на

[2] См. книгу 27-ую «Нового Журнала».

южном фронте подобного разгрома еще не было, и ничего загадочного в этом нет. На центральном фронте с немецкой стороны действовали две танковые армии, одной из которых командовал самый выдающийся танковый генерал Гудериан, осуществлявший необычайно смелые маневры. Советское же командование, вопреки немецким предположениям, оказалось неспособным учесть опыт предыдущих кампаний. На центральном фронте большие силы были сосредоточены у самой границы и сразу стали благодарным объектом внезапного нападения, в частности поэтому так много танков и погибло в самом начале. На южном фронте, правда, были сосредоточены вблизи границы еще более значительные силы. Но тут, во-первых, не было приблизительного равенства (или даже небольшого немецкого превосходства) пехоты, как на центральном фронте, а 30-ти немецким пехотным дивизиям противостояли 50 советских, подкрепленных очень сильной кавалерией. Во-вторых, немцы имели только одну танковую армию — 5 танковых дивизий, а не 9, как на центральном фронте, и командовал ими генерал Клейст, не разделявший смелых идей Гудериана и применявший танки с гораздо большей осторожностью. На значительной части южного фронта немцы наступали вообще совсем без танков и без авиации. На северном же фронте значительных окружений не могло быть уже потому, что границы защищались лишь небольшими силами, а главные советские силы были значительно дальше. Вероятной причиной такого расположения войск было нежелание держать большое количество войск в недавно присоединенных и недостаточно надежных балтийских странах.

Именно на центральном фронте огромные силы германских ударов и в особенности глубокие (на сотни километров) прорывы танковых войск вызвали наибольшее расстройство в рядах застигнутых врасплох советских армий. Однако хаос, несомненно возникавший в этих условиях, не был ни повсеместным, ни «абсолютным». Реакция была очень различной и у различных частей, и у бойцов в пределах одной и той же части. Были части и отдельные солдаты, которые к великому изумлению немцев в совершенно безнадежном положении буквально «стояли на смерть» и до конца, т. е. пока не были убиты, оборонялись чем попало. Другие яростно атаковали изнутри отдельные пункты образовавшегося окружения. Третьи прорывались из окружения к «своим». Четвертые в панике разбегались куда глаза глядят. Пятые уходили в леса, чтобы образовать партизанские отряды. Шестые переодевались в штатское платье

и старались спрятаться и от своих и от чужих. Седьмые пассивно сдавались в плен. Восьмые становились активными дезертирами и перебегали к неприятелю. Я никак не могу понять, каким образом одна основная причина, каковой будто бы была «инертность», могла вызвать такие разнообразные и во многих случаях прямо противоположные следствия. А затем, после двухмесячного периода стабилизации, когда, по теории Фишера, должна была восстановиться цепь приказаний свыше, в октябре на центральном фронте опять произошла огромная Брянско-Вяземская катастрофа. А на южном фронте киевская катастрофа имела место в сентябре, т. е. больше чем через два с половиной месяца после внезапного нападения и при том в значительной мере по прямой вине Сталина, запретившего во-время отвести назад армии, которым угрожало окружение.

Я не вижу и того, как можно объяснить инертностью поворот (или повороты) в ходе военных действий. На центральном фронте положение стабилизировалось в начале августа, когда с советской стороны оборона была усилена миллионами мобилизованных, а германские войска после шести недель непрерывных боев и переходов физически и материально не были в состоянии продолжать операции с той же энергией. В августе германским командованием были зарегистрированы уже 340 советских дивизий (считая, конечно, и те, которые были выведены из строя с начала военных действий). Это вполне согласуется с данными, которые Сталин 31-го июля сообщил Harry Hopkins'у. По словам Сталина на фронте тогда было 240 дивизий. Так как из строя был выведен эквивалент по меньшей мере ста дивизий, то немецкий подсчет этим вполне подтверждается. И это значит, что не одновременно, но на протяжении первых полутора месяца с советской стороны участвовало в военных действиях не менее пяти миллионов человек. Нет возможности установить, сколько из них сражались с величайшим упорством, сколько только механически выполняли свои функции и сколько не хотели сражаться и при первой возможности сдавались в плен. Людей было достаточно для того, чтобы и то, и другое, и третье имело место в больших размерах.

В своей истории войны генерал Типпельскирх несколько раз отмечает неожиданное для немцев упорство сопротивления советских войск. Но, подводя итоги всему опыту до весны 1942 г., он делает некоторые ограничения. Во-первых, он определенно говорит о надежности *великорусских* масс. Но и эти массы не были безусловно устойчивыми в критических положениях, что обнаруживалось в увеличении числа *перебежчиков*

при каждом неблагоприятном обороте операций. Я нигде не видел немецкой статистики перебежчиков, отдельной от статистики общего числа военнопленных. Но такая статистика наверное существует. В литературе я все же нашел указание, что в июле 1941, во время белостокской операции, помимо взятых в плен было около 20.000 перебежчиков. Этот пункт представляет для нас особый интерес, так как германские генералы, поддерживавшие власовскую акцию, в особенности надеялись, что она приведет к увеличению числа перебежчиков.

То, в каком настроении значительное количество советских бойцов попадали в плен, не могло не оказать влияние и на их поведение в плену. И здесь картина была настолько сложной, что одной краской ее написать никак нельзя. Обе названные книги дают большой материал для выяснения этой картины. То, что в книге Фишера рассказано об истории власовского движения, включая описание различных течений на немецкой стороне, очень ценно и нисколько не зависит от того, правильна или нет его теория инертности. А в книге Торвальда многое представляет совершенно исключительный интерес. Относительно нее надо, однако, сделать существенную оговорку. В отличие от Фишера, который писал свою книгу, стараясь — и в ее исторической части успешно — удовлетворить требованиям научной работы, Торвальд избрал гораздо более вольную, почти беллетристическую форму изложения. Кроме печатного материала он использовал несколько неопубликованных документов и огромное количество рукописей, которые можно охарактеризовать как свидетельские показания — или написанные самими «свидетелями», или стенографические записи их рассказов. В распоряжении Торвальда таких рукописей имелось 231 от 63 лиц. Но в большинстве случаев Торвальд не цитирует своего материала с указанием источника, а вплетает эти свидетельские показания в живой и драматический рассказ, иногда приводя их буквально, а чаще в более или менее вольной передаче. В большинстве случаев можно установить, каким именно источником автор пользовался в данном месте, но иногда остается неясным, на чем основано то или иное сообщение или утверждение автора. Торвальд предполагает, когда будет иметь к тому финансовую возможность, издать отдельным томом подлинный текст своих источников, что, конечно, будет очень ценно. Все же и теперь из книги Торвальда при достаточно критическом отборе можно извлечь очень много вполне надежных данных.

Немецкого автора первоначально интересовала немецкая

сторона дела: печальная история Власова, как упущенная Гитлером возможность. Он написал о Власове главу в другой своей книге и сначала думал этим ограничиться. Но знакомство с более обширным материалом произвело на него чрезвычайно сильное впечатление и власовское движение получило для него значение большой человеческой драмы. Он увидал «неслыханное, таинственное, драматическое и для всех его участников трагическое развитие, в котором Власов был лишь одним лицом из многих, и его судьба — одной среди многих других». Внимание автора сосредоточилось на *человеческой* стороне событий, на личных переживаниях, на глубоких драмах всех участников — и русских и немцев. Этим, вероятно, и объясняется выбранная Торвальдом форма изложения: он чувствовал потребность не просто рассказать о событиях, но показать живых людей в их стремлениях, страстях, сомнениях, колебаниях, надеждах и разочарованиях, ликовании и отчаянии. Личная драма Власова — «одна из многих» — оказалась в центре всего рассказа, который местами достигает потрясающей силы, напр., когда измученный компромиссами, уступками, которые он делал под давлением своих немецких друзей, Власов кричит одному из них: «Что я такое? Что вы из меня сделали?»

Немец Торвальд почувствовал эту человеческую сторону гораздо лучше, чем большинство писавших о Власове русских авторов, из которых одни превращали живого человека в легендарную фигуру, а другие почему-то считали себя вправе третировать его с пренебрежением и моральным негодованием. Необремененный соображениями и предубеждениями русской эмигрантской политики, Торвальд тем лучше мог понять историческую — да и политическую — значительность происходившего в среде советских военнопленных. Как он отмечает, «не менее восьмисот тысяч советских граждан входили в боевые организации, целью которых была борьба против советского государства», и это движение «имело шанс стать движением миллионов», если бы тому не помешала немецкая политика. От такого явления нельзя отмахнуться, как от «трюка немецкой пропаганды».

Власовское движение не было началом. Готовность многих военнопленных сражаться на немецкой стороне проявилась значительно раньше и без всякого участия немецкой пропаганды. Инициатива, без сомнения, исходила от самих военнопленных. Иначе и быть не могло. Немцы никогда не решились бы вооружать военнопленных, если бы не были убеждены в искренности их желания сражаться против советской армии. Как пишет

Фишер, «с первых дней конфликта тысячи бывших советских солдат предложили служить в германской армии», что, кстати сказать, никак уж нельзя объяснить их инертностью. Что же толкало советских пленных на такой шаг? Фишер считает, что это следует *отчасти* приписать «подлинным антисталинским убеждениям», но в еще большей степени тому, что это представлялось единственной возможностью выжить. В самом начале пленные не могли знать, что их ожидает в немецком плену, но позднее стремление выбраться из лагерей несомненно играло большую роль. Это однако совершенно не исключает того, что одновременно действовали и другие мотивы. Пленные освобождались из лагерей также и даже главным образом для тыловой службы и различных вспомогательных работ. Казалось бы, это должно было считаться наилучшим решением: избавиться от ужаса лагерной жизни и в то же время не рисковать жизнью на фронте. Но многие хотели именно на фронт, в боевые части. Они хотели сражаться и сражаться именно против советской власти. В книге Торвальда очень интересно описание того, какое волнение среди находившихся в боевых отрядах пленных вызвал отданный Гитлером в сентябре 1943 года приказ перевести эти отряды на западный фронт. Дело почти что дошло до бунтов, для предотвращения которых понадобилось вмешательство Власова.

Конечно, не у всех пленных-добровольцев были одни и те же побуждения, да и в отдельных случаях решение далеко не всегда определялось каким-либо одним мотивом. Во всяком случае то, что Фишер называет «антисталинскими убеждениями», играло очень большую роль. Нет оснований думать, что эти убеждения появились только в плену, и сомневаться в правильности показаний, что ими же во многих случаях мотивировалась и сдача в плен. Это уже несомненно верно для перебежчиков, которые ярко демонстрировали свое нежелание сражаться за советский режим. Пропаганда, призывавшая советских солдат перебегать, чтобы вступать во власовскую армию, имела значительный успех даже после того, как война приняла победоносный для советской стороны характер. В источниках Торвальда успехи этой пропаганды отмечаются в ноябре 1943 и даже летом 1944 года. Из этого, конечно, не следует, что действие такой пропаганды было однородным. Враждебное отношение к «власовцам», как к изменникам, было в советской армии, вероятно преобладающим, как по известным мне данным преобладает оно и у послевоенных перебежчиков. Многие из тех, кто ненавидели «изменников-власовцев», сами

ненавидели также и Сталина и весь советский режим, и сражались они не за Сталина, не за коммунистическую диктатуру и уже, конечно, не за НКВД. Советский режим привел к тому трагическому парадоксу, что во время войны советские граждане, которые сражались за родину, имелись на обеих противоположных сторонах фронта.

Фишер прав, когда он замечает, что «власовской идеологии», т. е. идеологии объединявшей движение, не существовало (87 стр.). Я бы на его месте ее и не искал. Ей неоткуда было взяться у свежих выходцев из Советского Союза. Ни там, ни в гитлеровской Германии, где они очутились, не было самых элементарных условий необходимых для выработки положительной, идущей дальше отрицания, идеологии. Та программа занятий в Дабендорфе, которую Фишер напечатал в своей книге, явным образом не могла быть составлена людьми, выросшими в Советском Союзе. Уже ее фразеология выдает, что она была написана или немецкими нацистами или старыми эмигрантами, писавшими по нацистским образцам. Как отмечает Фишер в другом месте (69 стр.) в политической активности в Дабендорфе доминировали солидаристы.

Но отсутствие идеологии, понятие которой уже предполагает известную степень систематизации, не обязательно означает отсутствие *идеи.* Власовское движение не имело идеологии, но оно не было безидейным. Идея его выразилась уже в том, что оно было *власовским,* т. е. связанным с именем выдающегося русского генерала. Фактически армии, возглавляемой Власовым, не было; она только стала возникать в самом конце войны. В этом смысле Российская Освободительная Армия была «фантомом». Но она была субъективно реальностью для сотен тысяч в отдельных отрядах и командах, считавших себя принадлежащими к русской армии, сражавшейся в союзе с Германией. Фигура Власова имела неизмерно большую притягательную силу, чем, например, фирма Российской Национал-Социалистической Партии. успех которой был очень небольшим, несмотря на официальное немецкое покровительство. Мы видели, что добровольцы из военнопленных хотели сражаться, но они тоже хотели сражаться под *своим* командованием, и по крайней мере считавшие себя русскими (не только великороссы) хотели быть под русским генералом. Это с самого начала поняли немцы, которые поддерживали такого рода движение. Они искали именно русского генерала, достаточно значительного, чтобы стать признанной *национальной* фигурой. Как один из них формулировал, они искали *русского де Голля!* И они приветствовали

Власова именно как такового, как об этом можно прочесть у Торвальда. Другими словами, они хотели вызвать к жизни движение убежденное, что оно выполняет освободительную национальную задачу, чтобы это были не наемники, а люди, которые именно сражаются за родину. Такова и была идея власовского движения — по крайней мере для очень многих его участников, что не исключало того, что в нем были и простые наемники — «шкурники» или авантюристы. Власовское движение не состояло из ангелов, как не состояла из них и сражавшаяся до победного конца советская армия.

У Фишера и в особенности у Торвальда можно много узнать о самом Власове и его идеях. Но в обеих книгах имеются пробелы, один из которых является особенно существенным и даже непонятным. Мы не узнаём, как «дело Власова» началось, а между тем установить это возможно. Главная беда, конечно, в том, что относящиеся к этому документы всё еще находятся в числе неподлежащих опубликованию. Но эта тайна не является непроницаемой уже потому, что имеются живые и абсолютно надежные свидетели, в том числе и авторы некоторых из этих документов. Почему-то ни Фишер, ни Торвальд не заинтересовались вопросом, по чьей инициативе Власов был привлечен к движению, получившему от него свое имя.

Фишер упоминает, что германский дипломат Hilger впервые встретил Власова 7-го августа 1942 года, но не объясняет что же было поводом к этой встрече. Hilger, который родился в Москве от немецких родителей и в общей сложности провел 47 лет своей жизни в России, где он до момента начала войны был советником германского посольства, «встретился» с Власовым, конечно, далеко не случайно. Власов находился в лагере военнопленных около Винницы. После пребывания в плену в течение нескольких недель (сколько именно все еще не установлено) он вместе с находившимися в том же лагере полковником Боярским подал немецкой администрации заявление, в котором уже была предложена идея русской освободительной армии из военнопленных. Власов и Боярский предлагали свое сотрудничество. Так как Власов и в глазах немцев был очень значительной военной фигурой — наиболее значительной из взятых в плен генералов, — то его заявление вызвало исключительный интерес, в особенности у имевшихся в Виннице сторонников привлечения пленных к сотрудничеству. У них и возникла идея пригласить для разговора с Власовым и Боярским Hilger'а, как выдающегося знатока России.

Власов написал свое заявление, когда у него уже была

вполне созревшая концепция, которую он развивал и в своих первых разговорах с немцами. Этой концепции он остался верен и в своих более поздних выступлениях. Высказанное некоторыми авторами предположение, что Власов воспринял идеи своих советников, совершенно не соответствует действительности. *Основное* принадлежало самому Власову, и я постараюсь здесь показать это основное возможно отчетливее. Прежде всего нельзя согласиться с теми авторами, которые считают позицию Власова пораженческой. Власов не был пораженцем ни в том смысле, что он хотел поражения своей страны, ни в том, что он считал поражение неизбежным. Его исходным пунктом было, наоборот, убеждение, что Германия Россию победить не может. Он постоянно это повторял, что приводило в ярость нацистов, в частности Гиммлера. Власов говорил своим собеседникам, что он достаточно хорошо знает Сталина, и знает, что Сталин не сдастся никогда. Сталин будет продолжать войну, даже если ему придется отступить за Урал, и он будет в состоянии ее продолжать, потому что за Урал уже перенесено достаточно предприятий военной промышленности. Судьба Сталина и его режима зависит не от военных поражений, а от населения Союза. Власов рассказывал о своем последнем разговоре со Сталиным, когда тот назначил его командовать 2-й ударной армией (попавшей потом по вине Сталина в окружение). Власов запомнил замечание Сталина, что в этой войне победит тот, кто дольше будет иметь за собой *массы*. Власов знал, что советские массы в большинстве следуют за Сталиным не из любви к нему и не из преданности советскому строю, а несмотря на свое враждебное к нему отношение. Не знаю, употреблял ли сам Власов это выражение, но его идея, без сомнения, была отнять у Сталина массы. Он высказывал убеждение, что даже сравнительно небольшая армия из военнопленных под русским командованием чрезвычайно быстро пополнится перебежчиками по меньшей мере до двух миллионов, но только если будут достаточные гарантии, в реальности которых можно будет убедить советских людей, что эта армия действительно несет освобождение, а не замену одного порабощения другим. В более откровенных разговорах Власов не скрывал своей уверенности, что в случае образования такой армии немцы не станут хозяевами страны, так как они, наоборот, сами будут зависеть от этой армии. Немцам он обещал, что таким путем они избегнут поражения и получат выгодный для обеих сторон мир. Чтобы не отпугивать их, он говорил о возможности различных компромиссных решений, но это было с его стороны

только способом добиться своей цели, что пользовавшиеся его доверием антигитлеровски настроенные немцы отлично знали. По некоторым рассказам будто бы даже существовала идея воспользоваться власовцами для свержения Гитлера, но сколько-нибудь солидного подтверждения этой версии я до сих пор не нашел. Но Гитлер и его окружение такой армии определенно боялись. Выражая мнение Гитлера генераль Иодль привел генералу Кёстрингу немецкую пословицу: «только самые глупые телята выбирают своих мясников».

Сталинградская катастрофа германской армии могла только укрепить убеждение Власова в невозможности германской победы. Но тот факт, что он не боялся высказывать это убеждение в августе 1942 г., сам по себе очень интересен. Скорее можно было бы ожидать, что став жертвой сталинской стратегии и видя уничтожение находившейся под его командованием армии Власов должен был бы оценивать шансы советского сопротивления гораздо более пессимистически. Лето 1942 года опять было временем больших немецких побед. Число взятых в плен было опять очень велико. В то самое время, когда Власов писал свое заявление, произошла паническая сдача Ростова на Дону на другой день после которой Сталин издал свой знаменитый приказ от 28-го июля — «ни шагу назад», — сопровождаемый инструкцией, вводившей штрафные батальоны. В своем тосте за русский народ в мае 1945 г. Сталин говорил, что «были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах», т. е. не только в 1941, но и в 1942 г. А в своей речи в ноябре 1943 г. он говорил еще определеннее: «В октябре 1941 года наша Родина переживала трудные дни... К октябрю 1942 года опасность для нашей Родины еще более возросла». Власов оценивал положение иначе, если не предположить, что он, сам тому не веря, хотел убедить немцев, что они не могут победить без его помощи. Но из того, что мне известно не видно ничего, что говорило бы в пользу этого преположения, и всё наоборот подкрепляет впечатление искренности Власова в этом вопросе. Сталинград подтвердил его оценку положения и усилил у поддерживавших его немцев надежду на то, что Гитлер наконец сам убедится в необходимости изменить свою политику по отношению к добровольческому движению пленных. В конце концов это произошло, но только когда было уже слишком поздно.

Фишер дает очень ясную характеристику различных существовавших на немецкой стороне течений, а изображение борьбы этих течений у Торвальда читается с захватывающим

интересом. Здесь я на этом останавливаться уже не могу, как не могу передавать и все перипетии личной драмы Власова, как ни существенна она для оценки искренности его стремлений. Сколько бы сам Власов не делал вынужденных оговорок, нет никакого сомнения, что его целью была освобождённая от коммунистической диктатуры и совершенно независимая Россия. Он, может быть, и не имел ясного представления о том, каким конкретно должно быть государственное устройство освобожденной страны. Но он, без сомнения, считал необходимым «возвращение народам России прав, завоеванных ими в народной революции 1917 года», как это было формулировано в Пражском манифесте и как сам Власов высказывался в различных разговорах. На основании известного мне материала у меня создалось впечатление, что к народной революции 1917 года Власов относил и октябрь, но только весьма условно. Он очень критически относился к Временному правительству, считая, что оно было не в состоянии сохранить завоевания революции. Поэтому новая революция была законна по своим заданиям, т. е. по тому, что большевики обещали, но не потому, как большевики обманув народ, использовали свою победу. Переходя от взглядов Власова к идее — но не «идеологии» — движения, можно считать, что как более или менее общий минимум она включала неоформленные демократические чаяния, какое-то представление о возвращении народу отнятых у него прав и ни в коем случае не реставрацию дореволюционного порядка. Как курьёз, можно отметить, что уже после пражского совещания, состоявшегося 14 ноября 1944 г., Краснов яростно атаковал Власова, обвиняя его в том, что он намерен снова отдать Россию «во власть жидам»!

Я не претендую на то, что мои замечания являются последним словом о власовском движении. Работа собрания и изучения фактов еще далеко не закончена. Всё еще приходится ждать, когда станут доступными захваченные в Германии документы. Но книги Фишера и — еще в большей степени — Торвальда должны по крайней мере установить известные границы, в пределах которых допустимы суждения о власовском движении. Они во всяком случае показывают, что нельзя слишком просто рассуждать о том, что на самом деле было очень сложно. А книга Торвальда дает очень ясно почувствовать, что «движение» не было какой-то пущенной в ход машиной, а было совокупностью живых людей с различными мотивами действий, с внутренними конфликтами, с часто противоречивыми переживаниями. И многие из них должны были не только принять, но и выстрадать

очень трудные решения. Тем из нас, кто были в то время по другую сторону театра военных действий, очень трудно точно представить себе рассудочные и эмоциональные процессы, которые приводили к тому или другому решению. Нам было много легче. Для жившей в западных странах демократической эмиграции основной вопрос был без малейшего труда решен еще до начала войны 1939 года. Она, конечно, была на стороне западных демократий против гитлеровской Германии. Нападение Гитлера на Россию не было основанием для того, чтобы изменить это решение. Победа Гитлера оставалась самой страшной перспективой, так как она означала бы конец демократии в Европе по крайней мере на очень долгое время и жестокое порабощение всего континента, а в дальнейшем, может быть, и торжество тиранического варварства во всем мире. Люди, только что выбравшиеся из советского варварства хотя бы в гитлеровскую Германию, не могли иметь то же представление о перспективах будущего. То, что они — по крайней мере многие из них — пережили, было хуже всего, что мы могли вообразить; изменение условий жизни в своей стране было для них главной заботой. Для некоторых, может быть, Гитлер был лучше, чем Сталин. Власовское движение не хотело ни Сталина, ни Гитлера. Когда я стараюсь представить себя на их месте, я думаю, что по всей вероятности я был бы с Власовым — в особенности, если бы, как и он, считал победу Гитлера невозможной. Но с уверенностью я утверждать этого не могу. Тем, кто не оказался в этом положении, остается благодарить судьбу, но только не за то, что мы не похожи на тех несчастных мытарей.

Ю. Денике

В ЗАЩИТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

(По поводу книги Б. П. Вышеславцева)

«Кризис индустриальной культуры». Таково заглавие книги проф. Б. П. Вышеславцева. Индустриальная культура, о которой идет в ней речь, это наша культура, западная, или еврамериканская культура, в современной стадии ее развития, отличающейся от предыдущих господством промышленности.

Когда в наши дни говорят о кризисе этой культуры, включающей в себя и русскую культуру, то имеют в виду, прежде всего, ее распад на две. Ибо культура — это система ценностей — религиозных, моральных, научных, эстетических, социальных, бытовых, технических. Система технических ценностей осталась единой; но во всем остальном произошел трагический раскол, обернувшийся образованием в мире двух вооруженных лагерей, столкновения которых со страхом и трепетом ожидает человечество. Ибо после столкновения может не остаться не только ни одной из столкнувшихся культур, но вообще культуры.

Не так понимает однако кризис Вышеславцев. Трагический раскол ощущается им слабо, так как, по его мнению, та часть мира, в которой еще преобладает частный капитализм, и другая его часть, где господствует государственный капитализм, каким он считает коммунизм, — это родные братья, или два вида того же рода. Кризис нашей культуры заключается в том, что промышленность породила чудовище, имя которому капитализм, чудовище, которое принимает личину то частного, то государственного капитализма.

Что́ же так сближает частный капитализм с коммунизмом, что́ делает их такими опасными и отвратительными? Обе формы капитализма вытесняют творчество в пользу бездушной механической работы и ведут к сосредоточению подлинной власти в руках распорядителей хозяйства, пресловутой технократии; а это прямо или косвенно ведет к гибели политической демократии. Этой последней Вышеславцев посвящает красноречивую главу. Но как-то не замечает он, что хронологически политическая демократия осуществилась и расцвела как раз за промышленную стадию в развитии еврамериканской культуры. Не следует конечно впадать в ошибку и полагать, будто рост промышленности был причиной

развития демократии или, наоборот, рост демократии был причиной развития промышленности. Современные общественные науки смотрят на культуру, как систему, развивающуюся в своей совокупности, без преобладания тех или иных «факторов» — этот термин, столь ходкий 50 лет назад, теперь почти забыт. Но вот какой вывод неизбежен: не так уж страшен и отвратителен капитализм, если он дал развиться, рядом с собой, политической демократии.

И затем, верно ли, что вытеснение творчества работой надо поставить на счет индустриализации или капитализма? Думается, что нет. Поводов к творчеству, даже скромному, у рядового человека до-промышленной культуры было вряд ли больше, нежели у массового человека промышленной эпохи. Можно, конечно, вспомнить о ремесленнике конца средних веков и нового (но не новейшего) времени. Он как будто творил, создавая индивидуальные ценности, напр. замысловатые часы или костюм для аристократа, и создавал их с начала до конца, без разделения труда. Но, во-первых, ремесленник был связан по рукам и по ногам гильдейскими распорядками, а потом и придирчивым вниманием меркантильного государства. Во-вторых, большинство ремесленников было занято обыденной, нетворческой работой: сапожник тачал всё те же сапоги, прочные, но неуклюжие, булочник выпекал всё те же булки. В-третьих, ремесленников было немного; огромное большинство населения было занято в сельском хозяйстве, отсталом и подчиненном рутине. Пусть это звучит парадоксом, но именно промышленная культура открыла массовому человеку возможность в какой-то мере приобщаться к творческому уровню культуры, дав ему необходимый для того досуг. Сейчас в Соединенных Штатах общественно-необходимый труд (не в марксистском понимании, конечно) сведен к 40 часам в неделю; в среднем массовый человек занят на производстве несколько больше; но у него остается, за вычетом времени, когда он спит или ест, около 60 часов в неделю, в которые он может, если хочет, приобщаться к высшим культурным ценностям, наслаждаться природой, скажем, за охотой, рыбной ловлей или садоводством, или участвовать, хотя бы в качестве зрителя, в спортивной жизни. Промышленная культура механизировала один сегмент жизни человека, но открыла возможность такого разностороннего развития личности массового человека, о каком еще недавно и не снилось. Открылась перспектива прогресса, как он рисовался русским социологам, в отличие от классических экономистов и Спенсера.

Читатель, вероятно, всё же не убежден. Посмотрим дальше. Сейчас в Азии и Африке просыпаются многомиллионные массы, еще не приобщенные к промышленной культуре. Если они приобщатся к ней в ее вольном, а не коммунистическом или подневольном варианте, то будет ли это значить, что они утратят какие-то творческие возможности, попадут в кабалу бездушной работе, или откажутся от какой-то свободы, подставив свои шеи ярму технократии? Достаточно поставить вопрос, чтобы ответить на него отрицательно. То зло, которое Вышеславцев усматривает в промышленной культуре в обоих ее вариантах, конечно, существует; но это зло стародавнее, на каждой стадии культуры принимающее новые формы. Приписывать его промышленной культуре — исторически неверно.

Но раз зло существует, с ним можно и должно бороться. Пусть неправилен диагноз Вышеславцева; но, кроме диагноза, он предлагает лечение, или способ к преодолению обнаруженного зла. Так как вернуться к до-промышленной культуре нельзя, а оба ее варианта пропитаны злом, пусть в разной мере, то нужно найти какой-то новый путь. Таким путем, по мнению Вышеславцева, является хозяйственная демократия, озаренная идеалом нео-либерализма. Теоретически он обсуждает еще один путь, нео-социализм. На этот путь он зовет социалистов, раскаявшихся в грехах марксизма. Но по существу раскаяние сводится к приятию нео-либерализма, так что этот путь совпадает в основном с предыдущим.

В чем же заключается нео-либеральная хозяйственная демократия? Она, во-первых, предполагает сохранение частного предпринимательства (которое Вышеславцев называет «патронатом»; термин этот, по-русски, означает нечто совершенно отличное). Допускается однако частичная национализация, в случае крайности. Во-вторых, она предполагает сохранение (вернее, восстановление) свободной конкуренции: планирование, вообще управление хозяйством (что Вышеславцев называет «дирижизмом») для него абсолютно неприемлемо. Следуя за австро-английским экономистом Хайеком, он уверен, что стóит начать планировать или управлять, и непременно провалишься в бездну монопольного государственного хозяйства. Он, кажется, не подозревает, что книгу Хайека американская федерация промышленников распространила в десятках тысяч экземпляров, чтобы бороться с ненавистными ей планами Рузвельта, к реформам которого сам Вышеславцев относится с большим сочувствием.

В-третьих, хозяйственная демократия состоит из таких вещей, как разъяснение рабочим смысла и назначения тех «винтиков», на массовое производство которых уходит их время, постановка их в такие условия, в которых они стали бы чувствовать себя предметом заботы и внимания, и предоставление их союзам (не синдикатам, как опять, впадая в галлицизм, пишет Вышеславцев) силы, уравновешивающей силу технократов, как это сейчас имеет место в Соединенных Штатах и в общем имело место в веймарской Германии. С сочувствием цитирует Вышеславцев некоторые идеи Г. Гурвича, которого он склонен почитать нео-либералом, хотя тот, будучи последователем Прудона (которого Вышеславцев тоже готов зачислить в свой лагерь) скорее всего может быть назван анархо-синдикалистом. Хорошо, что Вышеславцев не упоминает о центре тяжести планов Гурвича, создание из хозяйства, преимущественно обобществленного, второй силы, сопряженной с государством лишь в порядке какого-то бессильного арбитража.

Как-то странно, что Вышеславцев прошел мимо некоторых явлений, которые, казалось бы, весьма близки ему по духу. Когда, в 1946 г. во Франции были национализированы электрическая и газовая промышленности, а вслед затем страховое дело, были созданы, в центре и на местах, советы из представителей трех групп: государства, как нового хозяина, рабочих и служащих и наконец потребителей. Так напр. центральный совет электрической промышленности состоит из 6 членов, назначаемых правительством, 6 членов от рабочих и служащих, из коих три представляют высший персонал, один — средний персонал, а двое — рабочих, и шести представителей потребителей, распределенных так: 4 делегируются городскими управлениями, которые, до национализации, имели собственные электрические станции, один промышленностью, потребляющей электрическую энергию и один сельско-хозяйственными кооперативами, также потребляющими эту энергию. В центральном совете газовой промышленности этот последний заменяется представителем «семейных организаций», т. е. домашних потребителей. Местные советы, приданные органам, распределяющим электричество и газ, состоят из 4 представителей правительства, 6 членов от рабочих и служащих и 7 от потребителей. В число задач этих органов входит назначение главных директоров и директоров предприятий.

Сверх того, по указу 22-го февраля 1945 г. в предприятиях, в коих работает свыше 100 человек, а также в неко-

торых других, особо указанных, созданы комитеты из членов, избираемых на три года рабочими и служащими (отдельно каждой из этих категорий); возглавляется комитет предпринимателем или его представителем. Этим комитетам переданы в полное распоряжение подсобные учреждения в роде школ, госпиталей, библиотек; но они также призваны к обсуждению вопросов об улучшении условий труда, предложений об усовершенствовании техники, вопросов о вознаграждении отдельных лиц за особые заслуги и т. д. Наконец, предприниматель обязан периодически представлять комитету отчет о положении предприятия. В сущности, это воспроизведение тех советов при предприятиях, которые были созданы в Германии веймарского периода и возобновление которых сейчас там обсуждается. Повидимому, ни в Германии, ни во Франции из этой затеи ничего не вышло; было бы интересно узнать что-либо о практике, о причинах неудачи. Но всё это вне поля зрения Вышеславцева.

Автор мог бы найти и другой пример промышленной демократии. 26-го июля 1946 г. в Австрии были введены два закона, из коих один национализировал ряд предприятий, по списку, приложенному к самому закону, а другой создал, при тех национализированных предприятиях, которые не составляют «естественной монополии», своеобразные кооперативные товарищества. Часть паев этих товариществ сохраняется за государством; другая передается «землям», из коих состоит Австрия, или городским самоуправлениям; треть распределяется между рабочими и служащими предприятия, прослужившими не менее одного года. Стоимость этих паев должна быть постепенно погашена из той части прибыли (ее Вышеславцев упорно называет «профитом»!), которая будет причитаться по этим паям. Рабочий или служащий, покидающий предприятие, должен вернуть пай, но получает за него вознаграждение, равное уже оплаченной доли пая. При обсуждении законопроекта была высказана мысль, что основная его цель — найти третий путь между капитализмом и социализмом.

Осуществление закона наткнулось на большие препятствия. Главным, конечно, оказалась мертвящая советская оккупация. Но вторым было тяжелое финансовое положение большинства предприятий, в результате «Аншлусса». Бухгалтеры, направленные на предприятия рабочими союзами, во многих случаях доносили, что пассив превышает актив, так что вступление в частичное владение ими было бы для рабочих невыгодной сделкой. Тем не менее и социалисты, и като-

лики (законы были проведены коалицией этих партий) настойчиво советовали рабочим послать своих представителей в органы, созданные новыми законами, чтобы ознакомиться с предприятиями, которые рано или поздно должны частично перейти в их руки.

Наибольший интерес представляет однако западно-германский закон о соучастии рабочих в управлении предприятиями, введенный в апреле 1951 г. Закон этот пока применяется только в угольной и стальной промышленности Рура; но предполагается распространить его на химическую промышленность и транспорт. Закон касается только предприятий, организованных в форме акционерной компании; но таковы все крупные и средние предприятия. Согласно закону, как в совет, так и в правление предприятия (позволяю себе употребить старую русскую терминологию) должны быть введены представители рабочих в числе, равном числу представителей собственников. В частности, правление будет построено так. Рабочие предприятия изберут одного члена, а служащие другого: еще два представителя рабочих и служащих будут избраны из числа рабочих и служащих, не связанных с данным предприятием; эта функция повидимому должна осуществляться рабочими союзами. Эти четыре члена должны избрать пятого. Вместе с пятью членами, представляющими собственников, они должны выбрать одиннадцатого члена правления. На случай, если обе группы не смогут сговориться, закон предвидит сложную процедуру.

Так образованное правление будет выполнять три функции. Во-первых, оно будет определять политику личного состава, т. е. решать вопрос о расширении или сокращении рабочей силы. Во-вторых, оно будет руководить всеми подсобными учреждениями, благотворительными и просветительными. В-третьих, оно будет решать общие вопросы экономической политики, как напр. вопросы о сооружении новых зданий, приобретении нового оборудования, введении новых технических приемов, могущих вызвать сокращение затраты труда, о размерах отчислений в резерв и т. д. Как выяснилось во время обсуждения законопроекта, германские рабочие отнюдь не намерены брать на себя ответственность по текущим техническим и экономическим вопросам; как и их американские товарищи, они полагают, что с этими функциями лучше всего справится «технократия».

Таковы наметки хозяйственной демократии. Поскольку они воистину войдут в жизнь, «массовый человек» будет в какой-то мере приобщен, хотя бы через своих представителей,

к той творческой деятельности, какой является управление хозяйственными предприятиями; вместе с тем, опасность засилья технократии значительно умерится.

Будет ли такой строй нео-либерализмом, в смысле, придаваемом термину Вышеславцевым? В этом позволительно усумниться. Ибо та система хозяйства, частью которой будет промышленная демократия, неизбежно включит в себя частичное планирование или регулирование хозяйства. Даже в Соединенных Штатах при Айзенхауере никто и помыслить не может о том, чтобы отменить сложную систему субсидирования и регулирования сельского хозяйства.

Свободную конкуренцию, за которую так крепко стоит Вышеславцев, никто не «отменял»; но она проявляет тенденцию к самоупразднению. Одним из главных звеньев регулирующей деятельности американского правительства является борьба с частными монополиями, образующимися на рынке в порядке соглашений между частными предприятиями. Получается любопытная картина; хозяйственная свобода, в частности свободная конкуренция, может выжить только в порядке государственного вмешательства.

Причин, побуждающих современное государство вмешиваться, регулировать, планировать — множество, и отменить их из уважения к нео-либерализму никто не сможет. Укажу только на одну, в высшей мере важную причину. Новая экономическая доктрина, идущая от знаменитых трудов Кейнса, утверждает, что главной причиной хозяйственных кризисов является отставание капиталовложений от сбережений. Кризисы, как известно, ведут к массовой безработице, при которой разговоры о хозяйственной демократии поневоле откладываются в долгий ящик. Бороться с основной причиной кризисов повидимому можно только одним путем, а именно планированным перекачиванием средств из частного в общественное хозяйство, в прямой противовес тенденции частного хозяйства. В Америке, в январе 1946 г., создан особый механизм для такого планирования: особые экономические советники при президенте должны докладывать ему о проявляющихся симптомах кризиса и указывать меры, способные его предотвратить. По существу, в этом нет ничего противного принципу хозяйственной демократии; скорее наоборот. Но если это так, то хозяйственная демократия не укладывается в рамки нео-либерализма, уготованные ей Вышеславцевым.

Но почему так бояться планирования? Во-первых, оно вовсе не непременно должно быть государственным, точнее, правительственным или бюрократическим. Для планирования

могут быть созданы органы хозяйственного самоуправления, конечно, под надзором высших органов государства.

И почему так бояться последнего, поскольку оно демократично? В демократии, как правильно говорит Вышеславцев, идущий в данном случае по стопам Петражицкого, власть — социально служебная, а не господствующая; она подзаконна и подконтрольна. Если эта власть позволяет себе планировать, или осуществлять надзор за органами планирования, то в этом нет ничего страшного. Эта власть будет планировать, потому что объективные условия, осознанные общественным мнением, того потребуют; если по этому поводу окажутся разногласия, они будут разрешены в демократическом порядке обсуждения и решения большинством голосов.

Итак, если осуществится какой-то новый строй, включающий в себя и хозяйственную демократию в смысле привлечения рабочих к управлению предприятиями, и частичное планирование и, вероятно, частичное обобществление средств производства, то этот строй не будет нео-либеральным. Будет ли он нео-социалистическим? Будет, если вместе с Вышеславцевым, отождествлять социализм с управляемым хозяйством. Едва ли это однако правильно. Исторически социализм отождествил себя с обобществлением, в принципе полным, средств производства; в этой плоскости десятилетиями велась борьба и шло обсуждение.

Итак, новый строй не будет и нео-социалистическим. Подходящего имени для него нет. Но если и когда он будет, найдется и имя.

Пойдет-ли однако развитие по намеченным выше путям? Этого нам знать не дано, и прежде всего потому, что мы не знаем, как разрешится главный и подлинный кризис нашего времени; рассеются ли грозовые тучи, или ударами тысяч атомных и водородных бомб будут снесены с лица земли самые носители культуры?

Усилия, направленные к благополучному разрешению кризиса, делаются и должны делаться в разных направлениях. Одним из направлений должна быть выработка общественного идеала, способного оттянуть возможно широкие человеческие массы от края коммунистической пропасти, открытием перспективы более полной жизни, нежели та, которая им сейчас доступна. При всех ее недостатках работа проф. Вышеславцева служит этой правильной цели и потому заслуживает полного и всестороннего обсуждения.

Н. С. Тимашев

КОММЕНТАРИИ

1. По поводу книги Б. П. Вышеславцева

Свое общее мнение о книге Б. П. Вышеславцева («Кризис индустриальной культуры») я уже высказал в написанном мною к ней предисловии. Думаю, однако, что это не лишает меня права на участие в посвященной ей нашим журналом дискуссии. Если меня и можно считать «заинтересованной стороной», то лишь в том смысле, что я действительно очень заинтересован в обсуждении поставленных в этой книге проблем. С большим интересом прочел я и рукопись книги Б. П. Вышеславцева, и те критические на нее отзывы, которые появились после ее напечатания — в частности, в «Новом Журнале». В связи с этими отзывами я и хочу высказаться еще раз по поводу книги Б. П. Вышеславцева.

Я не буду касаться вопроса о том, в какой мере правильно истолковал Б. П. Вышеславцев трудовую теорию ценности или теорию прибавочной ценности, так как не чувствую себя в этой области достаточно компетентным. Остановлюсь лишь на более общих проблемах, затронутых в дискуссии, и прежде всего на вопросе о том, имеется ли налицо кризис индустриальной культуры, и если да, то в чем он заключается.

В статье, напечатанной в «Социалистическом Вестнике» (№ 7-8, 1953), Е. Юрьевский слово «кризис» берет в кавычки, тем самым как бы отрицая самое существование обозначаемого им явления. Он обвиняет Б. П. Вышеславцева в излишне мрачном изображении современного капитализма, в «нагромождении ужасов», делающих нарисованную автором книги картину — «кривым зеркалом» действительности. Возражая Б. П. Вышеславцеву, Е. Юрьевский указывает, что развитие индустриализации «сопровождалось ростом свободы, культуры, огромнейшим ростом удовлетворения самых разнообразных потребностей народных масс». В несколько иной — и смягченной — форме тот же упрек Б. П. Вышеславцеву делает и Н. С. Тимашев в статье, напечатанной в настоящей книге «Нового Журнала». Он переносит вопрос на историческую почву, подчеркивает то обстоятельство, что «вытеснение творчества работой» имело

место и до появления индустриальной культуры, и предостерегает против идеализации докапиталистического порядка в различных его фазах.

Прежде всего скажу, как я понимаю основную мысль Б. П. Вышеславцева, которая, на мой взгляд выражена им достаточно ясно, независимо от того, насколько удачны отдельные его формулировки. Во-первых, индустриальная культура не является для него сплошным злом, и он говорит и об ее положительных сторонах. Он признает и то, что в современных условиях «массы в Западной Европе и Америке могут удовлетворять такие потребности и желания, которые раньше считались недоступной роскошью», и то, что «дистанция в различиях жизненного уровня между богатым меньшинством и бедным большинством значительно сократилась». Указывая, что «как раз для широких масс капитализм был особенно благоприятен», он приходит к выводу, что «всё это отчасти уничтожает поэзию прекрасного прошлого», как бы предвосхищая критические замечания Н. С. Тимашева.

Но этим достижениям индустриальной культуры Б. П. Вышеславцев противопоставляет таящуюся в ней опасность «обезличения и обеднения индивидуальности». В сущности именно это он и имеет в виду, когда говорит о «кризисе индустриальной культуры». При этом речь идет не только об индустриализации в тесном, техническом смысле слова, но и обо всей совокупности тех социальных, культурных и политических условий, которые создались в результате технологического прогресса последних ста-ста пятидесяти лет. Можно согласиться с Н. С. Тимашевым, что и в доиндустриальных обществах имело место «вытеснение творчества работой», как несомненно имели в них место и другие проявления «обезличения и обеднения индивидуальности». Но это значит только, что на отдельных стадиях исторического процесса, в разных условиях и в различной форме, возникают всё те же вековечные проблемы. Б. П. Вышеславцев писал о современности и потому сосредоточил своё внимание на том, как они встают перед нами в условиях современной цивилизации. И едва ли можно отрицать правильность его утверждения, что и беспримерная в историческом аспекте быстрота технологического развития и столь же беспримерное расширение сферы его влияния, делают эти проблемы гораздо более острыми, более сложными, а потому потенциально более опасными, чем в какую-либо из предыдущих исторических эпох.

«Кризис культуры» есть сочетание слов, которым сейчас

часто злоупотребляют. Нередки случаи, когда размышления на эту тему приводят к беспочвенному утопизму — не только к той идеализации прошлого, от которой предостерегает Н. С. Тимашев, но и к мечтам о фактическом его восстановлении. На другом полюсе размышления о кризисе принимают более или менее эсхатологический характер: в нем с уверенностью видят «начало конца» — если не мира, то современной цивилизации. Для меня очень ценно, что Б. П. Вышеславцев избежал и той и другой крайности, и я несколько удивлен тем, что ни один из его оппонентов не отметил этого его существенного отличия от многих других критиков «индустриальной культуры». Что это так, доказывает вся заключительная часть его книги, говорящая о необходимости установления хозяйственной демократии. В ней он пытается ответить на вопрос, поставленный им во введении к книге: «как организовать массу, как осуществлять индустриализацию, не уничтожая человеческой свободы и индивидуальной личности, как сочетать дирижизм с правами человека». Это значит, что он не считает проблемы неразрешимой, как она представляется «чающим конца», и не ищет ее решения на путях «нового средневековья», как это делают романтические реставраторы.

Е. Юрьевский и двое из участников нашей дискуссии (М. В. Вишняк и Н. С. Тимашев) критикуют и то утверждение Б. П. Вышеславцева, согласно которому капитализм и коммунизм одинаково *порождены* индустриализмом. Е. Юрьевский воспринимает это, как попытку установить *тождество* индустриализма советского и индустриализма демократических стран: «фабрика с рабским трудом и фабрика со свободным трудом оказываются тождественными»[1]. По мнению Н. С. Тимашева, подчеркивание Б. П. Вышеславцевым сходства между капитализмом и коммунизмом показывает, что «раскол культуры ощущается им слабо». Наконец М. В. Вишняк доказывает, что признание происхождения тоталитаризма от индустриализма в значительной мере умаляет морально-политическую ответственность творцов тоталитарного режима. Должен признаться, что эти возражения не кажутся мне убедительными. О расколе культуры по линии отделяющей демократическую свободу от

[1] Правда, Е. Юрьевский и сам указывает на неоднократные заявления Б. П. Вышеславцева о том, «что на Западе нет ничего подобного тому, что происходит в СССР». Но он видит в этом образец «диалектической игры», в результате которой «нельзя схватить», стоит ли автор за «да» или за «нет».

коммунистической диктатуры, Б. П. Вышеславцев не только говорит во введении к книге, но это разделение явственно лежит в основе всех его рассуждений. С другой стороны, утверждение, что два исторических явления, хотя бы и резко противоположного характера, имеют один и тот же источник, вовсе не означает признания их тождества. Мысль Б. П. Вышеславцева, что капитализм есть «потенциальный коммунизм», а коммунизм — «завершенный капитализм», не так парадоксальна, как она может показаться на первый взгляд. Это нарочито заостренная формула раскрывается в дальнейших рассуждениях автора с достаточной определенностью. С одной стороны, это означает, что в современном индустриализме есть опасные тенденции, которые при известных условиях могут привести к тоталитарной системе; с другой, — что в рамках этой тоталитарной системы индустриализм принимает форму государственного капитализма, концентрирующего в себе худшие стороны последнего. И о том, и о другом можно спорить, но нельзя, по-моему, ни упрекать Б. П. Вышеславцева в неопределенности, ни исходить из предположения, что он хотел сказать больше, чем написано в его книге.

Признаюсь также, что аргументация М. В. Вишняка вызвала во мне некоторое недоумение. Если бы он был прав, то нельзя было бы указывать ни на какие грехи или несовершенства существовавшего до кризиса нашей эпохи социально-политического порядка, не рискуя быть обвиненным в умалении моральной ответственности творцов тоталитарного режима. Критика М. В. Вишняка имела бы некоторую силу только в том случае, если бы Б. П. Вышеславцев стоял на позиции полного исторического детерминизма, но я не нахожу в его книге никаких следов подобного подхода. Поэтому то, что он говорит о связи между индустриализмом и коммунизмом, нисколько не оправдывает Ленина или Сталина — так же как аналогичное указание на историческую приемственность между национализмом девятнадцатого века и нацизмом ни в какой мере не оправдывало бы Гитлера.

Все три участника нашей дискуссии о книге Б. П. Вышеславцева уделили особое внимание вопросу о хозяйственной демократии, сообщив попутно много интересных и полезных данных из истории этой идеи и различных попыток ее частичного осуществления. М. В. Вишняк и Ю. П. Денике настаивали при этом на приоритете социалистов в этой области, придавая ему может быть слишком большое значение. Делаю эту оговорку потому, что какие бы проекты ни разрабатывались и ка-

кие бы практические попытки ни делались в прошлом, воплощение идеи хозяйственной демократии в жизни всё еще стоит на очереди. Здесь надо различать, конечно, между хозяйственной демократией в широком смысле слова, которая может рассматриваться как интегральная часть социалистической программы и хозяйственной демократией в том блее «техническом смысле», в каком употребляет этот термин Б. П. Вышеславцев. Первая может быть осуществлена только в случае установления социалистического строя; вторая — не только не предполагает торжества социализма, но, по крайней мере по мысли некоторых ее сторонников, даже не является подготовительной к нему ступенью, а, наоборот, делает его ненужным, заменяет его в качестве более совершенного или даже единственно целесообразного, решения современных социально-экономических проблем. В пределах спора, вызванного книгой Б. П. Вышеславцева, речь идет именно о хозяйственной демократии в этом последнем, хронологически более непосредственном, смысле.

С этим связан и поднятый Б. П. Вышеславцевым вопрос о взаимоотношениях между нео-социализмом и нео-либерализмом. Здесь, как мне кажется, в нашей дискуссии возник ряд недоразумений, в которых надо разобраться. Ю. П. Денике выражает полную готовность разговаривать с нео-либералами, но остается в недоумении, какой же именно нео-либерализм Б. П. Вышеславцев имеет в виду. Не думаю, чтобы в данном случае точный адрес был так уже важен. Ясно, что речь идет о том течении в современном либерализме, которое, начиная с последних десятилетий прошлого столетия, неуклонно удалялось от классического либерализма «манчестерского» типа, становясь всё более и более «социально окрашенным». Пусть у этого нового либерализма нет еще достаточного организационного оформления; пусть Б. П. Вышеславцев грешит излишним оптимизмом, когда он утверждает, что нео-либералы, в отличие от нео-социалистов, твердо знают, чего они хотят — насчет наличности и значительности самого этого течения сомнений быть не может. В сущности, в таком же положении находится и нео-социализм[2]. И он тоже проходит еще через период ста-

[2] И М. В. Вишняк и Ю. П. Денике, повидимому, не очень одобряют это название в виду вызываемых им неприятных ассоциаций (Марсель Деа и его соратники). Но мало ли хороших слов было осквернено в наши дни разными нечистыми устами, произносившими их напрасно! Достаточное ли это основание, чтобы от них отказываться?

новления; и для сношений с ним тоже не всегда можно указать точный адрес. А вместе с тем, так же как и нео-либерализм, этот новый социализм является уже достаточно определившимся движением, с которым и о котором можно разговаривать.

Но для этого разговора, как и для всякого серьезного разговора надо, конечно, определить предмет и пределы обсуждения. И здесь я должен согласиться с оппонентами Б. П. Вышеславцева, когда они указывают, что его построение не свободно от противоречий. У него можно найти и утверждение, что отказ от тотальной национализации означал бы отказ от социализма (ст. 183), и полемику с врагами социализма, говорящими, что «только это и есть социализм и никакого другого не существует» (стр. 185; отмечу кстати, что Н. С. Тимашев, на *историческом* основании, тоже считает национализацию и социализм нераздельными). Странно, что не только Б. П. Вышеславцев, но и его оппоненты не упомянули одного важного документа, прямо относящегося к этому вопросу. Я имею в виду «Декларацию целей и задач демократического социализма», принятую новым Социалистическим Интернационалом на первом его конгрессе, состоявшемся во Франкфурте в июле 1951 года. В этой декларации в разделе о хозяйственной демократии («economic democracy» в имеющемся у меня под рукой английском тексте) есть, между прочим, такие пункты:

«3. Социалистическое планирование может быть осуществлено различными способами. В каждом отдельном случае пределы общественной собственности и формы планирования будут определены структурой данной страны.

4. Общественная собственность может принять форму либо национализации уже существующих частных предприятий, либо создания новых общественных предприятий, в том числе муниципальных и областных, а также потребительных и производительных кооперативных обществ...

5. Социалистическое планирование не предполагает общественной собственности на все средства производства. Оно совместимо с существованием частной собственности в таких важных областях, как земледелие, ремесла, розничная торговля, равно как мелкая и средняя промышленность...».

Как бы ни расценивать эту программу, нужно признать, что она достаточно далека от идеи тотальной национализации.

В рассуждениях Б. П. Вышеславцева о платформе для возможного сговора между нео-либералами и нео-социалистами есть еще и другое противоречие. Если на стр. 199 мы читаем,

что «раздел между нео-либерализмом и всяческим социализмом» лежит в утверждении или отрицании свободного рынка, то на стр. 211-212 оказывается, что рыночное хозяйство «не является принципом, абсолютно их разделяющим». Из контекста рассуждений Б. П. Вышеславцева видно, что именно последнее утверждение правильно выражает его мысль. В конечном счете свобода рынка получается у него не полной, а ограниченной — с одной стороны вмешательством государства, осуществляемого во имя «поддержания справедливого равновесия сторон», с другой — частичной национализацией некоторых отраслей хозяйства. Но если так, то тогда необходимо и *частичное планирование,* без которого ни функционирование национализированных отраслей хозяйства, ни регулирование рынка обойтись не смогут. Если бы Б. П. Вышеславцев сам формулировал этот, как мне кажется, логически неизбежный вывод, то Н. С. Тимашеву не нужно было бы убеждать его, что частичного планирования бояться нечего.

Последний вопрос, которого мне хотелось бы коснуться, это вопрос о соотношении между хозяйственной демократией и демократией как формой политического строя. Б. П. Вышеславцев не допускает возможности первой вне рамок последней. Политическая демократия занимает в его построении не только необходимое, но и центральное место. Потому я никак не могу согласиться с заявлением М. В. Вишняка, что глава о смысле и ценности демократии имеет «лишь самое отдаленное отношение» к основной теме книги. Не могу я согласиться и с тем, что Б. П. Вышеславцев пришел к идее хозяйственной демократии только «в поисках противовеса всемогуществу государства», так как он приводит и ряд других мотивов, делающих ее желательной и даже необходимой. И уже конечно искать противовеса «всемогущему государству» не значит высказывать недоверие к государству вообще и умалять его значение, в чем М. В. Вишняк обвиняет Б. П. Вышеславцева. Такому выводу противоречит не только всё содержание главы о демократии, но и отдельные замечания о положительной роли государства в хозяйственной жизни, которые можно найти в разных местах книги

По существу же, борьба — не с государством, а с этатизмом есть одна из самых насущных задач современности, и не только потому, что человечество дожило до тоталитарных режимов, а еще и потому, что и в демократиях по этой части далеко не всё обстоит благополучно. И вот здесь я вместе с

Б. П. Вышеславцевым готов отстаивать известный приоритет либерализма. Соотношение между силой и правом, государством и обществом, обществом и личностью, равенством и свободой — не есть какая-то постоянная величина, а нечто подвергающееся изменению, в разные исторические эпохи складывающееся по-разному, от чего в свою очередь меняется и относительная ценность отдельных его элементов. Даже если и считать, что некоторые из них (право, личность, свобода) имеют абсолютную ценность, какой остальные не имеют, всё же можно признать, что бывают эпохи, когда надо желать усиления государственной власти в целях общественного благополучия или сужения сферы личной свободы во имя общественного равенства. Но ведь сейчас мы живем в эпоху (и она началась не со вчерашнего дня!), когда всё развитие и без того идет в сторону роста государственной власти за счет общественной инициативы, равенства за счет свободы, массового за счет личного. Заботиться приходится поэтому прежде всего о том, чтобы защитить общество от гипертрофии государства, а личность от растворения в массовой «уравниловке». Речь идет, конечно, не об отрицании государства или равенства, а о стремлении к восстановлению нарушенного равновесия.

Пафос либерализма, понимаемого не как политическая или экономическая программа, а как общественная философия, есть пафос свободы, и свободы личности — в первую очередь. Когда о «гнилом либерализме» говорят коммунисты или фашисты, это вполне понятно. Но когда либерализм хоронят и в антитоталитарном лагере, можно только дивиться такой исторической близорукости. Более чем когда-либо, в наш «жестокий век» нужен подлинный либерализм, который бы снова «восславил свободу». Сто лет тому назад Токвиль, при всем своем консерватизме понимавший неизбежность политической демократии, заботился о том, как бы ее «либерализировать». Даже и эту задачу нельзя считать окончательно разрешенной. А к ней с тех пор прибавилась и другая: задача «либерализирования» демократии социальной. Нельзя успокаивать себя тем, что демократия сама по себе уже обеспечивает свободу. Демократия может быть и нелиберальной. И сейчас еще многие понимают ее прежде всего как власть большинства, а эта власть, без признания неотъемлемых прав меньшинства, свободы не обеспечивает. Восполнение политической демократии демократией социальной тоже не решает проблемы: общество равных может и не оказаться обществом свободных. Утверждение свободы есть дело человеческого сознания и человеческой воли.

2. Несколько мыслей об историческом романе

Чрезвычайно интересная статья Н. И. Ульянова «Об историческом романе», появившаяся в предыдущей книге нашего журнала, вызвала во мне некоторые мысли, которыми мне хочется поделиться с читателями. Статья эта не только заключает в себе красноречивую защиту права исторического романа на существование, но и выдвигает его в качестве жанра, способного сыграть спасительную роль в судьбах современной литературы. Последняя, по мнению Н. И. Ульянова, сейчас «ущерблена не одними внешними силами, но и внутренней исчерпанностью» — и вот исторический роман может открыть для нее «целый материк» новых творческих возможностей. В этом призыве вернуться к историческому роману Н. И. Ульянов молчаливо признает, что столь любимый им литературный жанр находится если не в полном, то в частичном забвении. Материк, о котором он говорит, открывать, конечно, не приходится, так как существование его давно известно, но он является чем-то вроде наполовину затонувшей Атлантиды, которой еще предстоит целиком подняться над уровнем моря. В самом деле, едва ли Н. И. Ульянов станет отрицать, что в течение больше чем столетия, за немногими исключениями, исторический роман оставался вне основного русла большой литературы. В литературе девятнадцатого века его достижения не могут идти в сравнение с тем, что было создано в области романа социального и психологического. Упал и интерес к нему, если не в широкой публике, то среди «серьезных» и «зрелых» читателей, знатоков и ценителей художественной прозы. Во второй четверти столетия Вальтер Скоттом мог интересоваться и восхищаться Пушкин, а через несколько десятилетий его романы попали в категорию «книг для юношества». Та же судьба постигла его и в англосаксонских странах, и эту судьбу разделили с ним и другие исторические романисты. Положение не изменилось и в истекшей половине нашего столетия. Появились отдельные превосходные исторические романы, но все они остались не делающими весны ласточками. Признаков подлинного возрождения исторического романа пока еще не заметно. Видимым исключением является советская литература, где исторический роман, как известно, в большом ходу. Но на это есть свои особые причины, связанные со специфическими условиями, а в значительной мере и задачами советского режима. Да и здесь можно найти только два-три примера подлинных литературных достижений, выделяющихся из общей массы более или менее ловко скроенных исторических романов, мало чем отличающихся от такой же

продукции доброго старого времени. Уверен, что это не тот материк, о котором мечтает Н. И. Ульянов.

Закономерность развития и смены литературных жанров установить вероятно нелегко, хотя и ясно, что они не могут быть делом простой случайности. В начале девятнадцатого века расцвет исторического романа был связан с подъемом национализма и с романтизмом. В исторической перспективе нам это сейчас виднее, чем вероятно было видно людям того времени. Но можно ли обнаружить наличие таких тенденций в современной культуре, которые делали бы вероятным восстановление исторического романа в прежнем его значении? У меня ответа на этот вопрос нет, а Н. И. Ульянов в своей статье его не ставит. Было бы интересно знать, что он думает по этому поводу.

Призывая современных писателей обратиться к историческому роману, Н. И. Ульянов, мне кажется, несколько ослабляет силу своего призыва теми ограничениями, которые он вводит в понятие исторического жанра. Он настаивает на присущем ему героическом характере. «Прелесть исторического повествования» состоит для него «в устранении всего будничного, повседневного: оно переносит в избранный мир полководцев, героев, королей, знаменитых битв и значительных событий». В этом смысле исторический жанр «сроден легенде и сказке». Здесь у меня возникает ряд сомнений. Сам Н. И. Ульянов говорит о тесной связи между историческим романом и исторической наукой (хотя и подчеркивает при этом существенное между ними различие). Между тем его формула исторического жанра может быть согласована только с такой точкой зрения на предмет исторической науки, которая, как он это конечно знает, давно уже оставлена историографией нового времени. Исторические будни начали свое вторжение в историческую литературу еще в восемнадцатом веке (Вольтер), неуклонно расширяли сферу своего влияния в течение девятнадцатого столетия (знаменитые «культурные» главы в «Истории Англии» Маколея, «Kulturgeschichte» Лампрехта, у нас в России — бытовая история Забелина) и к нашему времени стали, особенно в Америке, предметом специального изучения и специально им посвященных университетских курсов под названием «социальной истории» (social history). Это — история, занимающаяся именно повседневной жизнью обыкновенных людей, рассказывающая о том, в каких домах они жили, как одевались, лечились и развлекались.

Можно, конечно, сомневаться в законности такого расширения предмета исторического исследования, хотя и «будни» меняются из столетия в столетие и следовательно имеют свою историю. Но сейчас меня интересует не столько это, сколько вопрос об их исключении из сферы исторического романа. Есть ли для него достаточное литературное, эстетическое основание? Только ли героическое прошлое может иметь для нас «прелесть»? Разве нет своеобразного очарования и в ушедшем в прошлое быте? Н. И. Ульянов рассматривая «Войну и Мир» как исторический роман (на этот счет, как известно, были и есть сомнения), видит в эпопее Отечественной войны «самую захватывающую часть произведения». Это — отчасти по крайней мере — дело вкуса. Для меня, например, всё, что относится к личной судьбе Андрея Болконского и Пьера, к Наташе и ко всему дому Ростовых, не менее, а может быть и более «захватывающе», чем Бородино, Кутузов или Наполеон в Москве. Да ведь и в описании исторических событий или в изображении исторических лиц Толстой берет их в их «будничных» проявлениях. Ведь в его глазах подлинный героизм лишен всех обычных, традиционных аттрибутов героичности. Я имею в виду не толстовскую «философию истории», а те литературные приемы, с помощью которых он создает эту своеобразную атмосферу героизма, переплетающегося с буднями, достигая при этом своеобразных и необычайно убедительных эстетических эффектов. Приведу еще пример — пушкинского «Арапа Петра Великого». В написанных главах никакой «большой истории» нет, царствуют исторические «будни», и сам Петр является перед нами в «домашнем» виде. Мы не знаем, какое развитие получил бы сюжет повести, если бы Пушкин ее продолжал, но более чем вероятно, что из нее вышла бы «семейная хроника». Тем не менее, судя по первым главам, она была бы одним из лучших образцов исторического жанра не только в русской, но и во всемирной литературе.

Мне кажется поэтому, что изображение героического и драматического не может быть возведено в канон, обязательный для всякого исторического романа. Это только один из возможных для него подходов. Одинаково законны и подходы, основанные либо на историческом скепсисе, ведущем к разоблачению «великих дел» и развенчанию «героев», либо на противопоставлении тому, что можно назвать парадной историей, жизни обыкновенных людей, как более подлинной реальности. И то, и другое — толстовские мотивы, но можно было бы привести и другие примеры художественно-убедительного их ис-

пользования как в западно-европейской, так и в русской литературе (из наших современников — у М. А. Алданова). Можно спорить о миросозерцательной ценности этого «антиисторизма», но, думается, что его эстетическая ценность уже достаточно доказана на практике. «Суета сует, всяческая суета» — от Экклезиаста до наших дней этот мотив неоднократно служил источником вдохновения для литературных произведений, в том числе и самых совершенных. И то же самое можно сказать про тему неистребимой повторяемости обычного цикла человеческой жизни, снова и снова утверждающей себя вопреки любым историческим потрясениям. Поэтические возможности этих двух мотивов как будто неисчерпаемы.

Но могут ли построенные на них произведения остаться историческими? Ответ на этот вопрос зависит от того, в чем видеть отличительную черту исторического романа как литературного произведения. Простая ссылка на сюжетное содержание романа была бы здесь явно недостаточной. Предположительно («может быть») Н. И. Ульянов находит «разгадку всего метода исторического романа» в приводимом им изречении Розанова: «Берешь фонарь уже зажженный в своей душе, и освещаешь им потемки минувшего». Своими словами Н. И. Ульянов выражает это так: «Мы видим исторические события глазами своей эпохи и иначе не можем». Это, конечно, верно, но всё-таки проблемы еще не решает. В конце концов и на свою эпоху каждый из нас, а каждый писатель в особенности, смотрит своими глазами, так что и в этом случае без «фонаря в душе» тоже обойтись нельзя. Вместе с тем совершенно ясно, что в восприятии современности, с одной стороны, и исторического прошлого, с другой, должна быть какая-то разница. Ясно и то, что взаимоотношение между изображаемым и изображенным гораздо сложнее в произведениях, посвященных прошлому, чем в тех в которых сюжетом является современность. В последнем случае «реальность» доступна для непосредственного восприятия, тогда как в первом ее сначала надо воссоздать творческим усилием.

Вот здесь и возникает перед историческим романистом его специфически трудная задача. Он должен оживить и приблизить к нам прошлое настолько, чтобы мы поверили в его реальность и почувствовали себя в нем находящимися. С другой стороны, он должен дать нам почувствовать и разделяющее нас от этого прошлого историческое расстояние, так, чтобы мы, смотря на него «глазами своей эпохи», в то же время не теряли ощущения отличности той эпохи от нашей, ощущали бы своеобра-

зие ее индивидуального характера, ее неповторимого стиля. Соблюдение исторической дистанции путем стилизации как будто и является отличительной и определяющей чертой исторического жанра. При ее наличности, посвященный прошлому роман будет историческим независимо от того, переносит ли он нас «в избранный мир полководцев, героев, королей, знаменитых битв и значительных событий» или же в повседневную жизнь обыкновенных людей далекого от нас времени.

М. Карпович

БИБЛИОГРАФИЯ

БААДЕР И РОССИЯ

Несомненно оживление интереса к православию в Западной Европе после второй мировой войны. Оно вызвано многими факторами — и чисто-религиозными и политическими. При этом обычно главной, а иногда и единственной представительницей православия западно-европейцы считают русскую церковь. Трудно дать даже беглый обзор всего, что пишется и печатается в странах Западной Европы о русской церкви: к сожалению очень многие из работ, посвященных русской церкви, носят печать крайнего дилетантизма и обнаруживают плохую осведомленность авторов в самых основных вопросах истории церкви, догматики и культа. И уже совершенно невозможно обозреть все, что говорилось и говорится при многочисленных «встречах» православных — опять-таки почти исключительно русских — с представителями других вероисповеданий, на более официальных и совершенно частных конференциях: здесь можно услышать совершенно примитивные, неосведомленные и ошибочные утверждения. Поэтому надо особенно горячо приветствовать каждую книгу, основанную на серьезном изучении восточного и западного богословия и на знакомстве с русской литературой вопроса. На такую книгу мне хочется обратить внимание русского читателя.

Это объемистая работа марбургского профессора истории церкви *Эрнста Бенца*, уже не раз писавшего о восточной церкви и особенно о ее отношениях к протестантскому миру (особенно интересно собрание его статей под заглавием «Виттенберг и Византия», затрагивающее отношения первых реформаторов к греческой церкви и южным славянам). Заглавие его книги шире ее содержания: «Европейская миссия восточной православной церкви» (**Die abendländische Sendung der östlich-orthodoxen Kirche.** Висбаден. 1950, 294 страницы и 17 прекрасно исполненных портретов. Издание вновь основанной в Майнце «Академии Наук и Литературы»). Подзаголовок несколько уточняет заглавие: «Русская церковь и западное христианство в эпоху Священного Союза». Но тема книги еще более узка: она посвящена в значительной своей части отношениям известного немецкого религиозного философа, имя которого сле-

дует назвать непосредственно за именами Фихте, Шеллинга и Гегеля, — Франца Баадера, к русскому православию. О Баадере, его связях с Россией и о его возможном и даже вероятном влиянии на русскую мысль (например на Влад. Соловьева) довольно часто упоминалось в научной литературе, но тема эта никогда не подвергалась детальному исследованию. Книга Эрнста Бенца представляет первостепенный интерес как первая попытка освещения важной и до сих пор не изученной темы. Между тем в последние десятилетия был опубликован новый материал о Баадере. Особенно важна книга французского исследователя Баадера, Сюсини (Susini), который с необыкновенным прилежанием собрал большой фактический материал, разбросанный по разным европейским архивам и опубликовал его в 1942 г. Вышла также и работа Сюсини о Баадере, мне пока недоступная.

Книга Бенца дает в прекрасном литературном оформлении исчерпывающий комментарий и к давно-известным и к вновь опубликованным материалам об отношениях Баадера к России. При этом очень яркое освещение получают целые эпохи русской духовной истории: в частности, александровская эпоха. Впервые выяснены обстоятельства неудачной поездки Баадера в Россию, закончившейся в 1823 г. в Прибалтике высылкой философа из пределов Российской Империи. И уже совершенной новостью для русского читателя является изложение связей Баадера с русскими кругами в царствование Николая I., оборвавшихся только со смертью философа в 1841 г.

Значение литературной деятельности Баадера автор книги совершенно правильно видит в том, что Баадер в 19 в. был первым европейцем, который отважился высказать мысль о значении православной церкви для решения спора западно-европейских вероисповеданий между собою. Лозунг Баадера «Выслушай и третью сторону» — «Audiatur et tertia pars» — осуществляется отчасти только через сто лет после первой мировой войны.

Пробуждение интереса Баадера к русской церкви несомненно связано с религиозными течениями эпохи Александра I, известными русскому читателю по работам Пыпина и блестящим страницам в «Путях русского богословия» о. Г. Флоровского. Флоровский совершенно прав, когда находит в религиозном брожении этой эпохи очень мало православного. Как кажется, все представители западных вероисповеданий и сект попавшие тогда в Россию: баронесса Крюденер, Госснер, Линдль и др. смотрели на Россию только как на новую почву для *своей* религиозной пропаганды, для внедрения *собственных* религиозных идей. Баадер был первым и, повидимому, единственным представителем Запада, который хотел также и учиться у восточного православия, в твердой уверенности, что оно

сохранило ценные элементы древнего христианства, утраченные или оттесненные на задний план на Западе.

Первая встреча Баадера с русской религиозной мыслью, однако не была встречей с русской церковью. С некоторыми его наполовину публицистическими произведениями, посвященными критике французской революции с религиозной точки зрения, познакомился имп. Александр I и министр народного просвещения и исповеданий Голицын. Они нашли там ряд мыслей, соответствовавших идеологии Священного Союза и родственных пиетизму, господствовавшему в кругах, близких к Александру I. Католик Баадер казался им представителем католических течений, сходных с теми течениями, которым они покровительствовали в России. Неудивительно, что в 1816 г. Баадера привлекают к работе русского министерства народного просвещения и исповеданий: сначала ему поручают подыскать для России католических священников, способных «работать в духе истинного христианства», — через посредничество Баадера в Россию попадают Госснер и Линдль; затем ему заказывают учебник философии природы и религии для русского духовенства (!), — работы которую он не окончил; наконец в 1818 г. его назначают «литературным корреспондентом» министерства, обязанным периодически составлять отчеты о положении религии и науки на Западе. Характерно, что Баадер регулярно, до 1823 г. получал причитающееся ему жалование, но так и не мог добиться официального извещения о своем назначении; не менее характерно, что его отчеты частью исчезали по дороге, вероятно, перехватываемые противниками политики Голицына в мюнхенском посольстве, через которое Баадер направлял свою почту. К сожалению, и дошедшие по назначению отчеты еще не найдены: они или вообще не сохранились или покоятся в русских архивах, недоступных и Сюсини и Бенцу.

Как большинству смельчаков пускающихся в неизведаннные области, так и всем, приходившим в физическое или духовное соприкосновение с Россией иностранцам случалось и случается переживать иногда комические, а иногда и трагические неожиданности и авантюры. Такая судьба не минула и Баадера. Вероятно, ему пришлось бы пережить не одно разочарование, не одну неожиданность, если бы он и далее только переписывался с Россией. Но он решает в 1822 г. съездить в Россию. Несмотря на то, что ему не удалось добиться официального приглашения от Голицына, Баадер отправляется в Россию в сопровождении своего друга, ученика Гегеля, балтийского барона фон Юкскюля (лицо не безинтересное: см. о нем в моей книге «Гегель в России»). Это путешествие оказывается частью комической, а частью траги-комической авантюрой. Уже в Прибалтике он натыкается на врага Голицына и пиетистов, рижско-

го губернатора, маркиза Паулуччи, который сначала придерживает его дальнейшую поездку, а затем даже требует, чтобы Баадер выехал из России и ждал на границе, в Восточной Пруссии разрешения проехать в Петербург. Правда, причиною этих задержек была не только подозрительность самого Паулуччи. И в Петербурге правительственные круги отнеслись к поездке собственного сотрудника («литературный корреспондент» министерства народного просвещения!) с нескрываемым подозрением: с одной стороны, уже подготовлялось падение министерства Голицына, с другой, еще перед приездом Баадера и Юкскюля в Прибалтику на них полетели в Петербург доносы, как на «опасных демагогов», что по отношению к Юкскюлю, побывавшему в парижских либеральных салонах, имело хоть некоторую тень основания. Баадеру его поездка в Петербург представлялась настолько важным и ответственным шагом, что он прождал на границе, в глухом Мемеле, несколько месяцев, пока наконец из Петербурга пришел окончательный отказ, а из Вероны от Александра I приказ уволить Баадера с русской службы. Этим еще не кончилась Одиссея Баадера: приехав в Берлин он оказался под особым наблюдением прусской тайной полиции; донесения полицейских агентов, разысканные Сюсини и опубликованные Бенцем «in extenso», являются одними из самых ярких образцов документов, характеризующих тот полицейский режим, который господствовал в Европе в эпоху Священного Союза: ведь заподозренный в «демагогии», противоправительственной агитации, каких-то неморальных связях и, наконец, попросту в том, что он мошенник и проходимец, Баадер был не первый любой встречный, а баварский «обер-берг-рат» и член Баварской Академии Наук! Да и люди, с которыми он встречался в Берлине были или высшие прусские чиновники или профессора...

Оставим, однако, в стороне полицейские, финансовые и иные мытарства Баадера. Его поездка, несмотря на кажущуюся неудачу, имела для него крупное психологическое значение. Оказалось, что ему не нужно было приезжать в Петербург, чтобы убедиться на деле, какая нездоровая религиозная атмосфера там создалась вокруг Александра I. Сходные по настроениям пиетические круги Баадер встретил и в Прибалтике и в Восточной Пруссии и, как видно, сам ужаснулся той духовной пустоте, фальши и нездоровому энтузиазму, — религиозно-бесплодным и культурно-вредным. Представители пиетизма оказались противниками тех идеалов, за которые он собирался бороться, — примирения религии и науки: они оказались противниками науки и сторонниками религии без догмы, без содержания, без церкви... Баадер вернулся домой с совершенно изменившимся отношением к надконфессиональному пиетизму. Он ехал в Россию, как сторонник дела Голицына и Алексан-

дра, очень возможно, что он оставил бы ее как противник своих мнимых союзников. Но в Россию он не попал. Она осталась для него загадкой, о которой он мог или продолжать мечтать или от которой мог окончательно отвернуться. Как увидим Баадер не сделал ни того ни другого. Пребывание Баадера в Берлине имело для него значение и в ином отношении: он сблизился там с Гегелем, который, кстати, даже собирался сопровождать Баадера и Юкскюля в Россию, как видно из недавно опубликованных писем. Их личное общение привело к тому, что можно говорить о некотором влиянии Гегеля на Баадера, по крайней мере, в ближайшие после встречи годы.

Отметим, что в падении министерства Голицына и в отказе Александра I от своих мистических идеалов, наряду с оппозицией церковных кругов (от пресловутого арх. Фотия до митрополита Серафима), сыграла крупную роль и чрезвычайно искусная политика Меттерниха, которому удалось убедить Александра в политической опасности и революционности «сект» и «Erweckungsbewegung». Бенц совершенно правильно подчеркивает те политические мотивы, которые привели Александра к увольнению Голицына, и разрыву с бар. Крюденер и гонениям на представителей мистического пиетизма. Перепечатанные в книге отрывки из известного собрания дипломатической переписки Меттерниха представляют собою настоящие перлы политической интриги и лицемерия.

Если уже первая часть книги дает много нового, то вторая, посвященная отношениям Баадера к России в царствование Николая I-го впервые раскрывает этот наиболее интересный период деятельности Баадера. В александровскую эпоху у него были только довольно неясные представления о возможности сближения христианских исповеданий. Теперь он ищет основательных информаций о состоянии русской церкви и вообще восточного христианства и самая мысль о возможности заимствования на востоке элементов христианской традиции, забытых на Западе, начинает принимать более ясные очертания. Одним из основных мотивов его интереса к восточной церкви является его разочарование в церковной политике Ватикана, в это время уже подготовлявшего почву для провозглашения догмата папской непогрешимости. Вторым мотивом является надежда, что восточное христианство может помочь сближению католицизма и протестантизма. Именно теперь Баадер выдвигает лозунг: «Выслушай и третью сторону», т. е. христианский восток. Основательное изучение отцов церкви, которые если не сменили то дополнили в его сознании авторитет западных мистиков, показало ему, что ряд догматических проблем не может быть решен исключительно на почве западной церковной традиции.

Уже вскоре по вступлении на престол Николая I в документах Баадера встречаются, правда довольно неясные, указания на то, что ему удалось восстановить свои непосредственные отношения с царским двором. Во всяком случае у него тогда были какие-то, частью неизвестные нам по имени русские друзья, от которых он и ожидает прежде всего информаций о русской церкви. Первым свидетельством о его русских связях является выход в русском переводе в Мюнхене в 1831 г. его интересной книги со странным заглавием: «Сорок тезисов религиозной эротики». Вопрос о переводе, о переводчике, о том приеме, который эта книга встретила в России, если она туда попала, остается в книге Бенца невыясненным. Напомню, что в Мюнхене в эти годы жил и служил в русском посольстве Ф. Тютчев, о немецких знакомствах которого почти ничего неизвестно (сведения о его встречах с Шеллингом дошли до нас совершенно случайно). Русские связи Баадера, впрочем, оказались несколько односторонни. Прежде всего это тот же кн. Голицын, с которым он состоит снова в переписке уже в 1832 г. Сохранилась копия или конспект послания Баадера к Голицыну 1839 г. в котором Баадер признает учение восточной церкви о св. Троице единственно правильным. В то же время он открывает элементы, родственные восточному христианству в теософии Якова Беме, в этом предвосхищая Бердяева. В том же году в «Журнале Министерства Народного Просвещения» появляется сочувственная рецензия на книгу Баадера, направленную против «римской диктатуры» в католической церкви. В этой книге Баадер цитирует отрывки своих писем кн. Элиму Мещерскому (1808-44), с которым, как показывает книга Сюсини, Баадер состоял в переписке уже в 1832 г. Уже в первом сохранившемся письме Баадер обращается к Мещерскому, как к старому знакомому, который «необыкновенно быстро» проник в «дух его литературных произведений». К сожалению неясно, насколько кн. Мещерский мог дать мюнхенскому философу объективную информацию о русской церкви. Переписка с Мещерским касается, правда, в значительной части политических, а не религиозных проблем. В связи с появлением упомянутой книги против «римской диктатуры» Баадер вошел уже в последние годы своей жизни в сношения с министром нар. просвещения гр. С. С. Уваровым. Они обменялись письмами и Баадер в своих письмах повторяет мысль своей книги в еще более резкой формулировке, а кроме того намечает свои взгляды на вопрос о соединении церквей.

Русские корреспонденты Баадера придавали его деятельности в Германии, очевидно, большое значение. По инициативе кн. Голицына к Баадеру поехал, чтобы информировать его о русской церкви, проф. всеобщей литературы в Московском университете (Бенц

ошибочно считает его проф. философии в Духовной Академии) С. Шевырев. Шевырев был пригоден для такой роли прежде всего благодаря хорошему знанию иностранных языков. Несмотря на свою близость к славянофилам, Шевырев дал Баадеру информацию, которая в некоторых пунктах слишком уже приближалась к правительственной «синодальной» точке зрения. Шевырев написал для Баадера по французски целый трактат о русской церкви, который Баадер опубликовал с обширными примечаниями в одной из своих последних книг. Если и можно сомневаться в том, что Баадер писал свои работы в сотрудничестве с Шевыревым, как полагает Бенц, то во всяком случае он очень многим обязан информации Шевырева. Трактат Шевырева содержал прежде всего опровержение распространенного тогда на Западе ошибочного мнения, что главою русской церкви является русский царь; затем — весьма оптимистическую и в целом неверную характеристику синодального управления, как совершенно независимого от светской власти и находящегося всецело в руках представителей церкви; затем следовал ряд довольно удачных замечаний о культурной роли русской церкви (Шевыреву было тем более легко это сделать, что он был первым русским ученым давшим, конечно сейчас устаревший, но не лишенный заслуг очерк истории древней русской литературы); трактат заканчивался, м. б., преувеличенными, но во многом правильными, замечаниями об отсутствии в истории восточной церкви целого ряда «недостатков» и прегрешений церкви католической... От своего имени Баадер высказывает некоторые мысли, родственные мыслям славянофилов. Изучение истории церкви привело его к убеждению, что первоначальная организация христианской церкви была не «абсолютистской», а «корпоративной». Позднейшую эволюцию он представляет себе, как одностороннее развитие авторитарного принципа в католицизме, что, по его мнению, естественно привело к возникновению протестантизма, в котором воплощен корпоративный принцип в радикальной форме. В православии же, по его мнению, сохранилась старая форма организации, в которой главой церкви признается только сам Христос. Баадер, однако, ошибочно считает синодальную организацию непосредственным продолжением старо-христианской традиции и излагает историю упразднения русского патриаршества и основание св. Синода, заимствуя свои сведения у Шевырева и из «Духовного регламента» Прокоповича: оба эти источника ввели его в заблуждение.

Баадер не останавливается только на проблеме церковной организации. В последние годы жизни он, под влиянием политики Ватикана и вызванных этой политикой внутренних конфликтов в католической церкви, пытается в ряде работ напомнить католикам о существовании «старейшей» восточной православной церкви,

учение и церковная политика которой более соответствует старохристианским традициям, чем новшества Ватикана. Книга Баадера «О восточном и западном католичестве» развивает более детально не новую для него тему об объединении церквей. Здесь он прежде всего полемизирует против распространенного тогда в Европе представления, что русская церковь является только орудием империалистической политики царского правительства, — такие взгляды высказывались в печати авторитетными учеными, как философ Окен и историк Люден. Баадер напоминает, что еще Лютер указывал в полемике с католиками на Лейпцигском диспуте о существовании восточной христианской церкви, не имеющей видимого главы, единственной главой которой является Христос. Баадер считает, что именно православная церковь может преодолеть односторонние культурные тенденции католицизма и протестантизма: «отрицание знания» в католицизме и господство разрушительного, «деструктивного» знания в протестантизме. Только таким путем может быть преодолена «дехристианизация» мира, в котором разорвано первоначальное единство веры и знания и оба западных исповедания готовы удовлетвориться каждая половиной рассеченного надвое, как в Соломоновом суде, ребенка.

Пытаясь установить источники сведений Баадера о русской церкви, Бенц указывает кроме святоотческой литературы, информаций русских корреспондентов и книг, полученных Баадером от них (кроме «Духовного регламента» он пользовался напр. «Кормчей книгой»), еще один литературный источник, почти забытый русскими историками. Это книга известного Александра Скарлатовича Стурдзы (1791-1854), вышедшая в 1817 г. в Лейпциге понемецки «Рассуждение об учении и духе православной церкви». Баадеру удалось заимствовать из этой книги кое-какой интересный материал (Стурдза пользовался напр. классическим произведением Адама Зерникава об исхождении св. Духа). Но в общем книга Стурдзы еще целиком принадлежала «александровской эпохе» и написана под значительным влиянием не только святоотческой литературы, но и таких писателей, как Шатобриан, Юнг-Штиллинг, Сен-Мартен и даже сам Баадер, в его ранних произведениях! Баадер сам познакомился со Стурдзою еще в 1815 г. в Мюнхене, но сейчас трудно решить, связано ли возникновение интереса Баадера к восточному христианству с этим знакомством. Впрочем, глава о Стурдзе в книге Бенца является реабилитацией Стурдзы, как писателя. Русскому читателю Стурдза известен, главным образом, как представитель «мракобесия»: такой его образ увековечен и Пушкиным в двух эпиграммах (одну из них: «Холоп венчанного солдата» долго считали направленной против Аракчеева). От взглядов, высказанных в упомянутой книге, Стурдза отказался уже через

два года, написав известный, направленный против «свободолюбивого духа» немецких университетов меморандум для Аахенского конгресса. Его дальнейшее развитие мало известно; конец своей жизни он провел в Одессе, где с ним встречался Гоголь. Книга Стурдзы о русской церкви крайне интересна, как свидетельство о проникновении в Россию западной философской мысли: так например он знаком с сочинениями Гердера, влияние идей которого в России до сих пор представляется загадочным: первый пользовался, как кажется, его сочинениями Радищев, затем его имя надолго исчезает из русской литературы, хотя его влияние во многих случаях, почти несомненно. Стурдза знал и ново-греческую богословскую литературу: особенно интересны ссылки на книгу Евгения Булгариса, развившего весьма последовательное учение о веротерпимости православной церкви. Книга Булгариса осталась недоступной Бенцу, а по цитатам у Стурдзы трудно судить о том, насколько взгляды Булгариса могут считаться признанными православной церковью.

Баадер выступал и в отдельных случаях в защиту интересов православной церкви, в полемической статье, направленной против статьи «Аугсбургской газеты», затем в полемике против усилий некоторых католических богословов (И. Г. Шмитта) убедить греков, после того как первым королем освобожденной Греции стал член баварского королевского дома Виттельсбахов, в необходимости для них унии с Римом. В своей полемике Баадер обнаруживает несравненно лучшее знакомство с православием, чем его католический противник.

Надо сказать, что Баадер, к сожалению, в своих усилиях получить информации о православной церкви, оказался почти в таком же положении, в котором за сто лет до него находился Лейбниц. Информации Баадера были несколько объективней полу-официальных информаций Лейбница, но и его информаторы в слишком значительной степени стояли на официальной синодальной точке зрения. Во всяком случае, деятельность Баадера в 19 в. — первый образец действительно «икуменического» обращения к русской церкви с Запада. Во многом он стоял на позициях, которые обещали более успеха, чем позиции многих современных сторонников «единения церквей». Но после смерти Баадера в 1841 г. у него не нашлось продолжателя: его ученик и издатель его произведений, Гофман, совершенно не интересовался этой стороной деятельности своего учителя. Она была совершенно забыта. Ряд документов оставался до публикации Сюсини неизвестным. Книга Бенца при широком изложении, всегда иллюстрированном многочисленными цитатами и даже воспроизведением целых документов, представляет собою первостепенный интерес для истории икуменического движения и

вообще отношений Запада с Россией. Остается без ответа еще вопрос о том, насколько на взглядах последних лет жизни Баадера отразились влияния зарождавшегося славянофильства, сведения о котором Баадер мог получить от своих русских знакомых, прежде всего от Шевырева.

Дм. Чижевский

В. М. ЗЕНЗИНОВ. Пережитое. Изд-во имени Чехова, Нью Иорк 1953. (414 стр.).

Нет надобности доказывать, что всякая правдиво рассказанная человеческая жизнь интересна и что поэтому каждый человек «имеет право» написать свои воспоминания. А В. М. Зензинов имеет на это гораздо больше прав, чем громадное большинство людей. Он прожил бурную жизнь. Рассказал он о ней превосходно: так просто, так живо, так интересно, что поистине от этой книги «трудно оторваться».

«Он был всю жизнь революционером и остался им». Таково клише в биографиях старых революционеров. Оно не относится к В. М. Зензинову. Он принимал очень близкое участие в революционном движении лишь в первую половину жизни. Затем, как все мы, эмигранты, левые и правые, остался не у дел. Да и в молодости он едва ли был революционером по характеру, по наклонностям, по призванию, хотя не раз рисковал жизнью в самом тесном смысле этих слов и немало лет провел в тюрьмах и в ссылке. Бакунин, например, боролся бы, вероятно, с *любым* государственным строем, даже с анархистским, если б такой был возможен и где-либо осуществлен. В. М. Зензинов к *таким* людям не принадлежит. Никакой любви к заговорам, к восстаниям, к бомбам у него наверное никогда не было и нет. Если в течение первой половины его жизни революция была его профессией, то это, — с поправкой на повальное увлечение молодых людей того времени — объяснялось его ненавистью к дореволюционному строю. Тогда эта профессия была возможна. Теперь ее больше не существует, хотя ненависти к нынешним правителям неизмеримо больше, — по крайней мере у таких людей, как автор этой книги.

О старом строе В. М. Зензинов, бывший член Боевой организации партии социалистов-революционеров, теперь пишет без злобы. Думаю, что и защитники этого строя не усмотрят в его волнующей книге поношения или клеветы. Старую же русскую жизнь он описывает с истинной любовью. Главы, в которых она изображается (часто и по семейным преданьям), быть может лучшие в «Пережитом», в них настоящая поэзия. В Зензинове пропал романист, — говорю это не в первый раз.

Рецензентам полагается кратко излагать содержание книги. В

некоторых случаях это действительно необходимо, — трудная и неблагодарная задача почти всегда. Когда речь идет о воспоминаниях, это не нужно: мне пришлось бы кратко и тускло рассказать жизнь В. М. Зензинова, которую он рассказал пространно и ярко, — — и никакого представления об его книге я не дал бы. Отсылаю к ней читателей.

Разумеется, «фабулы» всего больше в главах о террористической деятельности социалистов-революционеров. Быть может, в ней кое-где трагическое переплетается с зловеще-смешным. Приведу два примера: «Однажды», — рассказывает В. М. Зензинов, — «я назначил приезжему свидание на колокольне Ивана Великого в Кремле и был доволен своей выдумкой: придя за полчаса до назначенного свидания, я взобрался на верхушку самой высокой в Москве колокольни и оттуда в бинокль наблюдал, есть ли слежка за приезжим — мне был виден сверху весь Кремль и все прилегающие к колокольне площади». — Слежки он при помощи этого приема (почти в духе романов Дюма) не обнаружил, — но на колокольню взбираться не стоило: приезжий (Бельский) был тайным агентом Департамента полиции. В другой раз поздно ночью к автору книги пришел незнакомый ему человек. «Звонили по черному ходу и звонили странно — робко и нерешительно: это как будто не походило на обыск. Я приоткрыл немного дверь, держа ее на цепочке — там стояла какая-то темная фигура. Больше никого не было. — Что вам надо? — Я по комитетскому делу — Какому комитетскому делу? — Так что я, значит, из Охранного Отделения — пришел предупредить. — Ничего не понимаю, какое охранное отделение? какой комитет?» — Разговор продолжался через цепочку. — Незнакомый человек был полицейским агентом. По злобе на свое начальство «темная фигура» предупредила В. М. Зензинова, что за ним и за его товарищами следят и что готовятся аресты. Автор книги «на другой же день созвал экстренное собрание нашего Комитета. Оно состоялось на лодке, возле Воробьевых гор на Москва-реке. Я сообщил товарищам о ночном посещении, взяв с них слово никому о моем сообщении не говорить (к сожалению, должен тут же заметить, что обещание товарищами сдержано не было)». Вскоре у В. М. Зензинова состоялось в Опере Солодовникова свидание с «Иваном Николаевичем». Автор книги подробно доложил ему о ночном посещении. «Он слушал меня, не прерывая, ни одного вопроса мне не задал, ни о чем не переспросил... Мне показалось тогда, что к рассказанной мною истории он не проявил особого интереса, что меня даже, помню, удивило». На самом деле Иван Николаевич, напротив, проявил большой интерес; после революции был напечатан его доклад Ратаеву об этом разговоре с Зензиновым, Иван Николаевич более известен под именем Азефа. «Это очень щекотливо», — докладывал он, — «мне Зензинов это передал под большим

секретом». Автор книги пишет: «Осведомителя, вероятно, отыскали и арестовали.»

Привожу эти факты нисколько не в укор В. М. Зензинову. Чужая душа потемки, мы и теперь, без всякого сомнения, окружены советскими агентами и провокаторами. Революционная техника, со всеми этими конспиративными свиданиями на колокольнях, на лодках и в театрах, очень отвечавшими романтике молодежи, никогда ни у кого не была на должной высоте (у большевиков случались такие же провалы, как и у социалистов-революционеров).

Автора этих строк в разговорах с людьми его и еще старшего поколения часто интересует вопрос: что поддерживает человека на старости лет, что он думает о своем прошлом, какой смысл в нем находит, как его оправдывает? Не знаю, ставит ли себе этот вопрос В. М. Зензинов, столько на своем веку переживший, проживший истинно необыкновенную жизнь. Лев Толстой, который очень редко встречался с революционерами и по этим немногим встречам понял их неизмеримо лучше, чем люди, всю жизнь с ними прожившие, писал: «Те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляли из себя образец редкой нравственной высоты; те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его, представляя из себя часто людей неправдивых, притворяющихся и, вместе с тем, самоуверенных и гордых». Я знал в жизни много революционеров и с полным убеждением говорю: ничего вернее всей этой страницы «Воскресения» (привожу из нее лишь несколько строк) никогда никем, ни у нас, ни на западе о революционерах сказано не было. Каково численное соотношение между обоими разрядами? Не знаю, но боюсь, что не то, какое можно предположить, читая книгу В. М. Зензинова. Без всякого сомнения, сам он принадлежит к *первому* из двух намеченных Толстым разрядов. Быть может именно поэтому он в слишком идиллическом тоне изображает других, своих товарищей по профессии. С некоторыми из них случалось встречаться и мне, и не скрою, у меня впечатление от них порою не сходно с тем, которое осталось у В. М. Зензинова.

Эта книга драгоценна для истории русской революционной интеллигенции. Я не думаю, чтобы, оглядываясь на свое прошлое, ее автор считал в ней ошибкой *основное*. Бесполезно, да и нелегко, попрекать человека ссылкой на то, к чему это основное привело Россию. На такой укор возможны разные ответы: «Мы хотели не этого»... «Не это привело к большевизму»... «Виноваты другие»... «Кто же мог знать?» и т. д. Знать действительно не мог никто. Укор относится отнюдь не к одним социалистам-революционерам, он относится почти ко всем нам. О тысяче вопросов, связанных с этим, историки будут писать в течении веков.

Книга В. М. Зензинова доходит только до времени разоблачения Азефа. Надо пожелать, чтобы издательство имени Чехова выпустило и второй ее том.

М. Алданов

Отзыв М. А. Алданова о книге В. М. Зензинова написан еще при жизни В. М. *Ред.*

В. М. ЧЕРНОВ. Перед бурей. Воспоминания. Изд-во имени Чехова. Нью-Йорк. 1953 (416 стр.). Printed by Rausen Bros.

В. М. Чернову не нужно было, как Федору Сологубу, брать кусок жизни и творить из него легенду. Те куски жизни, которые он воспроизводит в своих воспоминаниях, уже сами по себе достаточно легендарны. Он дает портреты людей, которые и при их жизни были легендарными личностями, подлинными героями не романа или драмы, а реальной жизненной трагедии. Описывает факты почти фантастические, словно взятые из легендарного эпоса. Один особенно разительный пример: Гершуни и Азеф — разве это не легенда? Но это была бесспорная жестокая реальность. И так как В. М. Чернов — очень хороший рассказчик, то его повесть о людях-героях и фактах-легендах увлекает и волнует. Но о ней недостаточно сказать, что она увлекательна. Воспоминания В. М. Чернова сообщают много фактов, заслуживающих стать широко известными. Они являются ценным источником для истории и, может быть, в неменьшей степени для психологии общественных движений и революций.

Историку и психологу в особенности стоит задуматься над одной характерной для В. М. Чернова чертой, наложившей свой отпечаток на значительную часть его воспоминаний. Я определил бы эту черту, как *революционный оптимизм,* который не оставлял В. М. Чернова и тогда, когда он писал свои воспоминания. Это не был почти мистический оптимизм революционного фанатика. Фанатиком В. М. Чернов не был. Наоборот, он отличался широтой своего мировоззрения и отсутствием в нем обязательного для фанатиков догматизма. Партия социалистов-революционеров, одним из лидеров и главным теоретиком которой был В. М. Чернов, была, по крайней мере, относительно и в принципе чужда догматизму. В пределах общей социальной и политической программы партия допускала большие различия мнений, философских взглядов, теоретических предпосылок. Она тяготела к широте, а не к исключительности. В частности В. М. Чернов до конца дней мечтал об единой российской социалистической партии, включающей *демократических* социалистов всех толков (но, конечно, абсолютно враждебной большевизму). Большую терпимость и объективность по отношению к инакомыслящим демократическим социалистам В. М. Чернов проявляет и в своих воспоминаниях.

Как и у многих других, у В. М. Чернова революционный оптимизм выражался в определенной окраске, которую он давал событиям, свидетелем — а, главное, участником — которых он был. Глубоким корнем этого оптимизма была, вероятно, характерная для народничества вера в народ и в особенности в здоровый социальный инстинкт крестьянства. Окрашенное революционным оптимизмом суждение о действительности приводило к революционным иллюзиям. Правда, в октябре-ноябре 1905 года В. М. Чернов был в числе тех, кто более трезво и сдержанно оценивал непосредственные возможности революции. Но в целом о революции 1905 года он в своих воспоминаниях пишет, окрашивая ее оптимистическими иллюзиями. Он приводит, например, «план кампании» в деревне в составленной им резолюции и затем замечает, что «в период своего наибольшего подъема, в 1905-1906 гг. крестьянское движение пошло именно по этой дороге. *Вехи* для крестьянского движения были поставлены верно. По этим вехам оно пошло в момент высшего напряжения своих сил и. т. д.» (стр. 218). А ведь основной лозунг по этому плану состоял «в объявлении земли *общей* (курсив автора) собственностью, в требовании общей, уравнительной и повсеместной разверстки ее для пользования трудящихся». Действительность была совсем иной.

Еще сильнее сказывается этот сохранившийся у Чернова революционный оптимизм в его воспоминаниях о 1917 годе и затем о деятельности «Комитета членов Учредительного Собрания». Это, конечно, оптимизм относительно не того, что произошло, а того, что могло быть. Тут имеется безграничная область для споров, и каждый, кто не был согласен с тем, что делалось, склонен считать, что если бы возобладала его политика, то всё пошло бы по совершенно иному пути. Согласия о том, что было возможно, нет и, вероятно, никогда не будет. Во всяком случае спорить об этом в рецензии на воспоминания В. М. Чернова не место. Но отмеченная здесь черта существенна, поскольку она отразилась в этих воспоминаниях, парадоксально придав некоторым их страницам характер какой-то нереальности. Парадоксально потому, что в основном воспоминания В. М. Чернова отличаются и подкупают их ярким и полнокровным реализмом. Выходит так, словно автор иногда реалистично описывает нереальные вещи.

В этом отношении очень характерно, например, как В. М. Чернов объясняет свою позицию в 1917 году в вопросе о коалиции с несоциалистическими элементами. «Пока, пишет он, основой государственного строя России не стало народовластие на базе всеобщего избирательного права, — преступно разобщать, преступно оставлять в стороне хотя бы одну из тех политических сил, для которых народовластие — необходимое условие их нормальной жизнедеятель-

ности. Чтобы осуществить это предварительное условие, все они должны стать в единый фронт. Другое дело — на второй день после его осуществления» (стр. 318). Но разве весной и летом 17-го года, когда шли споры о коалиции, народовластие уже было осуществлено? Оно было только провозглашено, и до его осуществления было еще очень далеко. Исходя из *реальности* положения, Чернов должен был бы, применяя формулированный им же принцип, более чем когда-либо добиваться единого фронта всех демократических сил. Но он исходил из *иллюзии* об уже достигнутом народовластии и, видимо, эту иллюзию сохранял и задним числом. Является ли отмеченная черта недостатком черновских воспоминаний? Думаю, что нет. Если бы В. М. постарался «нейтрализовать» свои воспоминания, преодолев характерный для него революционный оптимизм, он значительно уменьшил бы ценность своих свидетельств. Не только потому, что сам он был очень незаурядной личностью, правильное представление о которой важно и для понимания событий, в которых он участвовал, и для оценки его суждений. Еще важнее то, что оптический обман, под влиянием которого он часто находился, был характерен не только для него, но и для очень многих других — и не только его сторонников, но и его противников.

Оптический обман, проявляющийся в некоторых частях воспоминаний, не мешает тому, что очень большая их часть обнаруживает, наоборот, остроту наблюдений автора. В книге имеется целый ряд очень ярких портретов очень ярких людей. Ряд значительных страниц нашего освободительного движения выступают выпукло и с обилием интересных деталей. Главным образом, это относится, конечно, ко всему, что касается истории партии социалистов-революционеров, и в этом отношении воспоминания В. М. Чернова особенно заслуживают внимания тех новых читателей, которые раньше о социалистах-революционерах слышали только клеветническую ругань казенной советской литературы.

В. М. Чернов не успел до своей смерти сам закончить и приготовить к печати свои воспоминания. Изданная издательством имени Чехова книга могла увидеть свет лишь благодаря кропотливой работе Д. Н. Шуба над литературным наследием В. М. Чернова. Судя по впечатлению от книги, Д. Н. Шуб мастерски справился со своей задачей: «Перед бурей» (заглавие не очень точное) читается не как собрание фрагментов, а как законченное и целостное по своему характеру произведение. В предисловии Б. И. Николаевского дана сжатая и очень полезная характеристика Чернова, как теоретика своей партии и социалистического теоретика вообще.

Ю. Денике

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ. На пути земном. Изд-во «Рифма», 1953. (46 стр.).

Лучшие стихи свои Фет и Тютчев написали не в юности. Так и *акме* Маковского «падает» не на годы «акмеизма», не на эпоху его журнала «Аполлон» (1909-1917). Только теперь, уже после Второй Войны он радостно-неожиданно дошел до вершины своей горы. «На пути земном» — четвертый послевоенный сборник его стихов. Может-быть, самое *веское* стихотворение посвящено Тютчеву. Его стоит привести целиком:

На память древнюю ты наложил печать,
ты заклинал тоску: — Учись молчать, молчать,
для тайны всё равно признанья не найдешь,
словами сон развеешь и — солжешь.
Но память древняя ответила: — Поэт,
не говори, что слов тайноречивых нет,
дремучую тоску молчанью не учи,
в подземной тишине поют ключи.

Как это сказано: *«ты заклинал тоску»*... Такие счастливые *формулы* поэзии раскрывать не имеет смысла — их можно только повторять. Повидимому, основные темы Маковского — Лето и Рим. И между этими двумя образами хочется даже поставить знак равенства. Зрелость, полнота *этого* «времени года» и зрелость, полнота *этого* Города — для него равно напряженны, вечны.

Лето обычно русское (простенькое):

Нынче я не жду улова, —
разве ершик! И не надо.
От затишья золотого
на душе и так отрада.

А в Риме будто всегда полдень — по крайней мере такое создается впечатление. И всегда *журчит* фонтан-вещун и «по-разному журчат и плещут» потоки. Как хорошо, что это есть: ершик русского лета и струи вечного Рима! И поэта на самом деле *заливает благодарность* — и он на самом деле этой благодарностью заражает читателя. Как хорош мир — внушает он. Но есть и грусть в его поэзии — светлая грусть.

Формально Маковский скорее консервативен, традиционен, чужд экспериментов. Однако, всё вспринимает он свежо и высказывается *по-своему*. Наши старые пять размеров он искусно оживляет — то enjambement, то вводным предложением:

В этих песнях полудетских,
витьевато-темных — пусть,

пусть и чуть жеманно-светских
слезы — те же, та же грусть.
(курсив мой Ю. И.)

(так пишет он перечитывая «первое собрание моих стихов»). Эти задержки и вставки оживляют монотонию ритма.

Его книжку стоит прочесть и стоит перечитывать. Это не «перепевы» акмеизма. У Маковского новая умудренность, глубокий — светло-грустный оптимизм. После обязательного пессимизма поэзии наших дней — это ново и, может быть, более современно, чем «модное» уныние, отчаяние, беспокойство.

Ю. Иваск

HENRI TROYAT. The Mountain. Translated from the French by C. Fizgibbon. Simon and Schuster. New York, 1953. (190 стр.). $ 2.50.

Во Франции имя Анри Труая (Henri Troyat), автора «Дом моего отца», биографий Пушкина и Достоевского, хорошо знакомо читателю. Труая — псевдоним Льва Тарасова, он родился в 1911 году в Москве. Во Франции Труая получил «Prix Goncourt», «Prix du roman populiste», «Prix Barthou»; за свою последнюю книгу «Снег в трауре» — год тому назад был награжден литературной премией Принца Монакского. Недавно эта книга вышла на английском языке в Нью-Йорке, а в будущем году Холливуд ставит фильм по этому роману.

Как все художественные книги в переводе, «La neige en deuil» теряет по-английски сочность и живописность языка ее героев-горцев. Роман Труая принадлежит, как и книга Ульмана «Белая гора», к серии вымышленных (а не пережитых, вроде «Аннапурны» Герцога) горных приключений. Труая опытный писатель, и его измышленная фабула так захватывает читателя, что не совсем правдоподобные приключения героев книги — кажутся и возможными и вероятными.

В небольшой горной деревушке, знакомой лишь альпинистам, вдали от цивилизации, в полуразвалившейся хижине, живут два брата, Марселэн и Исайя. Марселэну всё — всё равно, он не боится ни Бога, ни чорта. Исайя — бывший альпийский гид, физически и душевно искалеченный после катастрофы при одном подъеме, когда погибли доверившиеся ему люди. Он уверен, что за этот грех «осужден горами» и не решается больше думать ни о каких подъемах. Свои душевные и физические силы он отдает любимому брату, за чьими овцами ухаживает, для которого варит.

Среди снегов и бурь, льда и холода, наростает трагедия современных Каина и Авеля. Марселэну надоела убогая и голодная жизнь,

он решает продать отчий дом и на вырученные деньги купить мелочную лавку в соседнем городке. Но для этого нужно согласие Исайи. «Нельзя продавать,— говорит Исайя, — мы здесь родились, и отец наш, и дед...». Исайя вспоминает, как в этой хижине родился Марселэн. Он трепетно трогает стены дома и тихо говорит: «Нет...».

Пока братья спорят, в горах — буря, о страшную гору разбивается самолет дальнего следования. Одна за другой пытаются прорваться наверх спасательные экспедиции, но безрезультатно. Гибнет лучший проводник деревни, и правительство решает прекратить попытки спасения. За дни бури, кто мог остаться в живых? В жадном мозгу Марселэна назревает чудовищная мысль. Он где-то слышал, что самолет вез золото, он решает итти наверх; там он сможет найти богатство, и об этом никто не будет знать. Но подняться наверх без брата он не может, и вот ночью он будит Исайю, уговаривая его итти. Исайя противится, он знает, что чужое нельзя брать. Марселэн искушает его, обещая, что дом останется у них, что они купят новых овец, и кроме них, никто не будет знать о совершившемся. Исайя колеблется. Тогда брат говорит, что пойдет один. Этого Исайя не может допустить.

И вот начинается тяжелая борьба — борьба людей с природой и борьба двух братьев между собой. Воет пурга, скользят ноги, веревки, переброшенные через скалы, готовы оборваться, — медленно вверх, к самолету ползут два человека. И когда холод и трудности подъема заставляют Марселэна сказать, что он хочет итти назад, его удерживает Исайя, которому кажется, что за этот подвиг горы простят ему прежнюю его неудачу гида.

У разбитого самолета лежат трупы людей, разбросанные вещи. От одного к другому, быстро бегает Марселэн, снимает кольца с окоченелых пальцев, вытаскивает часы из обледеневших карманов. «Оставь, брось!» — кричит с ужасом Исайя. Но Марселэн не слушает.

И вдруг из самолета доносится стон женщины. «Исайя никогда не видал такой женщины. У нее — матовая кожа кофейного цвета... Она была из Индии.» Исайя решает спасти женщину. Марселэн понимат, к чему это может привести: к разговорам с полицией, к отдаче украденного, к аресту. «Брось ее, брось!» — «Нет — говорит Исайя — ты лучше брось награбленное.» Разъяренный Марселэн пытается насильно увести Исайю, он ударяет его. В Исайе вспыхивают стихийные силы протеста. Начинается борьба. Изнеможденный подъемом Марселэн падает под ударами Исайи. Исайя оставляет его и склоняется над индуской. «Мадам — говорит он едва слышно — теперь мы с вами пойдем вниз.» Вдогонку ему несется крик: «Исайя, не уходи, возьми меня, помоги.» — Но Исайя уходит все дальше...

По дороге вниз Исайя сходит с ума. Он приносит индуску в хижину, кладет ее на постель. Она мертва...

Труая захватывающе изобразил и борьбу человека со стихией и трагическое столкновение братьев. Все сделано мастерски, увлекательно.

Вера Коварская

ИСПРАВЛЕНИЯ

Указываем на необходимые исправления в кн. 34 «Н. Ж.». На стр. 289-й, 8-я строка снизу, напечатано: «о скифах в Босфорском царстве», должно быть: «о скифах и Босфорском царстве». На стр. 294-й, 9-я строка снизу, напечатано: «кто не осмеливается всенародно судить преступника, казнить его...», должно быть: «кто, не осмеливаясь всенародно судить преступника, казнит его...» *Ред.*

КНИГА 34-я «Н. Ж.». Содержание: *И. Бунин* — Каир. *Г. Газданов* — Пилигримы. *Г. Альтшуллер* — Дело Тверитинова. *Вл. Корвин* — Рассказ пожилого человека. *А. Ремизов* — В сырых туманах. *СТИХИ* — Берберовой, Бернера, Браиловского, Величковского, Елагина, Легкой, Чиннова. *ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: Н. Ульянов* — Об историческом романе. *А. Конский* — Б. Беренсон. *А. Ольховский* — Творческий путь С. Прокофьева. *ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Г. Шавельский* — Николай II-й в ставке. *В. Зензинов* — Февральские дни. *Н. Витов* — Рассказ латышск. крестьянина, бежавшего из СССР. *В. Страхова-Эрманс* — Воспоминания о Шаляпине. *ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: В. Станка* — Мрак и свет экзистенциализма. *М. Вишняк* — О социализме, неосоциализме и неолиберализме. *Ю. Денике* — Социализм и хоз. демократия. *М. Карпович* — М. И. Ростовцев и А. А. Васильев. *СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: А. Родичева* — Ф. Родичев и П. Столыпин. *М. Вишняк* — Для истории. *БИБЛИОГРАФИЯ: Д. Анин* — «Through the Glass of Soviet Literature». *П. Ершов* — Б. Зайцев «Древо жизни». *М. Коряков* — G. Bernanos «La liberté, pour quoi faire?» *Г. Иванов* — Р. Гуль «Конь рыжий». *В. К.* — F. Rounds «A Window on Red Square». *Б. Ольшанский* — П. Пирогов «За курс!». *Н. Р.* — Кн. О. Трубецкая «Кн. С. Трубецкой». *Р. Гуль* — Л. Ржевский «Между двух звезд» и Р. Березов «Далекое и близкое». *Ю. Маклейн* — M. Slonim «Modern Russian Literature». *А. Шмеман* — «Russische Heiligenlegenden». *П. Петров* — H. Wouk «The Caine Mutiny». З. — Вестник Инст. по изуч. истории и культуры СССР. В книге 320 стр.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE,
of the East European Fund, Inc.
New York, N. Y., U. S. A.

предлагает следующие книги:

	В долл.
Владимир Вейдле — Вечерний день. 224 стр.	2.00
Марк Слоним — Три любви Достоевского. 320 стр.	2.50
Александра Толстая — Отец. Жизнь Льва Толстого. Том I 416 стр.	2.75
Том II 416 стр.	2.75
Конрад Рихтер — Дебри. 272 стр.	2.25
Марина Цветаева — Проза. 416 стр.	3.00
М. А. Алданов — Живи как хочешь. Роман в двух томах. Том I 384 стр.	2.75
Том II 304 стр.	2.75
И. А. Бунин — Жизнь Арсеньева. Роман. Первое полное издание. 388 стр.	2.75
И. А. Бунин — Том I: Весной в Иудее; Роза Иерихона. 240 стр.	2.00
Том II: Митина любовь; Солнечный удар. 224 стр.	2.00
«Неизданный Гумилев» — Под редакцией Проф. Г. Струве. 240 стр.	2.25
С. Максимов — Тайга. Сборник рассказов. 208 стр.	1.75
С. Максимов — Голубое Молчание. 240 стр.	2.00
Н. Тэффи — Земная радуга. Сборник рассказов из жизни русской эмиграции. 285 стр.	2.00
А. Ремизов — В розовом блеске. 416 стр.	3.00
Е. А. Гагарин — Возвращение корнета. Поездка на святки. 296 стр.	2.50
А. А. Ахматова — Избранные стихотворения. 272 стр.	2.25
П. Романов — Товарищ Кисляков. 386 стр.	2.50
А. В. Тыркова-Вильямс — На путях к свободе. Воспоминания. 432 стр.	3.00

Все книги Издательства имени Чехова можно получить в русских книжных магазинах.

Книготорговцам обычная скидка

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1954-м году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 30 крузейро

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, Inc., 223 West 105th Street,
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня